



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

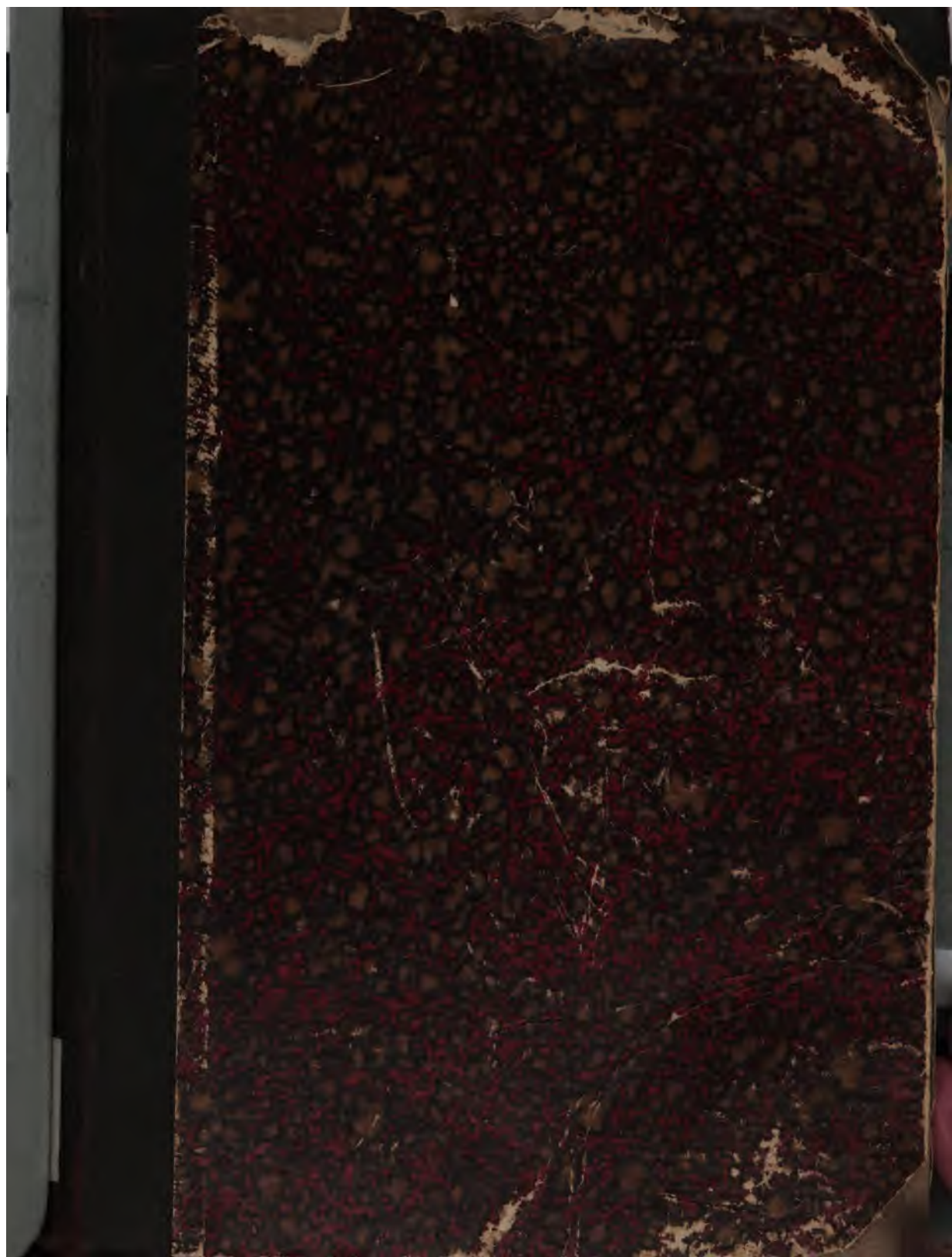
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

9/1

#407

1

2

Pokrovskii, V. I.
"Иванъ Сергѣевичъ

ТУРГЕНЕВЪ.

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

Сборникъ историко-литературныхъ статей.

СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.

изд. № 898.

Цена 40 коп.



МОСКВА.
Типографія Г. Лисснера и Д. Собко.
Воздвиженка, Братинская пер., д. Лисснера.

1905.



PG3435

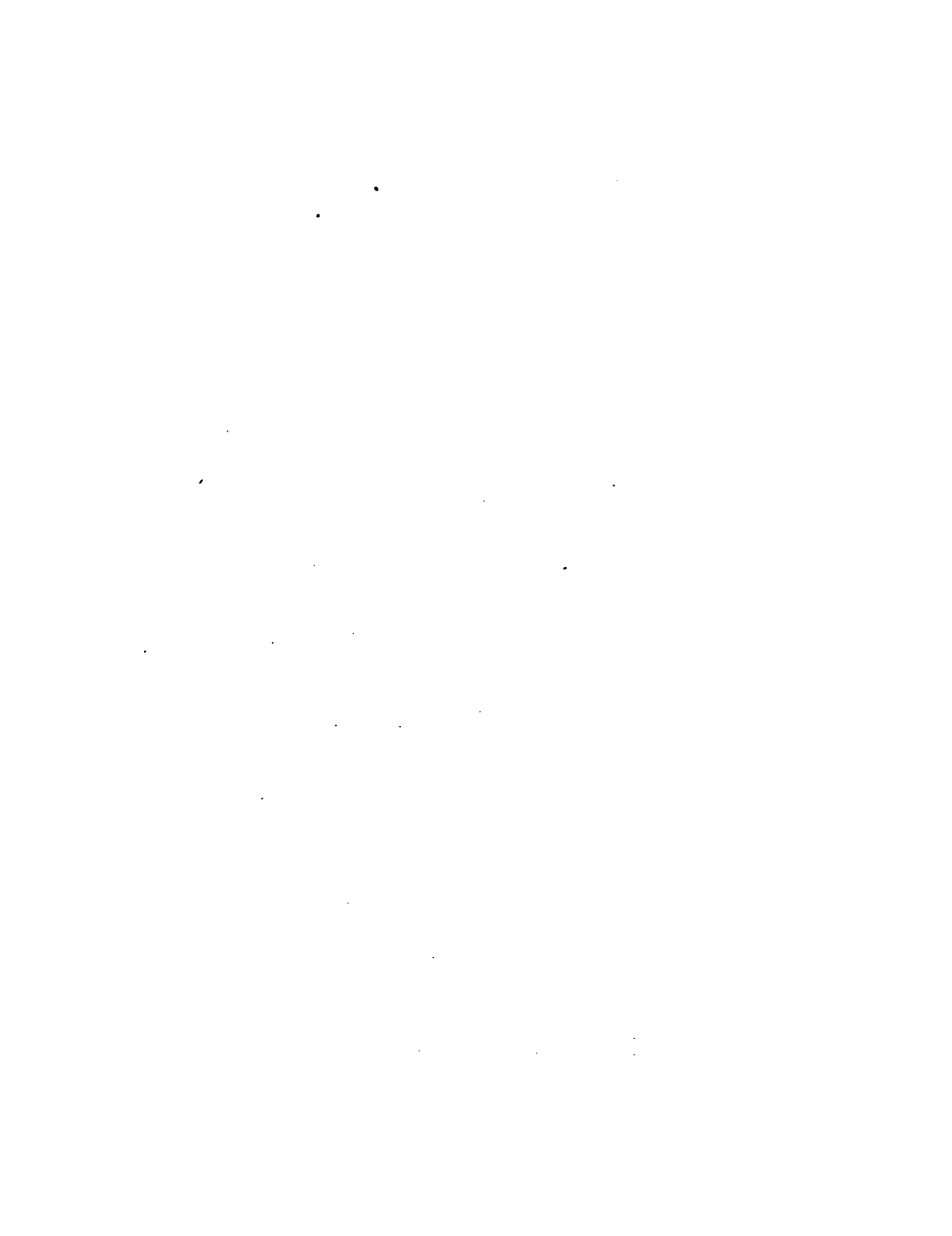
P6

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Изм. № 2 843.

	Стран.
Первоначальное воспитаніе Тургенева въ связи съ впечатлѣніями и вліяніями ранняго дѣтства, <i>Мурге</i>	1
Пребываніе И. С. Тургенева въ пансіонѣ и университетахъ, <i>его же</i>	7
Путешествіе Тургенева за границу и возвращеніе на родину. Первые его литературные труды, <i>его же</i>	11
Тургеневъ за границей среди русской интеллигентной молодежи 40-хъ годовъ, <i>Соловьева</i>	15
Тургеневъ въ кружкѣ молодыхъ литераторовъ на родинѣ, <i>его же</i>	17
Пребываніе Тургенева за границей съ 1847 г., <i>Вятринскаго</i>	21
Тургеневъ на юбилей Пушкина, <i>Иванова</i>	26
Послѣдніе годы жизни Тургенева, <i>его же</i>	28
Среда и природа въ „Запискахъ охотника“, <i>Незеленова</i>	35
Бытовая и художественная стороны въ „Запискахъ охотника“, <i>Аннен-</i> <i>кова</i>	52
Главнѣйшіе мотивы поэзіи въ „Запискахъ охотника“, <i>Иванова</i>	54
Поэтическая прелесть языка и содержанія въ „Запискахъ охотника“, <i>Мельхиора де-Вонюэ</i>	60
Поэтический идеализмъ и рельефная дѣйствительность въ „Запискахъ охотника“, <i>Пича</i>	69
Крѣпостное право и „Записки охотника“, <i>Семевского</i>	70
Общественное значеніе „Записокъ охотника“, <i>Миллера</i>	81
Причины успѣха „Записокъ охотника“, <i>Лопатина</i>	91
„Муму“ и „Постоялый дворъ“, <i>Незеленовъ</i>	93
Дневникъ лишняго человѣка, <i>Дружининъ</i>	96
Рудинъ — сынъ своего времени, <i>Дружинина</i>	106
Отрицательныя черты въ Рудинѣ, <i>Чернышева</i>	115
Положительныя стороны въ Рудинѣ, <i>Буренина</i>	128
Среда и люди въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, <i>Естафьева</i>	136
„Дворянское гнѣздо“, какъ чуткое отраженіе дѣйствительности, <i>Анненк.</i>	146
Личность Лизы въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, <i>Овсянко-Куликовскаго</i>	178
Общественное значеніе романа „Наканунъ“, <i>Естафьева</i>	182
Дѣйствующія лица въ романѣ „Наканунъ“, <i>его же, К.</i>	183
Культъ женщины у Тургенева, <i>Маркова</i>	194
Сила и искренность чувства, жажда дѣятельнаго добра, нѣжная и беззащитная любовь къ идеалу человѣческой личности — харак- терныя черты Елены, <i>Чернышева</i>	250
Стремленіе къ идеалу и воплощеніе его въ совѣстной жизни и дѣя- тельности съ любимымъ человѣкомъ, какъ носители возвы- шенныхъ идей — составляютъ единственный источникъ счастли- вой и разумной жизни Елены, <i>Басистова</i>	258
Поэтический образъ Елены, выросшей среди несвойственной обста- новки и развѣтшей подъ вліяніемъ любви, <i>К-ю</i>	263
Природа въ произведеніяхъ Тургенева, <i>Арсеньева</i>	195
Творчество Тургенева, <i>Овсянко-Куликовскаго</i>	205
Истинность изображенія въ сочиненіяхъ Тургенева, <i>Брандеса</i>	210
Правдивость, изящество содержанія и чувство мѣры въ изображеніи дѣйствительности — какъ отличительныя свойства таланта Тур- генева, <i>Шмидта</i>	220
Простота фабулы, реальность изображенія и личный элементъ въ сочи- неніяхъ Тургенева, <i>Мермиз</i>	224
Воспитательное значеніе сочиненій Тургенева, <i>Сиповскаго</i>	226
Тургеневъ, какъ художникъ-гражданинъ, <i>Миллера</i>	231
Тургеневъ, какъ писатель и человѣкъ, <i>Стрихова</i>	240





Первоначальное воспитаніе Тургенева въ связи съ впечатлѣніями и вліяніями ранняго дѣтства.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ родился въ г. Орлѣ 28 октября 1818 года въ старинной дворянской семьѣ. По обычаю того времени, воспитывался дома подъ присмотромъ гувернеровъ — нѣмцевъ или швейцарцевъ, людей малообразованныхъ, забытыхъ нуждою, — которые, со дня поступленія въ богатый домъ, становились въ положеніе раболѣпныхъ слугъ, а не воспитателей, способныхъ оказать благотворное вліяніе на своихъ питомцевъ.

Вся ихъ роль ограничивалась тѣмъ, что дитя научалось бѣгло болтать на иностранныхъ языкахъ.

Въ 1822 году Тургеневы всей семьей отправились за границу, побывали въ Германіи, Швейцаріи, Франціи. Путешествіе совершалось самымъ грандіознымъ образомъ: въ собственныхъ дорожныхъ каретахъ, съ массой всякой поклажи и цѣлой вереницей крѣпостной челяди.

Объ этомъ путешествіи у четырехлѣтняго И. С. сохранилось лишь смутное воспоминаніе, за исключеніемъ двухъ случаевъ, едва не стоившихъ ему жизни. Разъ въ Бернѣ, вмѣстѣ съ родителями осматривая яму, въ которой содержали городскихъ медвѣдей, мальчикъ упалъ бы къ звѣрямъ, если бы отецъ въ-время не подхватилъ его. А затѣмъ, — тяжелая болѣзнь, когда жизнь ребенка висѣла на волоскѣ, и съ минуты на минуту ожидая его смерти, снимали уже мѣрку для гроба.

По возвращеніи изъ-за границы, Тургеневы снова поселились въ своемъ Орловскомъ имѣніи „Спасскомъ“. Здѣсь-то протекли дѣтскіе годы жизни И. С. въ весьма мрачной и печальной обстановкѣ. „Мнѣ нечѣмъ помянуть моего дѣтства, — съ горечью въ сердцѣ говоритъ онъ впоследствии, — ни одного свѣтлаго воспоминанія. Въ нашемъ домѣ царилъ

непощадная строгость, — матери я боялся „какъ огня“. Меня наказывали за всякій пустякъ, однимъ словомъ, муштровали, какъ рекрута. Рѣдкій день проходилъ безъ розогъ, а когда я отваживался спросить, за что меня наказывали, мать категорически заявляла: „тебѣ объ этомъ лучше знать, догадайся“¹⁾. Когда ребенку случалось обмолвиться словомъ, за симъ немедленно слѣдовало „возмездіе“.

„Не могу надивиться, какъ это случилось, — говорить самъ И. С., — что разъ я избѣгнулъ наказанія.

„Однажды у насъ обѣдали гости, и рѣчь за столомъ зашла о томъ, какъ правильнѣй звать діавола: „вельзевуломъ“, „сатаной“ или „мефистофелемъ“. Заинтересованный споромъ старшихъ, я не утерпѣлъ и крикнулъ на весь столъ: „А я знаю, какъ его зовутъ!“

„— Ты! — воскликнула моя мать, бросая на меня молніеносный взоръ.

„— Да, я знаю...

„— Такъ скажи намъ!

„— Его зовутъ „Мемъ“.

„— Мемъ! почему же такъ?

„— Я слышалъ за обѣдней говорить: „вонмемъ“; я думаю, что это діавола прогоняютъ изъ церкви“).

„Мое ребяческое объясненіе вызвало общій хохотъ, и я легко отдѣлался на этотъ разъ — меня не наказали“.

Не зная съ ранняго возраста материнской горячей любви и ласки, которыхъ такъ жаждало его мягкое сердце и которыхъ онъ вполнѣ заслуживалъ, доведенный почти до отчаянія ежедневной муштровкой и наказаніями, — мальчикъ задумалъ бѣжать изъ родительскаго дома.

И. С. самъ говоритъ объ этой страшной для него минутѣ: „Дождавшись наступленія ночи, когда все въ домѣ уснуло, захвативъ узелокъ съ провизіей и необходимыми бѣльемъ, я, какъ кротъ, осторожно крался темнымъ коридоромъ, — откуда ни возмись, мой нѣмецъ-гувернеръ!...“

¹⁾ Полонскій, слушая воспоминанія И. С., спросилъ: „Неужели же твой отецъ никогда не вступался за тебя?“ — „Никогда! отвѣтилъ И. С. — Отецъ думалъ, что если меня такъ часто наказываютъ, то не иначе, какъ я это вполнѣ заслужилъ“.

²⁾ „Вонмемъ“ — церковно-славянскій возгласъ (т.-е. слушайте), но когда про-
изнести слово раздѣльно, то выйдетъ вон (уйди) и мемъ.

„Взявъ меня за руку, онъ отвелъ въ дѣтскую, журилъ, уговаривалъ, стараясь доказать всю неблаговидность моего поступка. На другой день онъ долго оставался въ комнатѣ моей матери, и хотя содержаніе ихъ бесѣды осталось для меня тайной, но съ того дня наказанія не повторялись уже такъ часто“.

Въ нѣжномъ возрастѣ, когда всего необходимѣе ласка и добрый примѣръ, мальчику, наоборотъ, доводилось не разъ быть свидѣтелемъ жестокихъ сценъ и безпощадной расправы съ дворовыми и крестьянами¹⁾.

И это въ такую пору жизни, когда душа ребенка особенно воспримчива для внѣшнихъ впечатлѣній, которыя неизгладимыми чертами западаютъ въ дѣтскую душу.

Такимъ-то образомъ въ душѣ шестилѣтняго мальчика зародились первыя сѣмена глубокаго состраданія и жалости къ несчастнымъ рабамъ. Эти чувства не оставляли И. С. во всю его послѣдующую жизнь, а съ лѣтами нравственные страданія за крѣпостной людъ все усиливались и надрывали это наболѣвшее сердце²⁾.

Почти одинокій въ родной семьѣ, часто оставляемый безъ надзора, предоставленный самому себѣ, впечатлительный ребенокъ проводилъ часы, свободные отъ уроковъ, въ кругу дворовыхъ и крестьянъ и такимъ образомъ сроднился съ ними, и вообщю позналъ всѣ тяжелыя стороны ихъ жизни.

Но самымъ любимымъ мѣстомъ уединенія въ дѣтствѣ для И. С. былъ старинный огромный садъ, скорѣе похожій на паркъ или рощу. Садъ былъ раскинутъ на высокомъ мѣстѣ и круто спускался къ пруду. Безчисленныя березовыя и липовыя аллеи, узкія и длинныя, прохладныя даже въ самые знойные дни, пересѣкались по всѣмъ направленіямъ узенькими, извилистыми дорожками, скрытыми подъ густо разросшимися кустами и почти непримѣтными для глаза. Однообразие сада нарушалось разбросанными тамъ и сямъ кучами старыхъ елей, лиственницъ, огромныхъ дубовъ, а спускъ къ пруду, — okay-

¹⁾ Тургеневъ говоритъ: „Мнѣ случалось видѣть, какъ къ матери, сидѣвшей у окна, подходили, понури голову, ссылаемые ею дворовые за какую-нибудь провинность и обязанные предъ отъѣздомъ явиться на поклонъ къ баринѣ“.

²⁾ „Когда мнѣ случалось бывать на кладбищѣ, я безъ содроганія не могъ войти въ склепъ Лутовиновыхъ (предки его матери)“, говоритъ И. С. Полозскому въ бытность ихъ въ Спасскомъ въ 1881 г.

мленный съ двухъ сторонъ орѣшникомъ, рябиной, жимолостью и терновникомъ, изъ-подъ которыхъ выглядывалъ верескъ и папоротникъ, — придавалъ особенную красоту и живописность саду. Мѣстами открывались лужайки, покрытыя шелковистой изумрудно-зеленой травой, изъ которой робко выглядывали фіолето-розоватныя, темныя головки грибовъ и желтыя цвѣточки цикорія. Весной въ саду заливались соловьи, свистѣли дрозды, куковали кукушки. Въ пруду водилось много рыбы, не только караси и пескари, но и болѣе крупная, которая въ настоящее время совсѣмъ перевелась. „Въ это-то зеленое царство прохлады убѣгалъ я, — говоритъ И. С., — отъ зноя и людей, въ свои излюбленные уголки, считая ихъ въ то время невѣдомыми для другихъ“.

Уже съ семилѣтняго возраста И. С. обращалъ на себя вниманіе старшихъ своимъ не по лѣтамъ серіознымъ видомъ; онъ вообще мало походилъ на дѣтей его возраста, преждевременно казался взрослымъ.

У него были очень большая голова¹⁾, большіе серіозные глаза, мальчикъ зорко присматривался къ окружающему, приставалъ съ вопросами, всѣмъ интересовался. Игрушки его не забавляли, и до дѣтскихъ игръ былъ не большой охотникъ, но зато страстно любилъ птицъ, ловилъ ихъ сѣтями, западней или на птичій клей, сажалъ въ садокъ, окрашенный въ зеленый цвѣтъ и устроенный въ одной изъ комнатъ въ Спаскомъ. Обязанность доставлять кормъ и ходить за пернатыми была возложена на лѣснаго сторожа съ прозвищемъ „Борзой“ за его высокій ростъ и сильную худобу при очень тонкихъ ногахъ.

Кромѣ того, съ разрѣшенія матери И. С. — Варвары П. около террасы были разставлены столы, на которые въ опредѣленные часы слеталась стая голубей, и маленький Ваня собственноручно кормилъ ихъ зерномъ.

¹⁾ Въ дѣтствѣ я думалъ, — говоритъ И. С., — что человѣческій мозгъ покрытъ только кожей и волосами, а у меня кости черепа были такъ тонки и чувствительны, что, когда товарищамъ случалось хлопнуть меня по головѣ, со мной дѣлалось дурно. И позже, говоря объ этомъ съ Полонскимъ, И. С. съ сожалѣніемъ сказалъ ему: „Дотронулся до моего темени, — у меня до сихъ поръ не ерослись кости черепа. Мнѣ бы слѣдовало завѣщать мой черепъ въ анатомическій музей Академіи“. И дѣйствительно, при вскрытіи тѣла И. С. въ Буживалѣ въ 1883 г., доктора подтвердили, что кости черепа такъ тонки, что гнутся при *нажимѣ пальцемъ*.

Лѣсники и охотники Спасскаго, желая потѣшить любознательнаго мальчика, сообщали ему много интереснаго о жизни пернатыхъ, о перелетѣ птицъ, характерѣ и привычкахъ бекасовъ, куропатокъ, перепелокъ, дикихъ утокъ, иногда приносили ихъ выводки, указывая на особенности породы. Мальчикъ, — упоенный охотничьими разсказами, — упрашивалъ ихъ взять съ собою на охоту, и отправлялся съ ними и ребятами въ лѣсъ и на болото. Тутъ же онъ научился стрѣлять изъ ружья лѣснаго сторожа: сначала цѣлился въ сидящую птицу, а потомъ уже ловко убивалъ на лету.

Съ лѣтами И. С. сдѣлался искуснымъ стрѣлкомъ и страстнымъ охотникомъ. Бродя цѣлыми днями по лѣсамъ и окрестностямъ, онъ страстно полюбилъ природу, всѣми силами души наслаждаясь ея красотами, знакомился съ русской деревней, — которую такими яркими красками нарисовалъ впоследствии, которую такъ поэтически воспѣла его „муза“, доказавъ въ немъ тонкаго наблюдателя-художника. Первый же, кто познакомилъ И. С. съ народной поэзіей, былъ не кто иной, какъ крѣпостной его матери В. П., самоучкой научившійся грамотѣ. Позже И. С. вывелъ его въ своемъ разсказѣ „Пунинъ и Бабуринъ“ (1874 г.).

Пунинъ декламировалъ мальчику Ломоносова, Державина, Хераскова.

Мы приводимъ тѣ прекрасныя строки, въ которыхъ Тургеневъ съ наслажденіемъ и благодарностью вспоминалъ о своихъ свиданіяхъ и бесѣдахъ съ своимъ доморощеннымъ наставникомъ:

„Не могу выразить тѣхъ чувствъ, которыя я испытывалъ, когда, улучивъ удобную минуту, Пунинъ являлся — подобно баснословному отшельнику или доброму духу — съ большимъ томомъ подъ мышкой, подавая мнѣ таинственные знаки своими кривыми пальцами и подмигивая глазами. Онъ давалъ мнѣ понять головой, плечами, разными тѣлодвиженіями, въ какомъ укромномъ мѣстечкѣ сада онъ будетъ меня ждать и гдѣ насъ не найдутъ...

„Вотъ, наконецъ, намъ удалось выйти изъ дома не замѣченными, мы въ укромномъ мѣстечкѣ... сидимъ рядкомъ... книга раскрывается, издавая запахъ сыростью старой бумаги, но даже этотъ терпкій запахъ казался мнѣ тогда удивительнымъ...

тельно пріятнымъ. Я дрожалъ, волновался, въ глубокомъ молчаніи слѣдя за его губами, ожидая съ замираніемъ сердца, когда польются сладкіе звуки... Наконецъ, начиналось чтеніе! Все исчезало у меня изъ глазъ... или скорѣе умирало, уничтожалось... заволакивалось туманомъ, оставляя въ душѣ умильное, доброе чувство!... Пунинъ, большею частью, выбиралъ для чтенія звучные и торжественные стихи, онъ влагалъ въ нихъ всѣ силы своей души. Онъ скорѣе декламировалъ, чѣмъ читалъ, говорилъ съ пафосомъ, нѣсколько гнусавя, какъ бы опьянѣвшій... или безумный... или пиеіа!... Начиналъ бормоча, скороговоркой — это значило читать „начерно“, потомъ снова повторялъ и читалъ уже „набѣло“ громко, размахивая при этомъ руками или поднимая ихъ съ мольбой или съ грознымъ жестомъ.

Такъ мы съ нимъ прочли не только Ломоносова, Кантемира (чѣмъ стихи были древнѣе, тѣмъ они ему болѣе нравились), но и „Россіаду“ Хераскова. Въ этой поэмѣ фигурируетъ женщина-татарка, истинная героиня, имя которой я забылъ теперь, но тогда при малѣйшемъ объ ней упоминаніи я весь холодѣлъ. Признаюсь откровенно, что „Россіада“ увлекала меня тогда больше всего. „Да, — говаривалъ при этомъ Пунинъ, качая головой: — Херасковъ не даетъ спуска! Иногда у него вырываются такіе стихи, что чуть устоишь на ногахъ. Только хочется тебѣ прочувствовать всю ихъ глубину, а онъ ужъ несетъ дальше — гремитъ, звучитъ какъ „кимваль“. И какое славное имя — „Херрасковъ“!

„У Ломоносова Пунинъ находилъ слогъ слишкомъ простымъ и свободнымъ, а къ Державину относился нѣсколько непріязненно, считая его болѣе царедворцемъ, чѣмъ поэтомъ, сочинителемъ. „У насъ дома, — говоритъ Тургеневъ, — съ презрѣніемъ относились къ русской литературѣ и поэзіи, а русскіе стихи считали за что-то нескромное и даже пошлое. Покойная моя бабушка называла русскіе стихи не иначе какъ „пѣснями“, и по ея мнѣнію каждый русскій поэтъ былъ непремѣнно или пьяница, или дуракъ.

„Воспитанному въ такихъ понятіяхъ, мнѣ предстояло одно изъ двухъ: или отвернуться отъ Пунина — онъ дѣйствительно былъ крайне грязенъ и неряшливъ, что нѣсколько претило моимъ аристократическимъ привычкамъ, — или *послѣдовать* его „страсти къ поэзіи“. Послѣднее взяло верхъ.

Я принялся декламировать или, говоря языкомъ бабушки, „пѣть пѣсни“ и даже рискнулъ писать стихи. Первымъ опытомъ моей ребяческой поэзіи было описаніе. „Шарманки“. Пунинъ нашелъ подражаніе довольно гармоничнымъ, но не одобрялъ сюжета, находя его слишкомъ вульгарнымъ, низменнымъ, не стоящимъ быть воспѣтымъ „на струнахъ лиры“.

Вмѣстѣ съ И. С. росъ и учился старшій братъ Николай, который для меньшого брата переводилъ повѣсти съ англійскаго языка. Третій — Сергѣй Сергѣевичъ умеръ въ ранней молодости.

Вѣроятно, въ своихъ „Запискахъ охотника“, а именно въ „Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда“, И. С. упоминаетъ о меньшомъ братѣ, страдавшемъ англійской болѣзью, говоря: „У меня сохранилось смутное воспоминаніе о младшемъ братѣ, который по болѣзни не могъ ходить, а ползалъ, какъ „червякъ“, и умеръ очень молодымъ“. *Мурье.*

Пребываніе И. С. Тургенева въ пансіонѣ и университетахъ.

Въ 1827 году Тургеневы переѣхали на жительство въ Москву, въ собственный домъ на Остоженкѣ¹⁾. И. С. отдали въ пансіонъ Винденгаммера. Въ то время дворяне-помѣщики не рѣшались отдавать сыновей въ гимназію, боясь для нихъ товарищества разночинцевъ. Но не долго пробылъ И. С. въ пансіонѣ, его перевели пансіонеромъ въ семью директора Лазаревскаго института г. Краузе. Здѣсь онъ учился подъ руководствомъ хорошихъ преподавателей, каковы: Ключниковъ, Погорѣльскій и другіе. Впослѣдствіи онъ съ особенной любовью и уваженіемъ отзывался о преподавателѣ Дубенскомъ. Это былъ въ высшей степени благородный человекъ, добросовѣстный педагогъ старой школы, основательно учившій своихъ питомцевъ, воспитывая ихъ на произведеніяхъ Карамзина, Батюшкова, Жуковскаго. Пушкина онъ не долюбивалъ за его „вольности“, — какъ говорилъ Дубенскій, порицая поэта

¹⁾ Біографы И. С. расходятся въ своихъ указаніяхъ о мѣстѣ жительства Остоженка или Самотека.

за то, за что и самъ Пушкинъ укорялъ самъ себя въ послѣдствіи — что онъ унижаетъ поэзію, воспѣвая низменные предметы, недостойные самаго „духа“ поэзіи. Пребываніе въ домѣ г. Краузе принесло много пользы И. С. Онъ сдѣлалъ большіе успѣхи въ иностранныхъ языкахъ, особенно въ англійскомъ, прошелъ всеобщую литературу, такъ что — съ прежнимъ знаніемъ французскаго и нѣмецкаго языковъ — вынесъ большой запасъ свѣдѣній по иностранной литературѣ. Ему вообще легко давались иностранные языки, и онъ въ послѣдствіи совершенно свободно владѣлъ ими.

Въ 1833 году И. С. вступилъ въ Московскій университетъ, гдѣ слушалъ лекціи профессоровъ: Павлова, Погодина, Побѣдоносцева, но, спустя годъ, а именно 30 октября 1834 года, получивъ извѣстіе о смерти отца, уѣхалъ въ Спасское.

Въ академическомъ 1834—35 году онъ перешелъ въ Петербургскій университетъ. Что заставило его избрать Петербургъ, а не Москву, — тогда какъ мать В. П., похоронивъ мужа, поселилась въ Москвѣ, — этотъ вопросъ остается открытымъ. Можно предполагать, что онъ желалъ вырваться на свободу и быть подальше отъ требовательной матери и родныхъ.

Въ тѣ годы Петербургскій университетъ не славился профессорами, а студенты мало отдавались наукѣ, а проводили время въ карточной игрѣ и пирушкахъ. Чтобъ составить вѣрное понятіе о томъ, какъ строго осуждалъ И. С. образъ жизни учащейся молодежи и какія тяжкія воспоминанія вынесъ онъ объ этомъ времени, стоитъ прочесть его негодующія рѣчи о „Клубѣ студентовъ“ въ „Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда“.

За исключеніемъ ректора университета — П. А. Плетнева, писателя и друга Пушкина и его сотрудника по изданію „Современника“, не было ни одного выдающагося профессора, достойнаго упоминанія.

Лекціи читались больше по книгамъ или по запискамъ на русскомъ или нѣмецкомъ языкѣ, вышедшимъ изъ-подъ строгой редакціи начальства. Студенты записывали лекціи и зубрили ихъ къ экзаменамъ. Наука не пользовалась большой симпатіей ни у учащихся ни у учащихся.

Плетневъ, читавшій русскій языкъ и всеобщую литературу, — по словамъ И. С. — хотя читалъ нѣсколько узко, но изящнымъ слогомъ, внятно и съ одушевленіемъ. Онъ умѣлъ передать свои симпатіи и заинтересовать аудиторію. Къ тому же

въ глазахъ студентовъ онъ стоялъ высоко, какъ одинъ изъ литературной плеяды, другъ Пушкина, Жуковского, Барятинскаго, Гоголя — ему же Пушкинъ посвящалъ своего „Евгенія Онѣгина“.

Плетневъ былъ одинъ изъ людей „невозвратной эпохи“, профессоръ прежней школы: образованный, но не специалистъ, хотя человѣкъ своеобразнаго ума.

Философію преподавалъ нѣкто Фишеръ, австріецъ родомъ, за незнаніемъ русскаго языка читавшій по-латыни. Исторію читалъ профессоръ Куторга, еще молодой человѣкъ, только что вернувшійся изъ поѣздки въ Германію, страстный поклонникъ критической школы Нибуга. Шульгинъ читалъ однообразно и неясно освѣщалъ свой предметъ. Проф. Устряловъ передавалъ факты съ патриотической окраской, и, наконецъ, Гоголь, который въ началѣ задумалъ посвятить себя научной дѣятельности. Онъ преподавалъ весьма оригинально, — говорить И. С., — во-первыхъ изъ трехъ лекцій пропускалъ двѣ, затѣмъ, взойдя на кафедру, говорилъ что-то скороговоркой, а больше занималъ студентовъ, показывая гравюры на стали съ видами Св. Земли и Востока, при чемъ во все продолженіе лекціи казался крайне смущеннымъ. Студенты вывели изъ этого, что лекторъ не обладаетъ достаточными свѣдѣніями по своему предмету, да и самъ Гоголь, кажется, признавалъ всю неловкость своего положенія, и въ 1835 г. подалъ въ отставку. Русскую литературу читалъ проф. Никитенко. Кромѣ посѣщенія университета, И. С. занимался подъ руководствомъ Вальтера, извѣстнаго латиниста, преподавателя нѣмецкой Петропавловской школы (служившаго въ Императорской Публичной библіотекѣ). Съ нимъ онъ читалъ и переводилъ Горация, Тацита, Софокла, Фукидида и др., но древніе языки не легко давались И. С., и, когда онъ вступилъ въ Берлинскій университетъ, ему снова пришлось засѣсть за латинскій и греческій.

Плетневъ, — человѣкъ прекрасной души, — относился къ студентамъ запросто, вполне отечески, такъ что они посвящали его въ свои литературные опыты. „И я, — говорилъ Тургеневъ, — рѣшился отдать на его усмотрѣніе мою первую пробу пера“ или „плодъ музы“, какъ говорили въ былыя времена. Эта была фантастическая драма въ стихахъ подъ названіемъ „Стеніо“.

„На слѣдующей же лекціи Плетневъ, не называя автора, принялся за разборъ моего произведенія съ обычнымъ ему благодушіемъ. Произведеніе, — долженъ признаться, — крайне глупое, безсмысленное, не что иное какъ плоское подражаніе Байроновскому „Манфреду“ и доказавшее полное невѣжество автора.

„По окончаніи лекціи, уходя изъ университета, ректоръ позвалъ меня съ собой, дорогой ласково журилъ за пустое времяпрепровожденіе, но сказалъ, что во мнѣ есть „кое-что“. Эти слова такъ ободрили меня, что черезъ нѣсколько времени я опять передалъ ему на просмотръ нѣсколько стихотвореній, изъ которыхъ онъ выбралъ два и спустя годъ напечаталъ въ „Современникѣ“ (1838 г.). Одно изъ нихъ подъ названіемъ „Старый дубъ“ было тоже не болѣе, какъ „лепетъ ребяческой поэзіи“.

Съ этого времени Плетневъ приглашалъ Тургенева на свои литературные вечера, гдѣ послѣдній имѣлъ случай познакомиться съ болѣе или менѣе извѣстными писателями, между прочимъ, съ Козловымъ. Здѣсь же онъ встрѣтилъ Пушкина, Бѣлинскаго и др. Но всѣ эти литературные встрѣчи въ домѣ ректора были, большею частью, случайны для молодого студента и будущаго великаго писателя и ограничивались лишь нѣсколькими словами съ Плетневымъ, съ Бѣлинскимъ, который не одинъ добрый совѣтъ далъ начинающему писателю, нѣсколькими вскользь брошенными страстными взглядами на обожаемаго Пушкина, котораго я, какъ и всѣ современники, почиталъ за „полубога“, предъ которымъ мы положительно благоговѣли.

Какъ сынъ старинной дворянской фамиліи, И. С. имѣлъ свободный доступъ въ высшій кругъ столицы, но онъ чуждался свѣтскаго общества, а больше вращался въ литературной средѣ. Онъ, видимо, увлекался литературой, писалъ самъ и читалъ въ оригиналѣ лучшія произведенія иностранной литературы.

Лѣто онъ проводилъ обыкновенно въ Спасскомъ. Здѣсь снова имъ овладѣвали вопросы о крѣпостномъ правѣ; онъ много читалъ, ходилъ на охоту, а иногда, захвативъ ружье, пропадалъ на цѣлые дни въ лѣсу.

Мурье.

Путешествіе Тургенева за границу и возвращеніе на родину. Первые его литературные труды.

— Не разъ И. С. порывался ѣхать за границу, но мать В. П. препятствовала выполнить это завѣтное желаніе. Наконецъ, послѣ долгихъ настояній, удалось ему получить ея согласіе и послѣ долгихъ сборовъ въ дорогу сѣсть на пароходъ „Николай I“, идущій въ Любекъ. Легко себя представить, какъ радостно билось сердце 20-лѣтняго молодого человѣка, цвѣтущаго здоровьемъ и вырвавшагося на свободу. Первымъ дѣломъ И. С. направился въ Берлинъ — тогдашній центръ всемірной науки, мыслителей и философовъ.

Но во время плаванія онъ чуть не погибъ: на пароходѣ вблизи Травемюнде произошелъ пожаръ, и пассажиры едва спаслись на лодкахъ. Этотъ случай послужилъ сюжетомъ для художественнаго разсказа „Пожаръ на морѣ“, который И. С. написалъ за мѣсяцъ до своей смерти въ 1883 году.

Въ Берлинъ онъ пріѣхалъ весною 1838 года и немедленно засталъ за серіозное чтеніе — читалъ чуть не до ожесточенія¹⁾. Онъ изучалъ древніе языки, исторію и особенно философію Гегеля подъ руководствомъ профессора Вердера. Вообще въ Германіи жилось ему весело и отрадно. Русскіе студенты сходились тѣснымъ кружкомъ въ семьѣ Фроловыхъ, гдѣ ихъ всегда встрѣчала ласка и радушіе. Тургеневъ сдружился съ Грановскимъ, Станкевичемъ — горячимъ поклонникомъ Запада, — Бакунинымъ и вообще съ „западниками“, какъ ихъ называли въ отличіе отъ „славянофиловъ“.

Но, живя за границей и усердно посѣщая Берлинскій университетъ, И. С. часто возвращался мыслію къ дорогой родинѣ, сравнивая общественное положеніе и относительное благосостояніе нѣмецкаго крестьянина съ полнымъ невѣжествомъ и печальнымъ положеніемъ крѣпостныхъ въ Россіи, и глубокая скорбь наполняла это чуткое, благородное сердце.

А вскорѣ посѣтило его другое горе: умеръ горячо любимый Станкевичъ!

Вотъ, что онъ пишетъ по поводу этой преждевременной кончины Грановскому изъ Берлина 4 іюля 1840 года:

¹⁾ Что не мѣшало ему рисовать карикатуры, которыми встрѣчалъ вола его замѣтокъ и лекцій.

„Я едва въ силахъ взяться за перо. Мы потеряли горячо любимаго друга, въ котораго вѣрили безусловно. Онъ былъ нашей гордостью и надеждой! Станкевичъ умеръ 24-го іюня въ Нови!... Чтò сказать еще?... Къ чему слова!... Скорѣе для себя, чѣмъ для васъ, пишу я эти строки. Живя съ нимъ въ Римѣ, привыкнувъ видѣть его каждый день, я сроднился съ нимъ, невольно оцѣнилъ этотъ свѣтлый умъ, горячее сердце, эту чудную душу!... Уже тѣнь смерти давно подстерегала его! Тщетно смотрю вокругъ себя, тщетно ищу, кто бы изъ насъ могъ замѣнить его, которому изъ насъ удастся выполнить его завѣты, — не давъ погибнуть его идеаламъ. Кто пойдетъ по пути, проложенному имъ въ его духѣ, съ его стойкостью!... Но мы не должны терять надежды, мужества, понизнуть главой, соединимся всѣ вмѣстѣ, дадимъ другъ другу руки, сплотимся воедино... Одинъ изъ нашихъ палъ... можетъ-быть — лучший изъ насъ, но явятся другіе... появляются уже. Денница Божія непрестанно направляетъ человѣческую душу къ благимъ стремленіямъ, и рано или поздно свѣтъ побѣдитъ тьму!“

Въ 1841 году И. С. вернулся изъ-за границы въ Петербургъ, а отсюда проѣхалъ въ Москву навѣстить мать, здоровье которой за послѣдніе годы сильно пошатнулось. Отношенія и прежде были натянуты, а теперь И. С. скоро убѣдился, что пока онъ жилъ за границей, она не забыла еще ничего прежняго, и что они — люди совершенно разныхъ характеровъ и убѣжденій — никогда не могутъ сойтись.

Онъ, поживя на чужбинѣ, во многомъ измѣнился; она, старѣясь, оставалась та же съ своей холодностью, бездушіемъ, и напрасно было стараться поколебать ея убѣжденія.

Хотя они вмѣстѣ отправились въ Спасское, но тамъ не замедлила разыгратъ бурная сцена между матерью и сыномъ. Поводомъ къ ссорѣ послужило дурное обращеніе съ крѣпостными. Иванъ Сергѣевичъ, не медля ни минуты, уложился и уѣхалъ въ Петербургъ.

Безъ гроша денегъ, ничего не захвативъ изъ дома, Тургеневъ принужденъ былъ искать работы, и не разъ будущій великій писатель голодалъ по цѣлымъ днямъ.

Онъ толкнулся къ Вл. Далю — директору канцеляріи ~~Министерства~~ *Министерства* Внутреннихъ Дѣлъ — въ то время довольно из-

вѣстному писателю. Послѣдній далъ ему мѣсто въ своей канцеляріи. Даль былъ человѣкъ честный, дѣятельный, исполнительный чиновникъ, но крайне требовательный начальникъ. На первыхъ же порахъ И. С. получилъ замѣчаніе отъ директора за опозданіе на службу. Тургеневъ съ удивленіемъ поднялъ глаза на начальника, какъ бы спрашивая себя, неужели это тотъ же самый Вл. Даль, съ которымъ онъ не далѣе какъ наканунѣ провелъ пріятный вечеръ у Плетнева, а за день до того — у Жуковского. Спустя немного, послѣдовало вторичное строгое замѣчаніе по тому же поводу, а на третій разъ — И. С. подалъ въ отставку, давъ себѣ слово никогда не служить.

Во время своего пребыванія въ Петербургѣ, И. С. близко сошелся съ Бѣлинскимъ, ему читалъ свои первые стихотворенія, которыя печатались въ „Современникъ“, издававшемся Некрасовымъ, за подписью Т. Л. (Тургеневъ-Лутвиновъ).

Бѣлинскій снисходительно отнесся къ первымъ литературнымъ опытамъ И. С., да и онъ самъ скоро понялъ, что не поэзія составить ему имя въ литературѣ¹⁾, что онъ еще въ потемкахъ, но не палъ духомъ, а въ 1843 году отдалъ въ печать свою поэму „Параша“.

Это произведеніе ничѣмъ не отличалось въ литературномъ отношеніи, и нельзя было по немъ предугадать нарождающійся талантъ.

Однако поэма вызвала шумную полемику, такъ какъ въ ней ярко выражались горячія симпатіи юнаго автора къ Западу. Злобная критика не пощадила ни человѣка ни писателя, (называя) окрестивъ его первые опыты въ литературѣ подъ названіемъ „Чудеса европейскаго развитія“.

Бѣлинскій, напротивъ, открылъ въ „Парашѣ“ признаки рѣдкаго таланта наблюдательности и говорилъ: „Тотъ, кто сумѣлъ написать Парашу, — тотъ сумѣетъ исправиться отъ недостатковъ“.

Отдавъ въ печать „Парашу“, И. С. уѣхалъ въ Спасское, гдѣ, большею частью, проводилъ время на охотѣ, съ нетерпѣніемъ ожидая выхода слѣдующей книжки „Отечественныхъ

¹⁾ Онъ самъ говорилъ: „Мнѣ крайне антипатичны мои первые стихотворенія, у меня даже не сохранилось ни одного экземпляра — и я много бы далъ, чтобы ихъ не было ни у кого“.

Записокъ“ со статьей Бѣлинскаго. Онъ задумалъ пока прочесть поэму матери, но В. П. только качала головой, зѣвала, удивляясь, что сынъ ея находитъ удовольствіе писать „пѣсни“.

— Не понимаю, что тебѣ за охота быть писателемъ! Развѣ это дворянское дѣло?... По моему мнѣнію, что писатель, что писецъ — одно и то же. Оба мараютъ бумагу за деньги. Дворянинъ обязанъ служить, составить себѣ имя на службѣ, а не марать бумагу. Да и кто же читаетъ „русскіе стихи“?!...

— Ты сама!—отвѣтилъ Тургеневъ.— Вѣдь ты же любила и уважала Жуковского!

— Ахъ, это другое дѣло, Жуковский! Его нельзя не уважать. Ты знаешь, какъ его любятъ при Дворѣ!

Варвара Петровна не беспокоилась о сынѣ, она была увѣрена, что эта болѣзненная фантазія пройдетъ сама собой. Отчего не подурачиться въ двадцать-пять лѣтъ! Дурачества были присущи дворянамъ.

Но вотъ наступилъ май, и такъ нетерпѣливо ожидаемый номеръ „Отечественный Записокъ“ вышелъ. И. С. поспѣшно разрѣзалъ листы книжки — это было „огненное крещеніе“.

Какой несказанной радостью наполнилось его сердце, читая похвальный отзывъ Бѣлинскаго!

„Эти строки удесятирили мои силы, — говорилъ Тургеневъ, — я готовъ былъ полюбить весь міръ, а особенно Бѣлинскаго! Я далъ себѣ слово сдѣлаться его другомъ, его ученикомъ!“

Поэма „Параша“ сыграла большую роль въ жизни Тургенева, хотя не имѣетъ почти значенія въ исторіи русской литературы.

Лѣтомъ 1843 года, вернувшись изъ Спасскаго въ Петербургъ, И. С. немедленно посѣтилъ Бѣлинскаго, въ то время уже больного чахоткой, и настолько сдружился съ нимъ, что почти ежедневно бывалъ у него, пока въ 1848 году смерть не сразила этого мужественнаго страдальца. И. С. глубоко цѣнилъ эту дружбу, а Бѣлинскій, съ своей стороны, платилъ ему такой же сердечной привязанностью.

Подъ руководствомъ великаго критика, — имѣвшаго большое вліяніе на И. С., — вполне опредѣлилось направленіе всей его будущей литературной дѣятельности. *Муръе.*

никъ усвоивъ себѣ результаты философскаго знанія того времени. Не преувеличивая, можно сказать, что въ началѣ 40-хъ годовъ онъ былъ однимъ изъ самыхъ образованныхъ русскихъ литераторовъ и, сближаясь съ передовыми людьми своего времени, тогда же имѣлъ на нихъ вліяніе своимъ многостороннимъ знакомствомъ съ западной наукой и литературой.

„Возвратившись въ Петербургъ изъ Спасскаго (лѣтомъ 1843 г.), — пишетъ Тургеневъ, — я отправился къ Бѣлинскому, и знакомство наше началось. Онъ вскорѣ уѣхалъ въ Москву — жениться и потомъ поселился на дачѣ въ Лѣсномъ. Я также нанялъ дачу въ первомъ Парголовѣ и до самой осени почти каждый день посѣщалъ Бѣлинскаго. Я любилъ его искренно и глубоко; онъ благоволилъ ко мнѣ...

„Когда я познакомился съ нимъ, его мучили сомнѣнія. Эту фразу я часто слышалъ и самъ примѣнялъ ее не однажды, но дѣйствительно и вполнѣ онъ примѣнялся къ одному Бѣлинскому. Сомнѣнія его именно мучили его, лишали его сна, пищи, неотступно жгли и грызли его; онъ не позволялъ себѣ забыться и не зналъ усталости; онъ денно и нощно бился надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, которые самъ задавалъ себѣ. Бывало, какъ только я приду къ нему, — онъ, исхудалый, больной (съ нимъ сдѣлалось тогда воспаление въ легкихъ и чуть не унесло его въ могилу), тотчасъ вставалъ съ дивана и едва слышнымъ голосомъ, безпрестанно кашляя, съ пульсомъ, бывшимъ сто разъ въ минуту, съ неровнымъ румянцемъ на щекахъ, начнетъ прерванную наканунѣ бесѣду. Искренность его дѣйствовала на меня, его огонь сообщался и мнѣ, важность предмета меня увлекала; но, поговоривъ часа два-три, я ослабѣвалъ, легкомысліе молодости брало свое, мнѣ хотѣлось отдохнуть, я думалъ о прогулкѣ, объ обѣдѣ, сама жена Бѣлинскаго умоляла и мужа и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти пренія, напоминала ему предписаніе врача... но съ Бѣлинскимъ сладить было не легко. — „Мы не рѣшили еще вопроса о существованіи Бога, — сказалъ онъ мнѣ однажды съ горькимъ упрекомъ, — а вы хотите ѣсть!...“

„Сознаюсь, — продолжаетъ Тургеневъ, — что, написавъ эти слова, я чуть не вычеркнулъ ихъ при мысли, что они могутъ возбудить улыбку на лицахъ иныхъ изъ моихъ читателей... Но не пришло бы въ голову смѣяться тому, кто самъ бы слышалъ, какъ Бѣлинскій произнесъ эти слова, и если при воспоминаніи объ этой небоязни смѣшного улыбка можетъ прійти на уста, то развѣ улыбка умиленія и удивленія.

„Лишь добившись удовлетворившаго его въ то время результата, Бѣлинскій успокоился и, отложивъ размышленія о тѣхъ капитальныхъ вопросахъ, возвратился къ ежедневнымъ трудамъ и занятіямъ. Со мною онъ говорилъ особенно охотно потому, что я недавно вернулся изъ Берлина, гдѣ въ теченіе двухъ семестровъ занимался гегелевскою философіей и былъ въ состояніи передать ему самые свѣжіе, послѣдніе выводы“.

Лѣто 1843 г. закрѣпило дружескія отношенія, конецъ которымъ былъ положенъ лишь смертью Бѣлинскаго. Несомнѣнно, что онъ имѣлъ на Тургенева большое нравственное вліяніе, все равно какъ и на другихъ членовъ своего кружка, — Некрасова напримѣръ. Напомню, что сказалъ однажды послѣдній: „заняться своимъ образованіемъ у меня не было времени, надо было думать о томъ, чтобы не умереть съ голоду. Я попалъ въ такой литературный кружокъ, въ которомъ скорѣе можно было отупѣть, чѣмъ развиться. Моя встрѣча съ Бѣлинскимъ была для меня спасеніемъ... Что бы ему пожить подольше!... Я бы былъ не тѣмъ человѣкомъ, какимъ теперь“... Спасать Тургенева было не отъ чего, но такіе люди, какъ Бѣлинскій, закрѣпляютъ правду въ сердцахъ всѣхъ, кто сходится съ ними. Любопытно, между прочимъ, что къ Тургеневу Бѣлинскій относился поотечески и зачастую журилъ его за барскія замашки, за юношескую хвастливость, подчасъ и за фразерство.

Разумѣется, на нагоняи, получаемые отъ Бѣлинскаго, никто никогда не обижался, хотя порою онъ пробиралъ довольно сердито. Разъ онъ жестоко набросился на Тургенева, когда узналъ, что тотъ въ „великосвѣтскихъ салончикахъ“ увѣряетъ „дамъ и кавалеровъ“, будто бы не беретъ литературнаго гонорара и помѣщаетъ свои произведенія даромъ. „Да какъ вы рѣшились сказать такую пошлость, вы — Тургеневъ!... Да развѣ это стыдно брать деньги за собствен-

никѣ усвоивъ себѣ результаты философскаго знанія того времени. Не преувеличивая, можно сказать, что въ началѣ 40-хъ годовъ онъ былъ однимъ изъ самыхъ образованныхъ русскихъ литераторовъ и, сближаясь съ передовыми людьми своего времени, тогда же имѣлъ на нихъ вліяніе своимъ многостороннимъ знакомствомъ съ западной наукой и литературой.

„Возвратившись въ Петербургъ изъ Спасскаго (лѣтомъ 1843 г.), — пишетъ Тургеневъ, — я отправился къ Бѣлинскому, и знакомство наше началось. Онъ вскорѣ уѣхалъ въ Москву — жениться и потомъ поселился на дачѣ въ Лѣсномъ. Я также нанялъ дачу въ первомъ Парголовѣ и до самой осени почти каждый день посѣщалъ Бѣлинскаго. Я полюбилъ его искренно и глубоко; онъ благоволилъ ко мнѣ...

„Когда я познакомился съ нимъ, его мучили сомнѣнія. Эту фразу я часто слышалъ и самъ примѣнялъ ее не однажды, но дѣйствительно и вполнѣ онъ примѣнялась къ одному Бѣлинскому. Сомнѣнія его именно мучили его, лишали его сна, пищи, неотступно жгли и грызли его; онъ не позволялъ себѣ забытья и не зналъ усталости; онъ денно и нощно бился надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, которые самъ задавалъ себѣ. Бывало, какъ только я приду къ нему, — онъ, исхудалый, больной (съ нимъ сдѣлалось тогда воспаленіе въ легкихъ и чуть не унесло его въ могилу), тотчасъ вставалъ съ дивана и едва слышнымъ голосомъ, безпрестанно кашляя, съ пульсомъ, бывшимъ сто разъ въ минуту, съ неровнымъ румянцемъ на щекахъ, начнетъ прерванную наканунѣ бесѣду. Искренность его дѣйствовала на меня, его огонь сообщался и мнѣ, важность предмета меня увлекала; но, поговоривъ часа два-три, я ослабѣвалъ, легкомысліе молодости брало свое, мнѣ хотѣлось отдохнуть, я думалъ о прогулкѣ, объ обѣдѣ, сама жена Бѣлинскаго умоляла и мужа и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти пренія, напоминала ему предписаніе врача... но съ Бѣлинскимъ сладить было не легко. — „Мы не рѣшили еще вопроса о существованіи Бога, — сказалъ онъ мнѣ однажды съ горькимъ упрекомъ, — а вы хотите ѣсть!...“

„Сознаюсь, — продолжаетъ Тургеневъ, — что, написавъ эти слова, я чуть не вычеркнулъ ихъ при мысли, что они могутъ возбудить улыбку на лицахъ иныхъ изъ моихъ читателей... Но не пришло бы въ голову смѣяться тому, кто самъ бы слышалъ, какъ Бѣлинскій произнесъ эти слова, и если при воспоминаніи объ этой небоязни смѣшного улыбка можетъ прійти на уста, то развѣ улыбка умиленія и удивленія.

„Лишь добившись удовлетворившаго его въ то время результата, Бѣлинскій успокоился и, отложивъ размышленія о тѣхъ капитальныхъ вопросахъ, возвратился къ ежедневнымъ трудамъ и занятіямъ. Со мною онъ говорилъ особенно охотно потому, что я недавно вернулся изъ Берлина, гдѣ въ теченіе двухъ семестровъ занимался гегелевской философіей и былъ въ состояніи передать ему самые свѣжіе, послѣдніе выводы“.

Лѣто 1843 г. закрѣпило дружескія отношенія, конецъ которымъ былъ положенъ лишь смертью Бѣлинскаго. Несомнѣнно, что онъ имѣлъ на Тургенева большое нравственное вліяніе, все равно какъ и на другихъ членовъ своего кружка, — Некрасова напримѣръ. Напомню, что сказалъ однажды послѣдній: „заняться своимъ образованіемъ у меня не было времени, надо было думать о томъ, чтобы не умереть съ голоду. Я попалъ въ такой литературный кружокъ, въ которомъ скорѣе можно было отупѣть, чѣмъ развиться. Моя встрѣча съ Бѣлинскимъ была для меня спасеніемъ... Что бы ему пожить подольше!... Я бы былъ не тѣмъ человѣкомъ, какимъ теперь“... Спасать Тургенева было не отъ чего, но такіе люди, какъ Бѣлинскій, закрѣпляютъ правду въ сердцахъ всѣхъ, кто сходится съ ними. Любопытно, между прочимъ, что къ Тургеневу Бѣлинскій относился поотечески и зачастую журилъ его за барскія замашки, за юношескую хвастливость, подчасъ и за фразерство.

Разумѣется, на нагоняи, получаемые отъ Бѣлинскаго, никто никогда не обижался, хотя порою онъ пробиралъ довольно сердито. Разъ онъ жестоко набросился на Тургенева, когда узналъ, что тотъ въ „великосвѣтскихъ салончикахъ“ увѣряетъ „дамъ и кавалеровъ“, будто бы не беретъ литературнаго гонорара и помѣщаетъ свои произведенія даромъ. „Да какъ вы рѣшились сказать такую пошлость, вы — Тургеневъ!... Да развѣ это постыдно брать деньги за собствен-

ный трудъ? Или по вашимъ понятіямъ только тунеядецъ можетъ быть порядочнымъ человѣкомъ?“ — волновался Бѣлинскій, нагоняя на лицо умнаго русскаго барича краску стыда и раскаянія.

„Я, — продолжаетъ Тургеневъ, — часто ходилъ къ нему послѣ обѣда отводить душу. Онъ занималъ квартиру въ нижнемъ этажѣ, по Фонтанкѣ, недалеко отъ Аничковскаго моста, — невеселая, довольно сырая комнаты. Не могу не повторить: тяжелыя тогда стояли времена; нынѣшнимъ молодымъ людямъ не приходилось испытать ничего подобнаго. Пусть читатель самъ посудитъ: утромъ, быть можетъ, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; можетъ-быть, даже тебѣ пришлось съѣздить къ цензору и, представивъ напрасныя унижительныя оправданія, объясненія, выслушать его безапелляціонный, часто насмѣшливый приговоръ... Бросишь вокругъ себя мысленный взоръ: взяточничество процвѣтаетъ, крѣпостное право стоитъ какъ скала, казарма на первомъ планѣ... Ну, вотъ и придешь на квартиру Бѣлинскаго, придетъ другой-третій пріятель, затѣется разговоръ, и легче станетъ. Общій колоритъ нашихъ бесѣдъ былъ философски-литературный, критически-эстетическій и, пожалуй, социальный, рѣдко историческій. Иногда выходило очень интересно, даже сильно; иногда нѣсколько поверхностно и даже легковѣсно.

„Какъ во всѣхъ людяхъ съ пылкой душой, во всѣхъ энтузіастахъ, въ Бѣлинскомъ была большая доля нетерпимости. Онъ не признавалъ, особенно сгоряча, ни одной частицы правды во мнѣніяхъ противника и отворачивался отъ нихъ съ тѣмъ же негодованіемъ, съ которымъ покидалъ собственные мнѣнія, когда находилъ ихъ ошибочными. Но его можно было „прошибить“, какъ я сказалъ ему однажды и чему онъ много смѣялся, — истина была для него слишкомъ дорога; онъ не могъ окончательно упорствовать. Въ собственныхъ промахахъ Бѣлинскій признавался безъ всякой задней мысли: мелкаго самолюбія въ немъ и слѣда не было. — „Ну, вралъ же я чушь!“ бывало говаривалъ онъ съ улыбкой — и какая эта въ немъ была хорошая черта!.. Ничего не было для него важнѣе и выше дѣла, за какое онъ стоялъ, мысль, которую онъ защищалъ и проводилъ: тутъ онъ на стѣну готовъ лѣзть, и

бѣда тому, кто ему попадался подъ руку! Тутъ и смѣлость являлась въ немъ — отвага отчаянная, на зло его физикѣ и нервамъ; тутъ онъ всѣмъ готовъ былъ жертвовать! При такой сильной раздражительности, — такая слабая, личная обидчивость... Нѣтъ! подобнаго ему человѣка я не встрѣчалъ ни прежде ни послѣ!...“

Лѣтомъ 1847 г. Бѣлинскій попалъ въ первый и послѣдній разъ за границу. Тургеневъ встрѣтилъ его въ Штеттинѣ и прожилъ съ нимъ нѣсколько недѣль въ Зальцбрунненѣ, маленькомъ силезскомъ городкѣ, славившемся своими водами, будто бы излѣчивающими отъ чахотки. Потомъ друзья въ послѣдній разъ увидѣлись въ Парижѣ, когда Бѣлинскому оставалось жить всего нѣсколько мѣсяцевъ, когда онъ уже усталъ и охладѣлъ ко всему.

Для Тургенева образъ Бѣлинскаго навсегда остался въ сердцѣ путеводной звѣздой. „И вотъ уже двадцать лѣтъ слишкомъ прошло со смерти Бѣлинскаго, — читаемъ мы въ литературныхъ воспоминаніяхъ, написанныхъ въ 1869 г., — и я вызвалъ его дорогую тѣнь. Не знаю, насколько мнѣ удалось передать читателямъ главные черты его образа, но я уже доволенъ тѣмъ, что онъ побылъ со мною въ моемъ воспоминаніи... „Человѣкъ онъ былъ!...“

Соловьевъ.

Пребываніе Тургенева за границей съ 1847 г.

Въ 1845 году въ Петербургѣ Иванъ Сергѣевичъ познакомился съ знаменитой въ то время пѣвицей, француженкой Віардо-Гарсіа. До самой смерти онъ оставался въ самыхъ близкихъ дружескихъ отношеніяхъ съ нею и ея семействомъ. Онъ прикрѣпился, по его собственному выраженію, къ этимъ чужимъ для него людямъ, остался холостякомъ и прожилъ съ ними и для нихъ большую половину своей жизни.

Въ 1847 году Тургеневъ поѣхалъ за границу и оставался тамъ до 1850 года, до смерти матери. Въ послѣдніе годы ея жизни мать и сынъ были въ тяжелой ссорѣ. Варвара Петровна недовольна была сыномъ за то, что онъ не служитъ, за его отношенія къ Віардо и за то, что онъ не хочетъ жениться на какой-нибудь богатой невѣстѣ по вы-

печали при горестномъ извѣстіи, называлъ Гоголя великимъ писателемъ, славою Россіи... Но горькая правда сочиненій Гоголя не всѣмъ была по нраву. Въ Петербургѣ, гдѣ жилъ тогда Тургеневъ, не позволили напечатать этой статейки. Тогда Тургеневъ отослалъ ее въ Москву, и тамъ статейку напечатали въ газетѣ „Московскія Вѣдомости“, съ надлежащаго, конечно, разрѣшенія мѣстной цензуры. Люди, враждебно относившіеся къ Гоголю и къ Тургеневу за его „Записки охотника“, представили дѣло такъ, будто Тургеневъ совершилъ цѣлое преступленіе. Нежданно-негаданно Тургенева посадили на мѣсяць на „сѣзжую“. Этотъ срокъ ему пришлось бы просидѣть среди пьяныхъ, приводимыхъ въ чижовку для протрезвленія. Къ счастью, дочери частнаго пристава какъ-то узнали, что на ихъ сѣзжей сидитъ никто иной, какъ сочинитель „Записокъ охотника“. Барышни обрадовались случаю познакомиться съ интереснымъ писателемъ и уговорили отца помѣстить Тургенева на ихъ квартирѣ. Здѣсь Тургеневъ и прожилъ двѣ-три недѣли. На досугѣ онъ написалъ рассказъ „Муму“.

Съ весны 1852 года Тургеневъ безвыѣздно жилъ въ Спасскомъ до конца 1854 года. „Пребываніе въ деревнѣ принесло мнѣ несомнѣнную пользу, — вспоминалъ онъ впоследствии; — оно сблизило меня съ такими сторонами русскаго быта, которыя, при обыкновенномъ ходѣ вещей, вѣроятно, ускользнули бы отъ моего вниманія“.

Въ 1855 году Тургеневъ опять уѣхалъ за границу, къ друзьямъ, съ которыми не видѣлся такъ долго. Съ этого времени онъ жилъ за границей больше, чѣмъ въ Россіи. На родину онъ возвращался обыкновенно лѣтомъ и проводилъ нѣкоторое время въ Спасскомъ. Но жизнь за границей сама по себѣ не отрывала его мыслей отъ родины: что онъ ни думалъ, что ни писалъ, гдѣ бы ни былъ, Россія всегда у него была въ мысляхъ на первомъ мѣстѣ. Въ концѣ 1856 г. онъ писалъ, напримѣръ, своимъ друзьямъ изъ Парижа: „Пребываніе во Франціи произвело на меня обычное свое дѣйствіе: все, что я вижу и слышу, какъ-то тѣснѣе и ближе прижимаетъ меня къ Россіи, все родное становится мнѣ вдвойнѣ дорого“.

Онъ внимательно слѣдилъ за всѣмъ ходомъ законодательныхъ работъ, которыми съ 1857 года подготовлялось осво-

боженіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Такіе люди, какъ самъ Тургеневъ и его немногіе друзья, тѣ изъ образованныхъ людей, кто понималъ и цѣнилъ хоть „Записки охотника“, — съ восторгомъ ждали конца вѣковой несправедливости. Зато, большинству помѣщиковъ очень не нравилось предстоящее уменьшеніе ихъ правъ. Иванъ Сергѣевичъ думалъ, что дѣлу освобожденія, какъ и всякому общественному дѣлу, могла бы помочь полная и широкая гласность. Зимѣ 1857 — 1858 годовъ онъ жилъ съ нѣсколькими друзьями въ Римѣ. Они много толковали о предстоящемъ преобразованіи, и Тургеневъ придумалъ съ ними издавать газету. Сторонники освобожденія крестьянъ доказывали бы въ ней всѣмъ и каждому, какъ необходимо уничтожить крѣпостное право, и такимъ образомъ помогли бы правительству въ его стремленіи къ общему благу.

„Не станемъ себя обманывать, — писалъ Иванъ Сергѣевичъ: — невѣжество — вотъ наша бѣда и наше горе, малая образованность нашего дворянскаго сословія будетъ едва ли не главнымъ препятствіемъ къ приведенію въ исполненіе предполагаемыхъ мѣръ“.

Тургеневъ справедливо жаловался на малую образованность тогдашняго русскаго дворянства. Для темнаго крестьянскаго люда онъ, конечно, считалъ образованіе столь же необходимымъ. Въ 1858 году Иванъ Сергѣевичъ составилъ уставъ „общества для распространенія грамотности и первоначальнаго образованія“. Членами этого общества могли бы быть, по мысли Тургенева, люди всѣхъ сословій безъ исключенія, отъ крѣпостного до богатаго и знатнаго человѣка, и даже цѣлыя крестьянскія общины, если бы онѣ пожелали того. „Обучая грамотѣ тѣхъ самыхъ людей, которыхъ правительство освобождаетъ, мы продолжаемъ его дѣло, — говорилъ Тургеневъ: — мы также освобождаемъ ихъ отъ другого рабства — отъ рабства невѣжества“. Общество должно бы было заводить школы повсемѣстно въ Россіи, издавать хорошо составленныя книги для людей, обучающихся грамотѣ или только что обучившихся ей, и т. д. Однѣ книги служили бы для первоначальнаго обученія грамотѣ, другія — знакомили бы читателя изъ простаго народа съ законами, съ правами и обязанностями сословій, съ науками, съ усовершенствованными земледѣліемъ, скотоводствомъ и т. д. Предполагалось

печатать книжки по исторіи, описанія жизни замѣчательныхъ людей, путешествія въ чужія страны. Всякія шутки и зубоскальство Тургеневъ считалъ лишними. „Съ народомъ должно обращаться искренно, честно и съ полнымъ уваженіемъ“, твердилъ онъ.

Ни газета ни общество для распространенія грамотности, однако, не осуществились въ то время. Только позже появились подобныя общества, стали устраиваться чтенія для народа и т. п.

Въ началѣ 1861 года Тургеневъ жилъ въ Парижѣ. 5-го марта въ Петербургѣ былъ объявленъ Высочайшій манифестъ 19-го февраля объ освобожденіи, и одинъ изъ близкихъ друзей Тургенева далъ ему знать объ этомъ событіи по телеграфу. Иванъ Сергѣевичъ поспѣшилъ подѣлиться этимъ извѣстіемъ со всѣми своими парижскими знакомыми изъ русскихъ. На другой же день, 6-го марта, онъ радостно писалъ другу: „Спасибо за депешу, отъ которой у насъ всѣхъ головы кругомъ пошли... Ради Бога, пишите мнѣ, что и какъ у васъ это происходитъ... Я знаю, вы *молодой* теперь ¹⁾), и вамъ не до того; но время вѣдь необыкновенное. Передавайте всѣ ваши впечатлѣнія — все это теперь вдвойнѣ дорого... Обнимаю васъ отъ души и поздравляю и съ вашею личной и съ нашей общей радостью. Не могу ни о чемъ другомъ писать. Я весь превратился въ ожиданіе“. — Въ ближайшее воскресенье русскіе парижане отслужили благодарственный молебенъ въ церкви русскаго посольства.

„Священникъ Васильевъ, — рассказывалъ Иванъ Сергѣевичъ объ этомъ молебнѣ въ письмѣ другу, — произнесъ намъ очень умную и трогательную рѣчь, отъ которой мы всплакнули... Предо мною стоялъ Н. И. Тургеневъ и тоже утиралъ слезы; для него это было въ родѣ: „Нынѣ отпускаеши раба Твоего“. „Дожили мы до этого великаго дня“ — было на умѣ и въ устахъ cadaго“.

Иванъ Сергѣевичъ, такъ радостно встрѣтившій великое преобразование 19-го февраля, былъ искренно привязанъ ко многимъ изъ дѣятелей этого преобразованія. Особенно онъ любилъ и уважалъ Николая Алексѣевича Милютина, ко-

¹⁾ Пріятель Тургенева незадолго до того женился.

торый горячо принималъ къ сердцу пужды крестьянъ и защищалъ ихъ въ тѣхъ редакціонныхъ комиссіяхъ, что составляли новое крестьянское положеніе. „Пока будутъ существовать на Руси свободные люди, — говорилъ Тургеневъ, — въ числѣ немногихъ именъ, составляющихъ гордость Россіи, имя Николая Милютина будетъ произноситься съ особеннымъ чувствомъ благодарности и почета“. 18 февраля 1869 года Тургеневъ писалъ ему: „Именно сегодняшний день — въ годовщину конца стараго и начала новаго порядка вещей — я много думалъ о васъ“. Такъ, писатель и государственный дѣятель были близки другъ другу духомъ, любовью къ народу и стремленіемъ работать для него.

Витринскій.

Тургеневъ на юбилей Пушкина.

Приближались пушкинскіе дни. Открытіе памятника Пушкину являлось для Тургенева *личнымъ* праздникомъ въ полномъ смыслѣ слова. Сердечныя связи соединяли великаго художника съ памятью обожаемаго учителя, и среди всѣхъ современныхъ писателей, среди всѣхъ искреннѣйшихъ цѣнителей пушкинскаго таланта, Тургеневу принадлежало первое мѣсто у памятника, какъ преданнѣйшему и достойнѣйшему ученику поэта.

Тургенева особенно глубоко занималъ одинъ вопросъ. Онъ хотѣлъ, „чтобы вся литература единодушно сгруппировалась на этомъ пушкинскомъ праздникѣ“.

Пушкинскіе дни лично для Ивана Сергѣевича должны были оставить воспоминаніе о непрерывныхъ оваціяхъ. Всюду, гдѣ показывался любимый писатель, публика встрѣчала его восторженными привѣтствіями. Всѣ другіе участники празднествъ, за исключеніемъ Достоевскаго, и то лишь на одинъ моментъ, заняли второй планъ. Не только рѣчь самого Тургенева сопровождалась единодушными рукоплесканіями, даже въ рѣчахъ другихъ публика искала предлога выразить Тургеневу свое благодарное чувство. Стоило Достоевскому, въ своей рѣчи, только намекнуть на героиню Дворянскаго гнѣзда, — и зала огласилась привѣтствіями. Ораторамъ необходимо было прерывать рѣчи, когда въ залу входилъ Тургеневъ: публика

ждала его прихода, встрѣчала и провожала аплодисментами, несмотря ни на чье краснорѣчіе. Клики и киданіе шапокъ происходили даже на улицахъ, неизмѣнно скромному писателю приходилось спасаться отъ овацій, уходить изъ залъ собраний другими выходами.

Никогда ничего подобнаго не видѣла русская публика. Тургеневъ вызывалъ шумные восторги даже у такихъ соотечественниковъ, которые чувствовали вообще крайне незначительный интересъ къ литературнымъ событіямъ, никогда въ жизни не посѣщали собраний въ родѣ засѣданій Общества любителей словесности. Такіе слушатели, затаивъ дыханіе, слушали рѣчь Тургенева о Пушкинѣ... Очевидцы единодушно приходятъ къ убѣжденію, что только искренно чтимый и дѣйствительно вліятельный общественный дѣятель могъ удостоиться такого приѣма.

Замѣчательно, Тургеневъ невольно явился на праздникѣ представителемъ русской дѣйствующей литературы. Первостепенные иностранные писатели на его имя присылали свои поздравленія русскому обществу съ литературнымъ праздникомъ. Такъ были получены письма Ауэрбаха, Теннисона, Виктора Гюго...

Высшимъ моментомъ тургеневскаго триумфа была, конечно, его рѣчь, произнесенная въ засѣданіи Общества любителей словесности седьмого іюня.

Тургеневъ говорилъ: „Самая сущность, всѣ свойства его поэзіи совпадаютъ со свойствами, сущностью нашего народа. Не говоря уже о мужественной прелести, силѣ и ясности его языка — эта прямодушная правда, отсутствіе лжи и фразы, простота, эта откровенность и честность ощущеній — всѣ эти хорошія черты хорошихъ русскихъ людей поражаютъ въ твореніяхъ Пушкина не однихъ насъ, его соотечественниковъ, но и тѣхъ изъ иностранцевъ, которымъ онъ сталъ доступенъ“.

Въ заключеніе авторъ рѣчи высказывалъ скромныя, но на самомъ дѣлѣ великія надежды, на завоеваніе цѣлаго міра русскимъ „всечеловѣкомъ“, а на распространеніе „освободительныхъ“ и „возвышающихъ“ идеаловъ пушкинской поэзіи среди русскаго народа, на то будущее, когда сыновья крестьянъ сознательно станутъ повторять: „это памятникъ учителю“.

Ивановъ.

Послѣдніе годы жизни Тургенева.

Изъ Москвы Тургеневъ уѣхалъ за границу, лѣто и осень провелъ въ Буживалѣ, зиму въ Парижѣ, а въ іюнѣ былъ въ Спасскомъ. Послѣднее лѣто Иванъ Сергѣевичъ проводилъ въ своей любимой деревнѣ: больше ему не суждено было вернуться въ Россію.

Сначала время шло ровно и весело. Тургеневъ писалъ „Пѣснь торжествующей любви“, обдумывалъ планы новыхъ произведеній, гулялъ съ дѣтьми, рассказывалъ имъ сказки, по временамъ въ разговорахъ и общихъ разсужденіяхъ всплывали давнишнія безотрадные мысли, но родина попрежнему вѣяла свѣжестью и энергіей на истомленную душу писателя. Только извѣстія о приключеніи съ г-жой Віардо, укушенной какой-то злокачественной мухой, и о холерѣ въ Брянскѣ разстроили было Тургенева. Но безпокойства прошли, и до конца лѣта жизнь текла спокойно. Съ августа погода стала мѣняться къ худшему, приходилось думать о путешествіи въ Парижъ, и Тургеневъ, будто предчувствуя недалекую смерть, на этотъ разъ особенно тяжело разставался съ родиной, все чаще принимался мечтать объ окончательномъ переселеніи въ Россію, не сообщалъ при этомъ никакихъ подробностей о своей жизни въ семьѣ Віардо, но не щадилъ французовъ вообще въ своихъ отзывкахъ. Въ концѣ августа Тургеневъ уѣхалъ за границу, обѣщая вернуться въ Россію даже раньше лѣта.

Осенью, въ октябрѣ, Тургеневъ посѣтилъ Англію и участвовалъ въ обѣдѣ, устроенномъ въ честь его англійскими писателями и художниками, въ ноябрѣ окончилъ рассказъ „Отчаянный“, собирался приняться за „Клару Миличъ“, а нѣмецкія и англійскія газеты извѣщали даже о большомъ романѣ. И романъ былъ задуманъ и, можетъ-быть, уже готовъ въ умѣ автора, по крайней мѣрѣ въ одномъ письмѣ Тургенева встрѣчается крайне рѣдкое у него радостное чувство на счетъ будущаго:

„Неужели изъ стараго, засохшаго дерева пойдутъ новые листья и даже вѣтки? Посмотримъ“.

Съ января слѣдующаго 1882 года начались испытанія. Въ первыхъ числахъ апрѣля Тургеневъ извѣщаетъ о бо-
лѣзни — грудной жабѣ, и съ этого времени подобныя извѣ-

стія уже не прекращаются: жизнь писателя превращается въ непрерывную страшную агонію, его письма—настоящая исторія мученичества и отнюдь не по его жалобамъ, а по простымъ медицинскимъ фактамъ. Тургеневъ менѣе всего былъ склоненъ занимать другихъ своей особой. Въ самые тяжелые періоды болѣзни онъ проситъ друзей не говорить съ нимъ объ его здоровьи и въ его письмахъ „обходить сей предметъ молчаніемъ“. Его общіе интересы нисколько не падаютъ. Онъ, по обыкновенію, слѣдитъ за литературой, привѣтствуетъ новые таланты, глубоко волнуется по поводу общественныхъ вопросовъ своей родины, принимаетъ самое горячее участіе въ судьбѣ даже невѣдомыхъ ему людей. Въ этомъ отношеніи любопытенъ фактъ, взволновавшій Тургенева лѣтомъ, въ іюлѣ.

Здоровье его было настолько безнадежно, что онъ заявлялъ друзьямъ о прекращеніи своей *личной* жизни, его существованіе приняло „желтый цвѣтъ“, писать онъ не въ силахъ, послѣ пятой строчки начинаетъ чувствовать боль и колики въ плечѣ, безъ морфія глазъ закрыть не можетъ... И вотъ въ это время его извѣщаютъ о желѣзнодорожной катастрофѣ недалеко отъ Спасскаго. Тургеневъ сосредоточиваетъ все свое вниманіе на несчастіи. „Ужасныя слова“, пишетъ онъ, „стоны слышались подъ землей до 10 часовъ утра—такъ и засѣли гвоздемъ въ голову. Неужели же не было сейчасъ приступлено къ раскопкѣ?“ Въ слѣдующемъ письмѣ: „Какъ меня измучила Батыевская катастрофа—вы представить не можете. Мнѣ постоянно мерещатся эти несчастные, задохнувшіеся въ тинѣ, и хотя отрытіе ихъ теперь уже, конечно, ничему не поможетъ, но я весь горю негодованіемъ при мысли, что въ теченіе нѣсколькихъ дней ничего не было сдѣлано“. Онъ упрашиваетъ друзей, живущихъ въ его деревнѣ, сдѣлать для родственниковъ погибшихъ путешественниковъ „все, что бъ онъ сдѣлалъ, если бъ находился на мѣстѣ“.

Съ особой силой Тургеневъ говорилъ о Спасскомъ. Оно стало для него теперь еще дороже. Онъ посылаетъ поклонны старымъ слугамъ, любимымъ мѣстамъ, памятнымъ съ дѣтства, дому, саду, молодому дубу. Слезы звучатъ въ его словахъ, когда онъ отчаивается увидѣть родину, и бывшее доброе чувство къ крестьянамъ вновь вспыхиваетъ въ его письмѣ къ нимъ.

У выпшихъ натуръ физическія страданія постоянно усиливаются нравственными муками и волненіями. Тургеневъ — одна изъ такихъ натуръ, до конца не могъ успокоиться и отдаться исключительно заботамъ о своемъ положеніи. Даже совершенно естественный эгоизмъ безнадежно больного, умирающаго человѣка не находилъ мѣста въ нравственномъ мірѣ художника. Онъ привѣтствуетъ чужую живучесть и силу, напутствуетъ Григоровича „съ Богомъ! въ дальнюю дорогу“, когда тотъ задумываетъ новый романъ, жалѣетъ Гончарова именно потому, что самъ страдаетъ и, слѣдовательно, „ближе принимаетъ къ сердцу“ чужія страданія, съ смертнаго одра посылаетъ безпримѣрное въ литературной исторіи письмо къ гр. Толстому... Такъ могъ страдать и умирать только истинный подвижникъ мысли, обладавшій великой благородной душой и истинно-человѣческимъ сердцемъ... Для личной жизни въ это время Тургеневъ находитъ только одно вполне подходящее выраженіе. Ровно за годъ до смерти онъ сравниваетъ себя съ устрицей, приросшей къ скалѣ, потомъ онъ постоянно возвращается къ этому сравненію. Въ срединѣ октября 1882 года онъ пишетъ: „Оказывается, что можно отлично существовать, не будучи въ состояніи ни стоять, ни ходить, ни ѣздить. Живутъ же такъ устрицы! А у меня есть много развлеченій, недоступныхъ устрицамъ“. Въ концѣ того же мѣсяца: „Всѣмъ молодецъ — только ни стоять ни ходить! И представь, я съ этимъ примирился. Сажу или лежу цѣлыхъ 24 часа сряду и — баста! Моллюскъ, такъ моллюскъ. Живутъ же они и даже многіе годы, и никакого желанія и перемѣщенія не ощущаютъ“.

Въ такомъ положеніи не оцѣнено общество близкихъ людей. Было ли оно у Тургенева? Нѣкоторымъ друзьямъ казалось, — нѣтъ, и они даже предлагали пріѣхать къ нему. До нихъ доходили слухи о заброшенномъ, одинокомъ положеніи Ивана Сергѣевича, о неудобствахъ комнаты, гдѣ ему приходилось лежать, о постоянномъ грохотѣ музыки, о равнодушій окружающихъ къ его страданіямъ. Эти рассказы шли отъ очевидцевъ, и Тургеневу стоило не малыхъ усилій опровергать ихъ. Насчетъ этого онъ неутомимъ. Онъ не въ силахъ допустить, чтобы люди, имъ облагодѣтельствованные, казались другимъ — недостойными благодѣяній.

Это обычная психологія всѣхъ добрыхъ и сердечныхъ

людей. Безупречность ихъ избранниковъ является для нихъ вопросомъ личнаго самолюбія. И Тургеневъ настойчиво отклоняетъ всякое вмѣшательство въ его парижскую жизнь, описываетъ свое помѣщеніе, перечисляетъ комнаты; по поводу своей низкой и тѣсной спальни сообщаетъ, что парижскія спальни вообще таковы, а насчетъ музыки совершенно успокаиваетъ друзей. Вообще, по его словамъ, онъ „какъ сыръ въ маслѣ“, а что касается главнаго попрека объ одиночествѣ, то онъ остается одинъ только тогда, когда самъ этого желаетъ.

Намъ трудно разобраться въ утвержденіяхъ и отричаніяхъ, какъ бы глубоко ни интересовалъ насъ предметъ. Будущее, несомнѣнно, броситъ истинный свѣтъ и на эту полосу тургеневской жизни. Мы можемъ съ извѣстной достовѣрностью рѣшить послѣдній только что указанный вопросъ.

Альфонсъ Додэ, искренне вѣровавшій въ счастье Тургенева въ нѣдрахъ французской семьи, посѣщалъ его во время болѣзни и рисуетъ неизмѣнно одну и ту же картину.

Когда бы онъ ни приходилъ къ своему русскому другу, внизу въ роскошныхъ залахъ неумолкаемо звучала музыка и пѣніе, а въ третьемъ этажѣ, въ крохотномъ полутемномъ кабинетѣ лежала на софѣ молчаливая, согбенная фигура больного старика

По его письмамъ можно подробно прослѣдить его жизнь осенью и зимой 1884 года. Лѣто семья Віардо жила съ нимъ въ Буживалѣ. Въ сентябрѣ предсталъ вопросъ о перенесеніи, и Тургеневъ соглашался остаться на дачѣ одинъ, забывая ради этого свой страхъ одиночества. Теперь, когда всѣ Віардо должны уѣхать въ Парижъ, ему „одиночество по вкусу“, „и что бы я сталъ дѣлать въ Парижѣ, при невозможности движенія? Здѣсь, по крайней мѣрѣ не тянетъ никуда“. Сначала Віардо испугались-было тифа, свирѣпствовавшего въ Парижѣ, но скоро все-таки уѣхали, и на жалобы другихъ Тургеневъ пишетъ: „Насчетъ одиночества я съ вами не согласенъ. Вотъ я теперь совершенно одинокъ „какъ перстъ“—и ничего!“ Это заявленіе, очевидно, исходило изъ такого же чувства, какъ и довольство жизнью устрицъ и моллюсковъ.

Но, мы видѣли, больной говорилъ о радостяхъ, недоступныхъ устрицамъ. Онъ разумѣлъ печальныя радости, ихъ

только съ горечью въ сердцѣ можно было называть развлеченіями. О нихъ поэтъ оставилъ два прелестнѣйшихъ стихотвореній. Темы стихотвореній тождественны, но предметы ихъ совершенно различны. И въ томъ и въ другомъ рѣчь идетъ о грѣзахъ. Одно написано зимой, въ февралѣ 1878 г., другое — весной, въ маѣ того же года. Одно — „Старуха“, исторія о томъ, какъ поэтъ встрѣтилъ въ полѣ маленькую сгорбленную старушку, и какъ она пошла по слѣдамъ его и какъ онъ не могъ уйти отъ нея, какъ отъ своей судьбы... Другое стихотвореніе называется „Посѣщеніе“. Оно рассказываетъ о томъ, что случилось „раннимъ утромъ перваго мая“. А случилось то, что происходило съ поэтомъ всю жизнь въ минуты вдохновеннаго творчества. Въ раскрытое окно влетѣла крылатая маленькая женщина, одѣтая въ тѣсное, длинное, книзу волнистое платье, съ вѣнкомъ изъ ландышей на разбросанныхъ кудряхъ, съ павлиньими перьями надъ красивымъ выпуклымъ лобикомъ, съ цвѣтнымъ „царскимъ жезломъ“ въ рукахъ, со смѣхомъ въ огромныхъ черныхъ, свѣтлыхъ глазахъ. Поэтъ узналъ гостью: это была богиня фантазіи!...

Міръ видѣній, живой невольной игры воображенія, былъ другимъ царствомъ поэтическаго духа Тургенева, когда дѣйствительность налегала на него невыносимымъ бременемъ физическихъ и нравственныхъ испытаній. И Тургеневъ покорно отдавался во власть богинѣ фантазіи, до самаго конца прилетавшей къ нему и приносившей вереницу образовъ и впечатлѣній, никому еще невѣдомыхъ. Очевидецъ, посѣщавшій Тургенева незадолго до смерти, слышалъ отъ него множество чудныхъ фантастическихъ сказокъ, навѣянныхъ грѣзами во время болѣзни, и эти сказки напоминали слушателю лучшія „стихотворенія въ прозѣ“. Муза, слѣдовательно, оставалась неизмѣнно вѣрной подругой своего любимца до самаго конца. Это была муза страданій, безотчетныхъ видѣній, умирающему могли чаще грезиться образы, похожіе скорѣе на *старуху* чѣмъ на *богиню фантазіи*, но и надъ самыми мрачными видѣніями носилась эта богиня въ томъ же вѣнкѣ изъ ландышей и съ тѣмъ же жезломъ изъ степного цвѣтка и обвѣвала все той же поэтической красотой и оригинальной прелестью созданія смертельно страждущей, но высшей природы...

Мы не станемъ подробно пересказывать заключительный актъ драмы: онъ для всѣхъ смертныхъ по существу одинаковъ. Мы только напомнимъ одну изъ сценъ этого акта, рассказанную очевидцемъ: такихъ сценъ бываетъ немного не только наканунѣ конца, но и въ самый расцвѣтъ счастливейшихъ человѣческихъ существованій.

За нѣсколько дней до смерти Ивана Сергѣевича навѣстили въ Буживалѣ нѣкоторые изъ его соотечественниковъ, проживавшихъ въ то время въ Парижѣ. Умирающій принималъ гостей съ обычной привѣтливостью, сердечно бесѣдовалъ съ ними и, наконецъ, обратился къ нимъ съ такими словами: „Въ послѣдній разъ прощайте!...“

Это были страшныя слова. А между тѣмъ блѣдное, изможденное многолѣтними недугами лицо писателя слишкомъ краснорѣчиво свидѣтельствовало, что прощаніе происходитъ дѣйствительно въ послѣдній разъ... Одинъ изъ присутствовавшихъ наклонился — поцѣловать руку любимаго наставника... Иванъ Сергѣевичъ быстро отдернулъ руку и произнесъ: „Живите и любите людей, какъ я ихъ всегда любилъ“. Благороднѣйшій завѣтъ, какой только писатель можетъ оставить своимъ соотечественникамъ. Двадцать второго августа, въ понедѣльникъ, въ два часа пополудни, Тургенева не стало. Г-жа Віардо такъ извѣщала о событіи Пича:

„За два дня до своей смерти онъ совершенно утратилъ всякое сознаніе. Онъ уже не страдалъ болѣе: жизнь его медленно угасала, и послѣ двухъ всхлипываній онъ скончался... Мы всѣ были при немъ. Онъ опять сталъ такъ же красивъ, какъ былъ нѣкогда, въ царственномъ покоѣ смерти... Въ первый день послѣ его смерти замѣчена была еще глубокая морщина между бровями, образовавшаяся подъ вліяніемъ судорожной боли. Это придавало ему строгій и энергичный видъ. На второй день на его лицѣ появилось прежнее доброе, пріятное выраженіе: были моменты, когда можно было ожидать, что онъ улыбнется. О! Боже, какое ужасное горе!...“

Мы не знаемъ, насколько глубоко и искренно было чувство г-жи Віардо, но то же самое восклицаніе въ самыхъ разнообразныхъ рѣчахъ, статьяхъ, стихотвореніяхъ пронеслось по всему просвѣщенному міру и съ особенной болью отозвалось въ осиротѣвшемъ отечествѣ гениальнаго художника. Парижане были изумлены громадной толпой русскихъ,

... в Россію. Знаме-
нательныя и науки
искусствъ рѣчами.
... истиннѣ обла-
сти справедливости.
... Турген-
евъ и др. и др.
... и др.

... и др.
... и др.
... и др.
... и др.
... и др.
... и др.
... и др.
... и др.
... и др.
... и др.



Среда и природа въ „Запискахъ охотника“.

Середина 40-хъ годовъ нашего столѣтія была важнымъ моментомъ въ развитіи русской литературы: выступилъ рядъ новыхъ писателей съ блестящими дарованіями, явились новыя направленія творчества. Одно изъ этихъ направленій обратилось къ народу, занялось изображеніемъ деревенскаго быта. Честь и слава перваго начала въ этомъ прекрасномъ дѣлѣ принадлежитъ уважаемому современному писателю Д. В. Григоровичу. Въ 1846 году появилась въ свѣтъ „Деревня“. Это не художественное созданіе въ строгомъ смыслѣ слова, но оно важно тѣмъ, что признало крестьянскую жизнь достойной сочувственнаго вниманія.

Послѣ появленія „Деревни“ Григоровича въ 1847 году русское общество прочитало первый Тургеневскій очеркъ изъ народнаго быта — „Хорь и Калинычъ“.

„Записки охотника“ замѣчательны во многихъ отношеніяхъ, и прежде всего тѣмъ, что русское общество узнало по нимъ душу русскаго крестьянина, узнало, какъ много прекраснаго, свѣтлаго и чистаго въ простонародной жизни. Тургеневъ нарисовалъ намъ цѣлый рядъ личностей, вызывающихъ наше полное сочувствіе, и нарисовалъ рукою мастера, вполне живо и художественно.

Какъ разнообразна жизнь, такъ разнообразны и личности тургеневскаго деревенскаго міра. Такъ, „Хорь и Калинычъ“ прямо противоположны другъ другу, хотя ихъ и соединяетъ сильное взаимное расположеніе. Первый, по опредѣленію поэта, былъ человѣкъ положительный, практическій, административная голова, раціоналистъ; Калинычъ, напротивъ, принадлежалъ къ числу идеалистовъ, романтиковъ, людей восторженныхъ и мечтательныхъ. Хорь понималъ дѣйствительность, т.-е. обстроился, накопилъ деньжонку, ладилъ съ бариномъ и съ прочими властями; Калинычъ ходилъ въ лаптяхъ и перебивался кое-какъ... Хорь насквозь видѣлъ г-на Полутыкина (его помѣщика); Калинычъ благоговѣлъ передъ своимъ господиномъ“.

Такъ говорить поэтъ. Продолжимъ его сравненіе. Хорь — человѣкъ ума, здраваго смысла, онъ порой даже скептикъ,

иронически смотрящій на жизнь. Калинычъ — человѣкъ сердца, чувства, вѣры. Хорь разсуждаетъ толково и здраво и прекрасно устроилъ и свое хозяйство (у него въ домѣ довольство и порядокъ, чистота), и свою семью. Калинычъ — мечтатель и почти безпріютный странникъ; но во всемъ и всюду проявляется нѣжность его сердца, — такъ, авторъ былъ свидѣтелемъ, какъ „Калинычъ вошелъ въ избу съ пучкомъ полевой земляники въ рукахъ, которую онъ нарвалъ для своего друга, Хоря“. Противоположность этихъ людей особенно выразилась въ ихъ бесѣдѣ съ поэтомъ о заграничной жизни; чужія земли заняли обоихъ, въ обоихъ возбуждали любопытство; „но Калиныча (говоритъ авторъ) болѣе трогали описанія природы, горъ, водопадовъ, необыкновенныхъ зданій, большихъ городовъ. Хоря занимали вопросы административные и государственные. Онъ перебиралъ все по порядку: „Что, у нихъ тамъ это есть такъ же, какъ у насъ, аль иначе?... Ну, говори, батюшка, какъ же?...“ „А! ахъ, Господи, твоя воля!“ восклицалъ Калинычъ во время... разсказа. Хорь молчалъ, хмурилъ брови и лишь изрѣдка замѣчалъ, что „дескать это у насъ не шло бы, а вотъ это хорошо, это — порядокъ“.

Бесѣда съ Хоремъ привела поэта (по его словамъ) къ убѣжденію, „что Петръ Великій былъ по преимуществу русскій человѣкъ, русскій именно въ своихъ преобразованіяхъ. Русскій человѣкъ такъ увѣренъ въ своей силѣ и крѣпости, что не прочь и поломать себя: онъ мало занимается своимъ прошедшимъ и смѣло глядитъ впередъ. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идетъ — ему все равно. Его здравый смыслъ охотно подтрунитъ надъ сухопарнымъ нѣмецкимъ разсудкомъ; но нѣмцы, по словамъ Хоря, любопытный народецъ, и поучиться у нихъ онъ готовъ“.

Замѣчательно, что Хоря и Калиныча сблизилъ не одна противоположность характеровъ; мы видимъ много общаго въ воззрѣніяхъ и симпатіяхъ этихъ, повидимому, совершенно несходныхъ людей: поэтическое свидѣтельство, что въ русскомъ простомъ народѣ нѣтъ крайняго раздвоенія жизни, сохраняется ея живое единство даже въ рѣзкихъ различіяхъ типовъ. Калинычъ, совершенно согласно съ его характеромъ, „заговаривалъ кровь, испугъ, бѣшенство, выгонялъ

червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая“. Хорь, при всемъ своемъ скептицизмѣ, признавалъ эти способности своего друга. „Хорь при мнѣ попросилъ его (т.-е. Калиныча, рассказывающаго поэту) ввести въ конюшню новокупленную лошадь; Калинычъ съ добросовѣстною важною исполнилъ просьбу стараго скептика“.

Еще одно сближало ихъ — общая любовь къ музыкѣ: „Калинычъ пѣлъ довольно пріятно и поигрывалъ на баладаикѣ. Хорь слушалъ, слушалъ его, загибалъ вдругъ голову на бокъ и начиналъ подтягивать жалобнымъ голосомъ. Особенно любилъ онъ пѣсню: „Доля ты моя, доля!“ Одея не упускалъ случая подтрунить надъ отцомъ. „Чего, старикъ, разжалобился?“ Но Хорь подпиралъ щеку рукой и продолжалъ жаловаться на свою долю“.

Хоря напоминаетъ нѣсколько герой другого рассказа — одноворецъ Овсянниковъ. Это тоже человѣкъ здраваго смысла, ума. Поэтъ говоритъ про него, что онъ „своею важною и неподвижною, смышленною и лѣнною, своимъ прямотушнемъ и упорствомъ напоминалъ... русскихъ бояръ допетровскихъ временъ... Ферязь бы къ нему пристала. Это былъ одинъ изъ послѣднихъ людей стараго вѣка“.

Но, несмотря на это, несмотря и на свою старость, Овсянниковъ не стоитъ за старое время; онъ признаетъ, что прежде „спокойнѣе жили; довольства больше было“, однако прибавляетъ: „а все-таки теперь лучше, а вашимъ дѣткамъ еще лучше будетъ, Богъ дастъ“. „Душа у него была... свободная“, говоритъ авторъ. Замѣчательно, что онъ былъ друженъ съ иностранцемъ Леженемъ (оставшимся въ Россіи солдатомъ наполеоновской арміи). Спокойствіе, самообладаніе (не покинувшее его даже тогда, когда онъ свалился съ понесшимъ его конемъ въ оврагъ), доброта — составляютъ его отличительныя свойства: онъ почитаетъ грѣхомъ продавать хлѣбъ, и въ голодный годъ роздалъ его даромъ нуждающимся; онъ покровительствуетъ и помогаетъ своему племяннику, который занимается писаніемъ просьбъ для бѣдныхъ людей и, по мѣрѣ своихъ знаній, ходатайствуетъ за нихъ въ судахъ и защищаетъ ихъ отъ богатыхъ и властныхъ, хотя практическій смыслъ и заставлялъ его предостерегать этого племянника: „не одобровать ей, твоей головѣ... человѣкъ ты сумасшедшій вовсе“.

Нѣсколько подходитъ къ типу Калиныча, хотя гораздо замѣчательнѣе его, — „Касьянъ съ Красивой Мечи“, герой очерка того же имени. Касьянъ — юродивецъ, человѣкъ слабый и хилый отъ рожденія, „неразумный съ малства“ (какъ онъ самъ опредѣлилъ себя), но съ поэтической душой, съ нѣжнымъ любящимъ сердцемъ. Красота природы, древнихъ городовъ съ ихъ Божьими храмами, поэтическія повѣрья старыхъ временъ, надежда встрѣтить правду между людьми — сдѣлали Касьяна непосѣдомъ, любителемъ скитаній.

„Да и что! много ли дома-то высидишь? (разсуждаетъ онъ). А вотъ какъ пойдешь, какъ пойдешь... и полегчить, право. И солнышко на тебя свѣтитъ, и Богу-то ты виднѣй, и поется-то ладнѣе. Тутъ, смотришь, — трава какая растетъ; ну, замѣтишь — сорвешь. Вода тутъ бѣжитъ, напр., ключевая, родникъ: святая вода; ну, напьешься — замѣтишь тоже. Птицы поютъ небесныя... И не одинъ я грѣшный... много другихъ хрестьянъ въ лаптяхъ ходятъ, по міру бродятъ, правды ищутъ... да! А то что дома-то, а? Справедливости въ человѣкѣ нѣтъ, — вотъ оно что...“

Касьянъ считаетъ грѣхомъ охоту, убіеніе Божіей твари.

„— Баринъ, а баринъ!... Ну, для чего ты птишку убилъ? — говорилъ онъ охотнику.

„— Какъ для чего?... Коростель — это дичь: его ѣсть можно.

„— Не для того ты убилъ его, баринъ: станешь ты его ѣсть! Ты его для потѣхи своей убилъ.

„— Да, вѣдь, ты самъ, небось, гусей или курицъ, напр., ѣшь?

„— Та птица Богомъ опредѣленная для человѣка, а коростель — птица вольная, лѣсная. И не одинъ: много ея, всякой лѣсной твари, и полевой, и рѣчной твари, и болотной, и луговой, и верховой и низовой — и грѣхъ ее убивать, и пускай она живетъ на землѣ до своего предѣла... А человѣку пища положена другая, пища ему другая и другое питье: хлѣбъ — Божья благодать, да воды небесныя, да тварь ручная отъ древнихъ отцовъ... Святое дѣло — кровь! Кровь солнышка Божія не видитъ, кровь отъ свѣта прячется... великій грѣхъ показать свѣту кровь, великій грѣхъ и страхъ... Охъ, великій!“

Слабый тѣломъ и умомъ, Касьянъ ничѣмъ не промышляетъ, какъ самъ говорить; „отъ рукъ отбился... отъ работы“, по замѣчанію кучера Ероока. Онъ весь погруженъ въ созер-

цаніе природы, собираетъ травы и лѣчитъ (онъ — „лѣкарка“, слушаетъ пѣніе птицъ и подражаетъ имъ, ловитъ соловьевъ, „не на муку... не на погибель ихъ живота (поясняетъ онъ), а для удовольствія человѣческаго, на утѣшеніе и веселье“. Онъ живетъ въ своихъ мечтахъ и грезахъ, любитъ пѣть и поетъ хорошо (по словамъ того же Ерооова); онъ даже сочиняетъ пѣсни. — Касьянъ человѣкъ безсемейный, — „задачи въ жизни не вышло“, какъ говорить онъ; но у него есть дочка, молоденькая дѣвушка. Авторъ былъ свидѣтелемъ встрѣчи Касьяна съ дочкой въ лѣсу, и видѣлъ — какъ горячо старикъ ее любитъ; онъ замѣтилъ, что „въ долгой усмѣшкѣ“, съ которой Касьянъ проводилъ уходившую дѣвушку, „въ немногихъ словахъ, сказанныхъ имъ Аннушкѣ (такъ ее звали), въ самомъ звукѣ его голоса, когда онъ говорилъ съ ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нѣжность“.

Нѣжной и поэтической личность Касьяна противоположна суровая, но великодушная натура Бирюка. Это тоже хороший человѣкъ, хоть и грубый съ виду. Онъ живетъ одинъ въ лѣсу, въ избѣ „закопѣлой, низкой и пустой, безъ палатей и перегородокъ“, съ двумя дѣтьми, покинутыми женою, сбѣжавшей съ прохожимъ мѣщаниномъ, — должно-быть семейное горе и сдѣлало его угрюмымъ. Онъ лѣсникъ, и про него говорятъ, что „вязанки хворосту не дастъ утащить... и ничѣмъ его взять нельзя: ни виномъ ни деньгами, ни на какую приманку не идетъ“.

„— Я, братъ, слыхалъ про тебя (ведетъ съ нимъ бесѣду авторъ). Говорятъ ты никому спуска не даешь.

„— Должность свою справляю, — отвѣчалъ онъ угрюмо: — даромъ господскій хлѣбъ ѣсть не приходится“.

Автору довелось быть свидѣтелемъ, какъ этотъ неподкупно-честный человѣкъ отпустилъ пойманнаго имъ въ лѣсу вора, мужика, срубившаго дерево, отпустилъ, потому что почувствовалъ своимъ честнымъ и великодушнымъ сердцемъ безысходное горе бѣдняка, рѣшившагося съ отчаянья на опасное дѣло. Поэтъ прекрасно рисуетъ въ этой сценѣ весь ужасъ бѣдности, до которой иногда доходитъ крестьянинъ.

Между разсказами „Записокъ охотника“ очень видное мѣсто занимаютъ „Пѣвцы“ и „Смерть“. Въ этихъ чудныхъ очеркахъ авторъ показываетъ намъ отношенія русскаго чело-

вѣка къ двумъ важнѣйшимъ явленіямъ бытія: къ искусству и къ смерти. И въ томъ и въ другомъ случаѣ русская душа, по неподкупному свидѣтельству поэзіи, стоитъ очень высоко.

Мы видѣли уже въ нѣсколькихъ изъ названныхъ выше личностей, въ Хорѣ, Калинычѣ, Касьянѣ, сердечное расположение къ музыкѣ, къ пѣснѣ. Въ „Пѣвцахъ“ поэтъ изображаетъ потрясающее дѣйствіе этого искусства на самыхъ разнородныхъ по характерамъ своимъ русскихъ людей. Въ неприглядной обстановкѣ кабака происходитъ состязаніе двухъ пѣвцовъ, и чистое вѣяніе искусства все очищаетъ и просвѣтляетъ вокругъ. Состязаются рядчикъ изъ Жиздры и Яшка Турокъ, и слушатели съ замирающимъ сердечнымъ участіемъ слѣдятъ за исходомъ благородной борьбы. Побѣдителемъ оказывается Яковъ. Вотъ какими поэтическими чертами рисуетъ Тургеневъ его пѣніе: „понемногу разгораясь и расширяясь, полилась заунывная пѣсня. „Не одна во полѣ дороженька пролегла“, пѣлъ онъ, и всѣмъ намъ сладко становилось и жутко... Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала въ немъ, и такъ и хватала васъ за сердце, хватала прямо за его русскія струны. Пѣснь росла, разливалась. Яковомъ видимо одолѣвало упоеніе: онъ уже не робѣлъ, онъ отдавался весь своему счастью; голосъ его не трепеталъ болѣе — онъ дрожалъ, на той едва замѣтной, внутренней дрожью страсти, которая стрѣлой вонзается въ душу слушателя, и безпрестанно крѣпчалъ, твердѣлъ и расширялся... Онъ пѣлъ, совершенно позабывъ и своего соперника, и всѣхъ насъ, но видимо поднимаемый, какъ бодрый пловецъ волнами, нашимъ молчаливымъ, страстнымъ участіемъ. Онъ пѣлъ, и отъ cadaго звука его голоса вѣяло чѣмъ-то роднымъ и необозримо широкимъ, словно знакомая степь раскрывалась передъ нами, уходя въ безконечную даль“.

Слушатели всѣмъ сердцемъ отзывались на вдохновенное пѣніе: авторъ чувствовалъ, что у него „закипали на сердцѣ и поднимались къ глазамъ слезы“; онъ видѣлъ, что „жена цѣловальника плакала, припавъ грудью къ окну“; цѣловальникъ Николай Ивановичъ потупился: легкомысленный и несообразный Оболдуй, „весь разнѣженный, стоялъ глупо раззунувъ ротъ“; посторонній и случайный свидѣтель состязанія — „сѣрый мужичекъ тихонько всхлипывалъ въ уголку,

съ горькимъ испотомъ покачивая головой“; и самъ суровый „Дикій баринъ“ былъ растроганъ: „по желѣзному лицу“ его, „изъ-подъ совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза“. Соперникъ Якова — рядчикъ первый призналъ себя побѣжденнымъ: „ты... твоѣ... ты выигралъ“, произнесъ онъ съ трудомъ и бросился вонъ изъ комнаты.

Чуткой и нѣжно-отзывчивой на впечатлѣнія искусства изображена Тургеневымъ въ „Пѣвцахъ“ русская душа, и тонко подмѣтилъ поэтъ народныя особенности, народныя черты широкой и вольной русской пѣсни.

Можетъ-быть, еще болѣе замѣчателенъ рассказъ „Смерть“, гдѣ поэтъ изобразилъ, какъ умираетъ рускій человѣкъ. Онъ смерть встрѣчаетъ спокойно и просто, безъ внутренней борьбы тревогъ и колебаній, безъ отчаянья и страха. Въ этомъ сказывается здоровая цѣльность, простота и правдивость русской души. — Умираетъ подрачикъ Максимъ, пришибленный деревомъ

„— Батюшка,— заговорилъ онъ едва внятно (обращаясь къ наклонившемуся къ нему помѣщику): — за попомъ.. послать... прикажите... Господь меня наказалъ... ноги, руки, все перебито... сегодня... воскресенье... а я... а я... вотъ.. ребятъ-то не распустилъ.

„Онъ молчалъ. Дыханіе ему спирало.

„— Да деньги мои... женѣ... женѣ дайте... за вычетомъ... вотъ Онисимъ знаетъ... кому я... что долженъ.

„— Мы за лѣкаремъ послали, Максимъ,— заговорилъ мой сосѣдъ:— можетъ быть ты еще не умрешь.

„Онъ раскрылъ было глаза и съ усиленіемъ поднялъ брови и вѣки.

„— Нѣтъ, умру. Вотъ... вотъ подступаетъ, вотъ она, вотъ... Простите мнѣ, ребята, коли въ чемъ...

„— Богъ тебя проститъ, Максимъ Андренчъ,— глухо заговорили мужики въ одинъ голосъ и шапки сняли:— прости ты насъ“.

Столько же самообладанія, если не болѣе, выказываетъ мельникъ, пріѣхавшій смертельно больной къ фельдшеру погнѣчиться. Когда онъ узнаетъ безнадежность своего положенія, онъ не хочетъ остаться въ больницѣ, а ѣдетъ домой распорядиться и дѣла устроить. „Ну, прощаясь, Капитонъ Тимко“

еицъ“ (говорить онъ фельдшеру, не слушая убѣжденій того остаться): „не поминайте лихомъ, да сиротокъ не забывайте, коли что“... „Эй, останься, Василій!“ — Мужикъ только головой тряхнулъ, ударилъ вожжей по лошади и съѣхалъ со двора. Я вышелъ на улицу и поглядѣлъ ему въ слѣдъ“ (разсказываетъ авторъ). „Дорога была грязная и ухабистая; мельникъ ѣхалъ осторожно, не торопясь, ловко правилъ лошадыю и со встрѣчными раскланивался... На четвертый день онъ умеръ“.

Такъ умирають простые русскіе люди, мужики. Но замѣчательно, что въ очеркѣ „Смерть“ поэтъ разсказываетъ о подобномъ же спокойномъ отношеніи къ кончинѣ и людей барской и интеллигентной среды, — старушки помѣщицы, недоучившагося студента Авенира Сорокоумова. Старушка хотѣла сама заплатить священнику за свою отходную и, приложившись къ поданному имъ кресту, засунула-было руку подъ подушку, чтобъ, достать приготовленный тамъ цѣлковый, да не успѣла, — „и испустила послѣдній духъ“.

Бѣднякъ учитель Сорокоумовъ, больной чахоткою и зная о близкой смерти, — „не вздыхалъ, не сокрушался, даже ни разу не намекнулъ на свое положеніе“... Авторъ разсказываетъ, что, когда онъ посѣтилъ его, то бѣднякъ, „собравшись съ силами, заговорилъ о Москвѣ, о товарищахъ, о Пушкинѣ, о театрѣ, о русской литературѣ; вспоминалъ наши пирушки, жаркія пренія нашего кружка, съ сожалѣніемъ произнесъ имена двухъ-трехъ умершихъ пріятелей“.

Онъ даже шутилъ передъ смертью, даже высказалъ довольство своей судьбою (забывъ, по сердечной добротѣ, какъ неприглядна была его жизнь въ домѣ тяжелаго шутника помѣщика Гура Крупяникова, дѣтей котораго Фифу и Зезю онъ училъ русской грамотѣ).

„— Все было ничего, — сказалъ онъ своему собесѣднику послѣ мучительнаго приступа кашля... — кабы трубочку выкурить позволили... А ужъ я такъ не умру, выкурю трубочку! — прибавилъ онъ, лукаво подмигнувъ глазомъ. — Слава Богу, пожилъ довольно; съ хорошими людьми знался“...

Одинаковое отношеніе къ смерти и простого мужика и образованнаго человѣка свидѣтельствуетъ, по поэтическому указанію Тургенева, о томъ, что въ русскомъ обществѣ живы народныя начала, что нѣтъ у насъ на Руси страшной

внутренней розни между простымъ народомъ и культурными его слоями, по крайней мѣрѣ тѣмъ изъ нихъ, который стоитъ ближе къ народу, живетъ въ деревнѣ, или сочувствуетъ народному быту, народной нуждѣ. О томъ же отсутствіи розни свидѣтельствуетъ и то обстоятельство, что Тургеневъ, какъ увидимъ, не подмѣтилъ, не нарисовать въ своихъ „Запискахъ охотника“ вражды, ненависти крестьянина къ помѣщику, хотя и изобразилъ всю тяжесть для перваго крѣпостного права.

Самъ русскій человѣкъ и стоящій въ „Запискахъ охотника“ на народной почвѣ, на народной точкѣ зрѣнія, Тургеневъ чуждъ тендеціозности и вовсе не хочетъ противоплагать крестьянина помѣщику въ томъ смыслѣ, что первый вполнѣ хорошъ, а послѣдній совсѣмъ худъ. Нарисовавши рядъ прекрасныхъ личностей изъ простого народа, онъ рисуетъ намъ и нѣсколько симпатичныхъ типовъ дворянъ; таковы, напр., Каратаевъ, Татьяна Борисовна, взбалмошный Чертопхановъ, уѣздный лѣкарь (въ рассказѣ того же имени).

Человѣкъ малообразованный, но съ сердцемъ, съ живымъ и прямымъ, открытымъ характеромъ, помѣщикъ Каратаевъ полюбилъ чужую крестьянскую дѣвушку. Вслѣдствіе неосторожной прямоты и, пожалуй, нѣкоторой рѣзкости нрава, ему не удалось выкупить ее отъ изнѣженной, капризной и высокомерной ея помѣщицы. Онъ было увезъ Матрену (такъ звали эту дѣвушку); но дѣло кончилось тѣмъ, что онъ принужденъ былъ разстаться съ нею. Чувство его было искреннимъ и сильнымъ — и разлука разбила его жизнь. Авторъ встрѣчаетъ его въ Москвѣ, въ кофейной, въ нетрезвомъ видѣ. Но Каратаевъ не погибъ нравственно; сквозь непривлекательный внѣшній обликъ его жизни просвѣчиваетъ благородная душа: его поддерживаетъ вѣра въ людей, любовь къ поэзій, къ театру.

„Здѣсь житье хорошее (говоритъ онъ про Москву, образованный встрѣчею съ знакомымъ), народъ здѣсь радушный. Здѣсь я успокоился.

„— Служите? — спросилъ его авторъ.

„— Нѣтъ-съ, еще не служу, а думаю скоро опредѣлиться. Да что служба?... люди — вотъ главное. Съ какими я здѣсь людьми познакомился!...

.....

„— Чѣмъ же вы жить будете, Петръ Петровичъ?

„— А не умру съ голоду, Богъ дастъ! денегъ не будетъ— друзья будутъ. Да что деньги?— прахъ. Золото— прахъ!

„Онъ зажмурился, пошарилъ рукой въ карманъ и поднесъ ко мнѣ на ладони два пятиалтынныхъ и гривенникъ.

„— Что это? вѣдь прахъ? (И деньги полетѣли на полъ). А вы лучше скажите мнѣ, читали ли вы Полежаева?

„— Читалъ.

„— Видали ли Мочалова въ Гамлетѣ?

„— Нѣтъ, не видалъ.

„— Не видали, не видали... (И лицо Каратаева поблѣднѣло, глаза безспокойно забѣгали; онъ отвернулся; легкія судороги пробѣжали по его губамъ). Ахъ, Мочаловъ, Мочаловъ!“ и онъ началъ глухимъ, растроганнымъ голосомъ декламировать изъ Гамлета стихи, въ которыхъ, казалось ему, выражено было его душевное настроеніе. — Въ безалаберномъ и, пожалуй, безпутномъ Каратаевѣ поэтъ сумѣлъ подмѣтить прекрасную душу, сумѣлъ возбудить въ насъ сочувствіе къ этой простой и искренней душѣ.

Сочувствіе возбуждаетъ въ насъ и образъ Татьяны Борисовны, мучимой своимъ празднымъ и заплывшимъ жиромъ племянникомъ, самодовольнымъ художникомъ, дико завывающимъ въ ея мирныхъ нѣкогда комнаткахъ романсъ: „я стражду... я стражду!“

Въ Татьянѣ Борисовнѣ нѣтъ ничего необыкновеннаго выдающагося; она ничего даже не дѣлаетъ, даже хозяйствомъ не занимается; но она плѣняетъ своей добротой, простотой, своимъ спокойствіемъ. „Лицо ея дышитъ привѣтомъ, лаской“; она всякаго человѣка „въ бѣдѣ, въ горѣ утѣшить, добрый совѣтъ подастъ. Сколько людей повѣрили ей свои домашнія, задушевные тайны, плакали у ней на рукахъ! Бывало, сядетъ она противъ гостя, обопрется тихонько на локоть и съ такимъ участіемъ смотритъ ему въ глаза, такъ дружелюбно улыбается, что часто невольно въ голову придетъ мысль: „какая же ты славная женщина, Татьяна Борисовна! Дай-ка я тебѣ расскажу, что у меня на сердцѣ“. Въ ея небольшихъ, уютныхъ комнаткахъ хорошо, тепло человѣку; у ней всегда въ домѣ прекрасная погода, если можно такъ выразиться“.

Татьяна Борисовна сочувствует молодости, ея живымъ стремленіямъ.

„Особенно любить она глядѣть на игры и шалости молодежи; сложить руки подъ грудью, прищурить глаза и сидить, улыбаясь, да вдругъ вздохнуть и сказать: ахъ, вы, дѣтки мои, дѣтки!... Такъ, бывало, и хочется подойти къ ней (говорить авторъ), взять ее за руку и сказать: послушайте, Татьяна Борисовна, вы себя цѣны не знаете, вѣдь вы при всей вашей простотѣ и неучености необыкновенное существо! Одно имя ея звучитъ чѣмъ-то знакомымъ, привѣтнымъ, охотно произносится, возбуждаетъ дружелюбную улыбку“.

Взбалмошный, страстно, бѣшено увлекающійся Чертопхановъ — полонъ гордости, даже тщеславія, не прочь отъ самоуправства; но гордость его — порой хорошая гордость, свидѣтельствующая о сознаніи имъ своего человѣческаго достоинства. Онъ не смотритъ на лица, онъ смѣлъ, никого не боится и готовъ защитить оскорбляемаго, какъ защитилъ отъ презрительныхъ насмѣшекъ Недопюскина.

Не будемъ долго останавливаться и на характерѣ уѣзднаго лѣкаря. Это — человѣкъ опустившійся въ тину уѣздной жизни, пристрастившійся къ преферансу и женившійся на купеческой дочери, „злой бабъ“ (по его опредѣленію), съ 7000 приданаго. Но въ его душѣ поэтъ подмѣтилъ сочувственныя черты: и умъ, и смиренный взглядъ на себя, и остатки возвышенныхъ романтическихъ чувствъ: съ поэтическимъ одушевленіемъ и сердечнымъ прямотушеніемъ, хотя порой и нѣсколько комично, рассказываетъ докторъ своему неожиданному пациенту исторію любви къ нему умирающей дѣвушки, любви, которую онъ, смиренно не смѣя отнести лично къ себѣ, объясняетъ просто желаніемъ молодой души хоть на кого-нибудь, на перваго встрѣчнаго, излить передъ смертью таившійся въ сердцѣ потокъ чувства. Поэтъ не смѣется надъ тѣмъ, что есть въ уѣздномъ лѣкарѣ пошлаго, потому что тотъ самъ осмѣялъ въ себѣ это пошлое, осмѣялъ даже свыше мѣры.

Обратимся еще разъ къ хорошимъ людямъ изъ народа. Передъ нами двѣ прекрасныхъ женскихъ личности: Акулина въ очеркѣ „Свиданіе“ и Лукерья — „Живыя мощи“.

Первая — еще совсѣмъ молодая дѣвушка, неопытное сердце, полюбившее первой любовью. Она полюбила неудачко, ко-

любила пошло-самодовольнаго, изломаннаго лакея. Поэтъ видитъ ее на свиданіи, ожидающей.

„Мнѣ особенно нравилось (говорить онъ) выраженіе ея лица: такъ оно было просто, и кратко, такъ грустно и такъ полно дѣтскаго недоумѣнія передъ собственной грустью“.

Пришелъ наконецъ — кого она ожидала, и сталъ ломаться, а она поднесла ему набранные для него васильки, „глядѣла на него... Въ ея грустномъ взорѣ было столько нѣжной преданности, благоговѣйной покорности и любви. Она... была такъ хороша въ это мгновеніе: вся душа ея довѣрчиво, страстно раскрывалась передъ нимъ, тянулась, ластилась къ нему, а онъ... онъ уронилъ васильки на траву, досталъ изъ бокового кармана пальто круглое стеклышко въ бронзовой оправѣ и принялся втискивать его въ глазъ“...

Другой женскій образъ — героини разсказа „Живыя мощи“ — есть едва ли не лучшій, не самый поэтическій изъ всѣхъ образовъ „Записокъ охотника“. Поэтъ показалъ намъ въ немъ, до какой духовной высоты можетъ подняться простой русскій человѣкъ вообще. Молодая дѣвушка, крестьянка Лукерья, веселая, живая, бойкая, красавица, невѣста, любимая женихомъ и сама любящая его, внезапно заболѣла такою болѣзью, которая изсушила ее, навсегда приковала къ постели, исключила изъ числа живыхъ людей. Женихъ ея погоревалъ да и женился на другой. А она проводитъ цѣлыя годы въ уединеніи, неподвижная, одна съ своими думами. Но она не пала духомъ въ безотрадномъ положеніи; напротивъ она дошла до полного просвѣтлѣнія, — она счастлива, она радуется жизни, всякому ея мелкому проявленію; она рада и смерти и ждетъ ея какъ блаженства и не знаетъ и не понимаетъ страха передъ нею. Лукерья — олицетвореніе народнаго религіознаго идеала.

Поэтъ неожиданно увидѣлъ Лукерью въ плетеномъ сарайчикѣ близъ пасѣвки, гдѣ она проводила лѣто; вотъ какъ онъ описываетъ ея наружность:

„Голова совершенно высохшая, одноцвѣтная, бронзовая, — ни дать ни взять — икона стариннаго письма; носъ узкій, какъ лезвее ножа; губъ почти не видать, — только зубы бѣлѣютъ и глаза... лицо не только не безобразное, даже красивое, но странное, необычайное. И тѣмъ страшнѣе кажется...

это лицо, что по немъ, по металлическимъ его щекамъ... — силится... силится и не можетъ расплыться улыбка“.

Лукерья не знаетъ себялюбія, зависти, ревности, злобы. Она рада, что ея бывший женихъ нашелъ себѣ добрую жену, „и очень ему, слава Богу, хорошо“, говоритъ она. Она тихо слѣдитъ за жизнью природы и веселится ею.

„Гречиха въ полѣ зацвѣтетъ или липа въ саду — мнѣ и сказывать не надо (говоритъ она): я первая сейчасъ слышу. Липъ бы вѣтеркомъ оттуда потянуло. Нѣтъ, что Бога гнѣвить? — многимъ хуже моего бываетъ.

„Смотрю, слушаю. Пчелы на пасѣхѣ жужжать да гудятъ; голубъ на крышу садеть да заворкуетъ; курочка-наседочка зайдетъ съ цыплятами крошекъ поклевать, а то воробей залетитъ или бабочка — мнѣ очень пріятно. Въ позапрошломъ году такъ даже ласточки вонъ тамъ въ углу гнѣздо себѣ свили и дѣтей вывели. Ужъ какъ же оно было занято!... А то разъ... вотъ смѣху-то было! Заяцъ забѣжалъ, право!... сѣлъ близехонько, и долго таки сидѣлъ, все носомъ водилъ и усами дергалъ — настоящій офицеръ! И на меня смотрѣлъ. Понялъ, значить, что я ему не страшна... Смѣшной такой!“

Она о себѣ не думаетъ, но о другихъ у ней болитъ сердце. Когда баринъ спрашиваетъ ее — не нужно ли ей чего? Она отвѣчаетъ:

„Ничего мнѣ не нужно; всѣмъ довольна, слава Богу... А вотъ вамъ бы, баринъ, матушку вашу уговорить — крестьяне здѣшніе бѣдные — хоть бы малость оброку съ нихъ она сбавила! Земли у нихъ недостаточно, угодій нѣтъ... Они бы за васъ Богу помолились... А мнѣ ничего не нужно, — всѣмъ довольна.

Въ Лукерьѣ сохранилась обычная любовь русскаго человѣка къ пѣнію: она поетъ, слабымъ, едва слышнымъ, но чистымъ и вѣрнымъ голосомъ, всякія пѣсни, которыхъ прежде много знала. „Только вотъ плясовыхъ не пою (говоритъ она). Въ теперешнемъ моемъ званіи — оно не годится“.

Смирненіе русскаго человѣка дошло въ Лукерьѣ до высшей степени. Собесѣдникъ подивился ея терпѣнью, а она возражаетъ ему:

„Эхъ, баринъ!... что вы это? Какое такое терпѣніе? Вотъ Симеона Столпника терпѣніе было точно великое, тридцать лѣтъ на столбу простоялъ... А то вотъ еще мнѣ сказывать

одинъ начетчикъ... „и она передаетъ поэтическое преданіе объ Іоаннѣ д'Аркѣ, „святой дѣвственницѣ“, какъ та прогнала агарянъ изъ своей родной земли, и потомъ велѣла этимъ агарянамъ сжечь себя, чтобы „огненною смертію за свой народъ помереть“.

Лукерья религіозна въ самомъ возвышенномъ и чистомъ смыслѣ этого слова. Богъ ей близокъ.

„А то я молитвы читаю (разсказываетъ она о своей жизни). Только не много я знаю ихъ, этихъ самыхъ молитвъ. Да и на что я стану Господу Богу наскучать? О чемъ я Его просить могу? Онъ лучше меня знаетъ, что мнѣ надобно. Послать Онъ мнѣ крестъ — значить меня Онъ любить. Такъ намъ велѣно это понимать. Прочту Отче нашъ, Богородицу, акаѣистъ Всѣмъ Скорбящимъ, да и опять полеживаю себѣ безъ всякой думочки. И ничего!“

Она видитъ таинственные, чудесные, пророческіе сны, — Христа видитъ и царство небесное; видитъ во снѣ смерть свою, въ образѣ большой женщины съ глазами желтыми, какъ у сокола, и свѣтлыми-пресвѣтлыми; она радостно просить смерть взять ее, и та назначаетъ ей время — „послѣ, моль, Петровокъ“.

И Лукерья, дѣйствительно, умираетъ послѣ Петровокъ, — она какъ бы провидѣла свой конецъ.

„Разсказывали (заключаетъ поэтъ свое повѣствованіе о ней), что въ самый день кончины она все слышала колокольный звонъ, хотя отъ Алексѣевки до церкви считаютъ пять верстъ слишкомъ и день былъ будничныи. Впрочемъ Лукерья говорила, что звонъ шелъ не отъ церкви, а „сверху“. — Вѣроятно она не посмѣла сказать: съ неба“.

Закончимъ воспоминаніе о прекрасныхъ людяхъ изъ народа, изображенныхъ Тургеневымъ въ „Запискахъ охотника“, дѣтскими образами „Бѣжина луга“. Кто не помнитъ живой этой чудесной картины „ночного“, бесѣды крестьянскихъ рябятишекъ, стерегущихъ табунъ, бесѣды о страшныхъ и поэтическихъ повѣрьяхъ? Между нѣсколькими крестьянскими мальчиками, нарисованными здѣсь поэтомъ, выдается энергическій и умный Павлуша.

„Малый былъ неказистый, — что и говорить (пишетъ авторъ про его наружность), а все-таки онъ мнѣ понравился: глядѣлъ онъ очень умно и прямо, да и въ голосѣ у него звучала сила“.

Собаки слышали что-то въ лѣсу, — Павлуша подумалъ, что волкъ, и поскакалъ на ихъ лай.

„Я невольно полюбовался Павлушей (говорить поэтъ). Онъ былъ очень хорошъ въ это мгновеніе. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ѣздой, горѣло смѣлою удалю и твердой рѣшимостью. Безъ хворостинки въ рукѣ, ночью, онъ, нимало не колеблясь, поскакалъ одинъ на волка... „Что за славный мальчикъ!“ думалъ я, глядя на него“.

Такъ же смѣло отнесся Павлуша и къ предсказанію смерти: ему слышалось, когда онъ пошелъ къ рѣкѣ за водою, что его кто-то зоветъ изъ воды: „Павлуша, а Павлуша, подь сюда!“ — „Ахъ, эта примѣта дурная“ (сказалъ ему Ильюша). — „Ну, ничего, пуцай! произнесъ Павелъ рѣшительно и свѣлъ опять: — своей судьбы не минуетъ“.

Интересно, что въ концѣ очерка авторъ говоритъ, что предсказаніе судьбы (или предчувствіе Павла) въ томъ же году сбылось: Павелъ не утонулъ, правда, но убился, упавъ съ лошади.

Живой и умный, Павлуша умѣетъ подмѣтить смѣшное, — и его рассказъ о „предвидѣннѣ“ небесномъ, о томъ, какъ у нихъ въ деревнѣ бочара Вавилу, надѣвшаго жбанъ на голову, приняли-было за Тришку-антихриста, полонъ юмора.

„Бѣжинъ дугъ“ есть вообще одинъ изъ самыхъ поэтическихъ рассказовъ „Записокъ охотника“: особенно прекрасны нѣкоторые его частности, отдѣльныя картинки и эпизоды. Остановимся на двухъ изъ нихъ.

„Настало опять молчаніе.

„— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребята, раздался вдругъ дѣтскій голосъ Вани (младшій изъ мальчиковъ, лѣтъ семи): гляньте на Божьи звѣздочки, — что пчелки роятся.

„Онъ выставилъ свое свѣжее личико изъ-подъ рогожи, оперся на кулачокъ и медленно поднялъ кверху свои большіе тихіе глаза. Глаза всѣхъ мальчиковъ поднялись къ небу и не скоро опустились.

„— А что Ваня, — ласково заговорилъ Одея: — что твоя сестра Анютка здорова?

„— Здорова, — отвѣчалъ Ваня, слегка картавя.

„— Ты ей скажи, что она къ намъ отчего не ходитъ?...

„— Не знаю.

„— Ты ей скажи, чтобы она ходила.

„— Скажу.

„— Ты ей скажи, что я ей гостинца дамъ.

„— А мнѣ дашь?

„— И тебѣ дамъ.

„— Ну, нѣтъ, мнѣ не надо. Дай ужъ лучше ей: она такая у насъ добренькая.

„И Ваня опять положилъ свою голову на землю“.

Не менѣе прекрасенъ эпизодъ съ голубемъ:

„Всѣ опять притихли. Павелъ бросилъ горсть сухихъ сучьевъ на огонь. Рѣзко зачернѣлись они на внезапно вспыхнувшемъ пламени, затрепали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отраженіе свѣта ударило, порывисто дрожа, во всѣ стороны, особенно кверху. Вдругъ откуда ни возмись бѣлый голубокъ, — налетѣлъ прямо въ это отраженіе, пугливо повертѣлся на одномъ мѣстѣ, весь обливаясь горячимъ блескомъ, и исчезъ, звеня крыльями.

„— Знать отъ дому отбился, — замѣтилъ Павелъ. — Теперь будетъ летать, куда на что наткнется, и гдѣ ткнетъ, тамъ и ночуетъ до зари.

„— А что, Павлуша, — промолвилъ Костя: — не праведная ли это душа летѣла на небо, ась?

„Павелъ бросилъ другую горсть сучьевъ на огонь.

„— Можетъ-быть, — проговорилъ онъ наконецъ“.

Приведенные отрывки показываютъ намъ, въ какомъ удивительномъ соотвѣтствіи изображаются Тургеневымъ человекъ и природа. И звѣзды небесныя, и рѣющій въ воздухъ голубь, и лѣса, поля и воды, окружающія мальчиковъ „въ ночномъ“, — все это входитъ въ ихъ духовную жизнь, красоту всего этого чуютъ они своимъ сердцемъ и живутъ и дышатъ этой красотой Божьяго міра.

Тургеневъ — великій живописецъ природы, и всѣ его очерки народной жизни, какъ въ прекрасную рамку, вставлены въ художественныя и живыя описанія ея.

Какъ прекрасно дополняетъ изображеніе горя бѣдной покидаемой дѣвушки въ „Свиданіи“ сравненіе тоскующей души ея съ блѣдной осенью:

„Порывистый вѣтеръ быстро мчался мнѣ навстрѣчу черезъ желтое, высохшее жнивье (пишетъ поэтъ); торопливо вздымаясь передъ нимъ, стремились мимо, черезъ дорогу, вдоль

опушки, маленькіе, покоробленные листья; сторона рощи, обращенная стѣною въ поле, вся дрожала и сверкала мелкимъ сверканьемъ, четко, но не ярко; на красноватой травѣ, на былинкахъ, на соломинкахъ, всюду блестяли и волновались безчисленные нити осеннихъ паутинъ. Я остановился... Мнѣ стало грустно: сквозь невеселую, хотя свѣжую улыбку увядающей природы, казалось, прокрадывался унылый страхъ недалекой зимы.

Въ какомъ чудесномъ соотвѣтствіи изображается та же осенняя природа съ думами и воспоминаніями человѣка, пробуждающимися въ душѣ среди ея картинъ, ея впечатлѣній, въ очеркѣ „Лѣсъ и степь“.

„И какъ этотъ лѣсъ хорошъ поздней осенью, когда прилетаютъ вальдшнепы! Они не держатся въ самой глуши: ихъ надобно искать вдоль опушки. Вѣтра нѣтъ, и нѣтъ ни солнца, ни свѣта, ни тѣни, ни движенія, ни шума; въ мягкомъ воздухѣ разлитъ осенній запахъ, подобный запаху вина; тонкій туманъ стоитъ вдали надъ желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья деревь мирно блѣдетъ неподвижное небо; кой-гдѣ на липахъ висятъ послѣдніе золотые листья. Сырая земля упруга подъ ногами; высокія сухія былинки не шевелятся; длинныя нити блестятъ на поблѣднѣвшей травѣ. Спокойно дышитъ грудь, а на душу находитъ страшная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тѣмъ любимые образы, любимыя лица, мертвыя и живыя, приходятъ на память, давнымъ-давно заснувшія впечатлѣнія неожиданно просыпаются; воображеніе рѣветъ и носится, какъ птица, и все такъ ясно движется и стоитъ передъ глазами. Сердце то вдругъ задрожитъ и забьется, странно бросится впередъ, то безвозвратно потонетъ въ воспоминаніяхъ. Вся жизнь развертывается легко и быстро, какъ свитокъ; всѣмъ своимъ прошедшимъ, всѣми чувствами, силами, всею своею душою владѣетъ человѣкъ. И ничего кругомъ ему не мѣшаетъ — ни солнца нѣтъ, ни вѣтра, ни шума...“

И не только осень, поэтъ рисуетъ съ такимъ же совершенствомъ и весну и лѣто, когда въ лѣсу „золотой голосокъ малиновки звучитъ невинной, болтливой радостью“ и такъ „идетъ къ запаху ландышей“.

Позволю себѣ привести еще одно описаніе изъ „Касьяна съ Красивой Мечи“:

„Удивительно пріятное занятіе лежать на спинѣ въ лѣсу и глядѣть вверхъ! Вамъ кажется, что вы смотрите въ бездонное море, что оно широко разстилается подъ вами, что деревья не поднимаются отъ земли, но словно корни огромныхъ растений, спускаются, отвѣстно падаютъ въ тѣ стеклянныя волны; листья на деревьяхъ то скользятъ изумрудами, то сгущаются въ золотистую, почти черную зелень... Волшебными подводными островами, тихо наплываютъ и тихо проходятъ бѣлыя круглыя облака... Вы не двигаетесь, вы глядите; и нельзя выразить словами, какъ радостно, и тихо, и сладко становится на сердцѣ. Вы глядите: та глубокая, чистая лазурь возбуждаетъ на устахъ вашихъ улыбку, невинную, какъ она сама; какъ облака по небу, и какъ будто вмѣстѣ съ ними, медлительной вереницей проходятъ по душѣ счастливыя воспоминанія, и все вамъ кажется, что взоръ вашъ уходитъ дальше и дальше, и тянетъ васъ самихъ за собою въ ту спокойную, сіяющую бездну, и невозможно оторваться отъ этой вышины, отъ этой глубины...“

Незеленовъ.

Бытовая и художественная стороны въ „Запискахъ охотника“.

Тургеневъ первый, кажется, изъ нашихъ писателей понялъ важное значеніе того, что называется *беллетристикою*, и первый показалъ примѣры какъ замѣчательныхъ результатовъ, какіе она дать можетъ, такъ и рѣдкихъ качествъ, требуемыхъ ею отъ самого писателя. Съ этой точки зрѣнія рассказы его пріобрѣтаютъ для насъ двойное значеніе: во-первыхъ, по собственному содержанію, а во-вторыхъ, по эстетическому вопросу, который они порождаютъ. Новые рассказы Тургенева („Малиновая вода“, „Уѣздный лѣкарь“, „Бирюкъ“, „Лебедянь“, „Татьяна Борисовна“, „Смерть“) сохраняютъ всѣ качества предшествовавшихъ имъ: разнообразіе, вѣрность картинъ и особенно какое-то уваженіе ко всѣмъ своимъ лицамъ. Гуманность эта, доказывающая, между прочимъ, уже окрѣпшую мысль въ авторѣ да сильное чувство красоты природы, какъ и прежде, ихъ настоящій колоритъ и вполне объясняютъ успѣхъ ихъ. Это *этюды* многоцвѣтнаго русскаго

міра, исполненные тонких замѣтокъ и ловко подмѣченныхъ чертъ. Истинно-художественныхъ разсказовъ въ „Запискахъ“ можетъ быть два-три („Хорь и Калинычъ“ — первый изъ нихъ по появленію останется первымъ и по достоинству); всѣ остальные держатся на силѣ наблюденія, на литературной и житейской опытности автора. Изящная словесность цѣлаго народа не можетъ состоять изъ однихъ художественныхъ произведеній, и требовать отъ нея только созданій высокаго творчества — значитъ впадать въ нѣкоторый фанатизмъ художественности, столь же ограниченный и невѣрный, какъ и раболѣпные списки съ природы. Для полной литературной жизни такъ же необходима подмѣтка новой стороны предмета, еще невысказанная мысль и картина, порожденная долгимъ опытомъ, какъ и колоссальное произведеніе, на которомъ вполне и глубоко успокоивается эстетическое чувство ваше. Не признавать или опровергать это — весьма можно. Оно даже и легко при нынѣшнемъ развитіи наукъ объ изящномъ и благородномъ воодушевленіи, порожденномъ ими, да только тутъ грозитъ опасность обнаружить неимовѣрную глухоту къ законнымъ требованіямъ умственной жизни. Мы знаемъ, что можно не признавать и послѣднихъ, но при этомъ случаѣ мы тотчасъ же впадаемъ въ родъ драматической фантазіи, гдѣ, съ одной стороны, красуется толпа, а съ другой — уединенно стоящій умникъ. Нравственная усталость, еще остающаяся въ насъ послѣ этихъ фантазій, освобождаетъ насъ отъ желанія видѣть повтореніе ихъ на дѣлѣ.

Вѣроятно, никто не подумаетъ, что мы проповѣдуемъ легкость и беззаботность, такъ сказать, въ литературѣ. Наоборотъ. Стоить только указать на произведенія Тургенева, чтобъ убѣдиться, какихъ важныхъ условій и какого мастерства требуетъ беллетристика вообще. Во-первыхъ, необходимо ей многостороннее знаніе жизни, зоркость взгляда, изощреннаго опытностію, всегдашнее присутствіе мысли, поясняющей наблюденія, и, наконецъ, еще талантъ разбора самихъ явленій и вывода ихъ передъ читателемъ. Большая часть разсказовъ охотника родилась изъ прямыхъ, личныхъ впечатлѣній автора. Онъ обращаетъ въ картину случай, ему представившійся; разбираетъ передъ вами характеръ, имъ встрѣченный, и даже передаетъ въ формѣ разсказа собственное свое воззрѣніе на какой-либо предметъ; но сколько

искусства истрачено у него при этой передачѣ разнородныхъ своихъ приобрѣтеній! Любопытно наблюдать, какъ мѣняется онъ для каждаго новаго представленія краски и самый способъ изложенія, какъ вѣрно рассчитаны для нихъ свѣтъ и воздухъ, и въ какихъ нѣжныхъ оттѣнкахъ и умно разбѣянныхъ подробностяхъ выражаются у него люди и событія. Вѣрность окружающему, за которой такъ гоняется псевдо-реализмъ, рѣдко достигая ея, является тутъ сама по себѣ и часто достигаетъ поэтического выраженія, по глубокому проникновенію въ жизнь, по изученію ея. Мы желаемъ отъ души русской литературѣ наиболѣе беллетристическихъ талантовъ, дающихъ подобные результаты. *Анненковъ.*

Главнѣйшіе мотивы поэзіи Тургенева въ „Запискахъ охотника“.

Разсказы — въ сущности личные воспоминанія автора, большинство героевъ — его знакомые; охотничьи происшествія, описанныя въ „Запискахъ“ были извѣстны и не одному Тургеневу, знали о нихъ его друзья, принимавшіе участіе въ его охотахъ. Исторіи излагались съ необыкновенной простотой, оказывались доступными пониманію всякаго грамотнаго человѣка. Это великое достоинство художественнаго произведенія.

Тургеневъ въ „Запискахъ охотника“ показалъ, что крѣпостные мужики не только люди, но что имъ доступны такіе же сложные душевные процессы, такая же многосторонняя нравственная жизнь, какъ и всѣмъ лучшимъ представителямъ культурнаго общества.

Тургеневъ, вѣроятно, и не подозрѣвалъ такихъ выводовъ. Онъ просто показалъ рядъ личностей, одаренныхъ изумительнымъ поэтическимъ чувствомъ природы, безгранично гуманныхъ, соединяющихъ глубокую вдумчивость съ младенческимъ незлобіемъ. Это одинъ типъ. Другой не имѣетъ ничего общаго ни съ поэзіей ни съ ясной наивностью души, — но для высшей публики долженъ былъ казаться столь же неожиданнымъ среди деревенской дикости и глупости. Одного изъ этихъ героевъ авторъ сравниваетъ съ Сократомъ. Передъ

нами дѣйствительно самоувѣренная житейская мудрость, воспитанная многолѣтними тяжелыми опытами, мудрость — холодная, отчасти скептическая, но спокойная, добродушная, совершенно чуждая хищническихъ инстинктовъ. Эти два типа занимаютъ первое мѣсто въ „Запискахъ“. Авторъ каждый изъ нихъ иллюстрируетъ нѣсколькими фигурами: Калинычъ, Касьянъ, отчасти Ермолай и Хорь, Моргачъ, Овсянниковъ, мечтательные созерцатели и практическіе мудрецы. И всѣ они, при всемъ своемъ несродствѣ, — русскіе до послѣдняго перва, русскіе — въ каждомъ словѣ, въ каждомъ ощущеніи. Вы видите, эти своеобразные поэты и философы могли возникнуть только на русской почвѣ и притомъ — крѣпостнической.

Крѣпостная зависимость отдѣляла крестьянъ непроходимой пропастью отъ остального человѣческаго общества, вообще отъ умственной культуры. Мужику приходилось собственными силами и въ своей собственной средѣ искать удовлетворенія насущнымъ запросамъ человѣческой души: Кругомъ — люди или равнодушные или враждебные ему. Рядомъ съ нимъ — такіе же „униженные и оскорбленные“, какъ и онъ самъ. Всякій, кто сколько-нибудь по своимъ способностямъ и природнымъ наклонностямъ выдавался надъ темной средой, долженъ былъ чувствовать глубокое мучительное одиночество. Не съ кѣмъ отвести душу, некому повѣрить глубокія движенія сочувствія, вложенныя такъ нехотати въ сердце раба. Отсюда — меланхолическая мечтательность, необыкновенно чуткое участіе въ явленіяхъ природы, почти болѣзненная симпатія ко всему слабому, беззащитному. Крѣпостной мужикъ, имѣвшій несчастье родиться впечатлительнымъ и любящимъ, неминуемо превращался въ юродивца въ родѣ Калиныча и Касяна. Они живутъ въ міру, но отличаются всѣми свойствами пустыльниковъ и отшельниковъ. Они совершенно не приспособлены къ практической подневольной дѣятельности — единственной, какая только и доступна крестьянину. Это и есть ихъ неразуміе: такъ судятъ о нихъ заурядные наблюдатели, такъ думаютъ и они сами. Касьянъ на вопросъ, чѣмъ онъ промышляетъ, отвѣчаетъ: „Живу какъ Господь велитъ, — а чтобы, то-есть, промышлять — нѣтъ, ничѣмъ не промышляю. Неразуменъ я больно съ мальства; работаю, пока мочно, — работникъ-то я плохой... гдѣ мнѣ! Здоровья нѣтъ и руки глупы...“ Но это не тунеядство, всегда идущее

рядомъ съ нравственнымъ и умственнымъ отупѣніемъ. Напротивъ, въ душѣ Касьяна совершаются въ высшей степени сложные процессы, у него сложилось цѣлое міросозерцаніе, — настолько жизненное и для него осмысленное, что Касьянъ подчиняется извѣстнымъ теоріямъ въ своихъ отношеніяхъ къ внѣшнему міру. Передъ нами типичное „существо не отъ міра сего“, на этотъ разъ только не въ высоко-развитой средѣ интеллигентнаго общества, а въ деревенскомъ, темномъ углу. И духовное содержаніе этого существа едва ли не возвышеннѣе и идеальнѣе, чѣмъ поэтическая, безпредметная мечтательность такъ называемыхъ исключительныхъ, ангелоподобныхъ натуръ, вырастающихъ на почвѣ удручающей праздности и мучительныхъ эгоистическихъ поисковъ за личнымъ счастьемъ, за удовлетвореніемъ фантастическихъ прихотей... Касьянъ при всемъ своемъ „неразуміи“ находитъ возможнымъ приносить нравственную и даже практическую пользу людямъ. Онъ дѣйствительно живетъ одною жизнью съ природой, — не въ минуты поэтического вдохновенія и восторженныхъ созерцаній, а потому, что иной жизни у него и нѣтъ. Онъ знаетъ голосъ каждой птицы, умѣетъ переключаться съ ней, подхватить ея пѣсню. Каждая травка и цвѣтокъ возбуждаютъ у него тѣ самыя чувства, какими у другихъ людей сопровождаются воспоминанія о старыхъ друзьяхъ. И эти его друзья оказываютъ ему великія услуги; какихъ никогда никому не дождаться отъ людей. Даже ключевая вода настраиваетъ его на религіозныя мысли, а степи охватываютъ его душу трепетнымъ восторгомъ.

Касьяна болѣзненно поражаетъ всякое страданіе не только среди людей, даже у птицъ, а дѣвочка Аннушка въ самомъ звукѣ его голоса вызываетъ неизъяснимую страстную нѣжность. Очевидно, это великій родникъ міровой и человѣческой любви, заброшенной въ рабскую жестокою среду... Кто могъ подозрѣвать существованіе такихъ тайнъ подъ сѣрымъ мужицкимъ армякомъ? Кто умѣлъ на уродливомъ, смѣшномъ лицѣ убогаго карлика прочесть отраженіе благородной поэтической души? Единственный писатель, еще въ дѣтствѣ умѣвшій подмѣтить и понять драму нѣмого мужика Андрея и рассказать ее въ трогательной повѣсти о Герасимѣ и его собачкѣ Муму, — въ повѣсти, вызывавшей слезы у такихъ людей, какъ Карлейль. И для Тургенева, очевидно, являлось

особенно симпатичнымъ, дорогимъ дѣломъ — открывать публикѣ идеальныя и поэтическія стороны народной души и жизни. Для автора нѣтъ настолько ничтожныхъ, задавленныхъ жертвъ невыносимыхъ бытовыхъ условий, чтобы онѣ не представляли никакого интереса для нашего просвѣщеннаго вниманія. Даже Степушка, совершенно, повидимому, жалкое, безличное созданіе, все поглощенное заботой о кормѣ, ни для кого незамѣтное и рѣшительно никому не нужное, оказывается чуткой и отзывчивой на чужое горе. И какъ тонко, до умиленности просто авторъ даетъ это понять читателямъ.

Мужикъ только что рассказалъ о своемъ горѣ, рассказалъ, какъ только можетъ рассказывать мужикъ — безъ фразъ, безъ вздоховъ и жалобъ. И словъ въ его рѣчи несравненно меньше, чѣмъ фактовъ, и ни малѣйшаго расчета на сочувствіе слушателя. Степа слушалъ молча, можетъ-быть онъ и передъ этимъ молчалъ цѣлые дни, такъ какъ врядъ ли кто интересовался поговорить съ нимъ. И вдругъ на лаконическую, повидимому, совершенно равнодушную рѣчь мужика, у Степы невольно, безъ его вѣдома, срывается нѣсколько словъ:

„— Да ты бы... того...“

И только. Степа смѣшался, замолчалъ, онъ не знаетъ, куда глаза дѣвать — отъ конфуза. Такъ для него необыкновенна даже такая рѣчь. Но для васъ достаточно и этихъ звуковъ. Вы почувствовали трепетъ живой человѣческой души; на васъ повѣяло дыханіе неумирающаго гуманнаго чувства, этого; по представленію автора, исконнаго свойства русской натуры. То же самое и въ другомъ господствующемъ типѣ мужика, мыслителя, Сократа, энергичнаго дѣятеля и устроителя своего мужицкаго благосостоянія. Хоръ и Овсянниковъ — оба обязаны только себѣ. Овсянниковъ живетъ уже въ эпоху свободы и ему, конечно, несравненно легче оберегать свою независимость и личное достоинство. Но Хоръ — крѣпостной. Замѣчательно, — онъ такъ же, какъ и мужики-мечтатели и поэты, постарался выдѣлиться изъ общаго мужицкаго круга, даже поселился въ сторонѣ отъ деревни, зажилъ одинъ съ семьей на болотѣ и быстро показалъ, чего можетъ достигнуть даже сравнительно независимый и въ ко-нецъ не подавленный лично мужикъ. Авторъ отнюдь не идеа-

лизируетъ своего героя. Хорь, умѣвшій разбогатѣть, насквозь понимающій и своего барина и вообще жизнь всякихъ господъ и ихъ подданныхъ, относится къ своей дѣятельности и чужимъ взглядамъ крайне осторожно. Это громадная нравственная сила, по существу скептическая, тяжелая на подъемъ, осмотрительная, даже боязливая. Вѣка подневольнаго существованія воспитали въ мужикѣ глубокое сознаніе, чего иной разъ стоитъ одинъ опрометчивый шагъ, воспитали такое представленіе о личной отвѣтственности за каждое слово и дѣйствіе, какое было совершенно недоступно господину.

Нуженъ длинный рядъ опытовъ, чтобы Хорь призналъ пользу такого, повидимому, безусловно-полезнаго пріобрѣтенія, какъ грамота. Но разъ онъ убѣдился въ этой пользѣ, — его уже не остановятъ никакія препятствія, а именно Хорь даетъ автору поводъ для оригинальнаго заключенія: „Петръ Великій былъ, по преимуществу, русскій человекъ“. Какая смѣлость, на основаніи наблюденій надъ крѣпостнымъ оброчнымъ мужикомъ составлять характеристику величайшаго изъ государственныхъ реформаторовъ!

Господину Полутыкина, барину Хоря, этого и во снѣ не грезится. Онъ просто видитъ въ своемъ данникѣ ловкаго, оборотливаго дѣльца, попросту кулака. До міросозерцанія Хоря барину нѣтъ никакого дѣла, онъ и не подозреваетъ, насколько этотъ смиренный подданный умственно стоитъ выше его, и какъ ясно видитъ всю мелкоту его души. Является писатель, и въ болотномъ отшельникѣ открываетъ настоящаго русскаго философа, со многими традиционными и наслѣдственными странностями въ родѣ глубокаго презрѣнія къ бабамъ, но съ необыкновенно твердыми и вполне опредѣленными принципіальными воззрѣніями.

Таковы главнѣйшіе мотивы тургеневской народной поэзіи и таковы результаты его наблюденій надъ народомъ. Мы взяли только самыя существенныя данныя, мы опустили множество общихъ чертъ, по мнѣнію автора, присущихъ едва ли не каждому русскому мужику. Припомните, напримѣръ, съ какой настойчивостью Тургеневъ подчеркиваетъ изумительную способность не только взрослыхъ мужиковъ, а даже подростковъ-парней — дѣйствовать просто, находчиво, съ полнымъ самообладаніемъ въ самыхъ критическихъ поло-

женіяхъ? Помните, какъ Ермолай, внезапно затонувъ въ пруду, въ тотъ же моментъ опредѣляетъ, что надо дѣлать, не умѣя плавать, отправляется искать бродъ, долго ищетъ и возвращается къ товарищамъ, такъ основательно изучивъ дно пруда въ теченіе какого-нибудь часа, будто это была открытая дорога. И все это дѣлается молча, безъ всякой похвальбы, будто иначе и быть не можетъ. И авторъ не подчеркиваетъ фактовъ, для насъ достаточно именно только факта: онъ, при всей своей будничности, краснорѣчивѣ всѣхъ тирадъ. То же самое съ мальчикомъ Павлушей. На ночномъ встравожились собаки. Павлушѣ вспала мысль, что это волки, и онъ, ни минуты не раздумывая, „безъ хворостинки въ рукѣ“, скачетъ одинъ и совершенно равнодушно сообщаетъ потомъ своимъ пріятелямъ: „Ничего... Я думалъ волкъ“.

Здѣсь мужики, даже мальчикъ идетъ на вѣрную опасность, не справляясь ни съ какимъ „долгомъ чести“, а просто по внушенію своей великодушной, инстинктивно отважной натуры. И авторъ не скрываетъ своего глубокаго уваженія къ этой натурѣ. Чтобы выразить восторгъ предъ пѣньемъ парня и представить всю мощь прочувствованныхъ звуковъ неотвратимо-чарующаго голоса, онъ говоритъ:

„Русская правдивая душа звучала и дышала въ немъ и такъ и хватала всѣхъ за сердце, хватала прямо за его русскія струны...“ И слезы закипали у слушателя...

Пусть даже и часто, — но слезы, оказывается, могутъ быть вызваны у господина пѣніемъ какого-то черпальщика на бумажной фабрикѣ. И авторъ вложилъ въ своей рассказъ столько искренняго чувства, что ему нельзя не вѣрить, нельзя даже не позавидовать его впечатлѣніямъ. Въ мужикѣ открыты и сердце, и умъ, даже высшій цвѣтъ человѣческой жизни — поэзія. И все это — безъ всякихъ украшеній, цвѣтистыхъ рекомендацій со стороны обладателей этихъ сокровищъ и чувствительныхъ томленій и восторговъ автора. Простая, но гениальная исторія о простыхъ, но великихъ предметахъ!

Ивановъ.

Поэтическая прелесть языка и содержанія въ „Запискахъ охотника“.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ прислалъ въ редакцію одного изъ петербургскихъ журналовъ нѣсколько рассказовъ, вошедшихъ впослѣдствіи въ составъ сборника „Записки охотника“, впервые доставившаго ему всемірную извѣстность. Подобные эскизы и маленькія повѣсти продолжали впослѣдствіи появляться въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, не возбуждая никакого подозрѣнія относительно болѣе глубокихъ мотивовъ, положенныхъ въ ихъ основаніи авторомъ, не только въ публикѣ, но даже во всевѣдущей и всевидящей цензурѣ; всѣ видѣли въ рассказахъ молодого автора лишь блестящій литературный опытъ, чисто поэтическаго характера, полагавшій начало новой формѣ сочиненія въ русской литературѣ, и только замѣтили еще, что въ слогѣ молодого писателя, равно какъ и въ его пониманіи природы проглядывали слѣды вліянія Гоголя. Видно было, что рассказы охотника написаны по плану „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“. И дѣйствительно, это была все та же великая скорбная симфонія русской земли; однако въ этотъ разъ артистъ передавалъ ее совершенно въ другомъ родѣ. Въ его рассказахъ не было того ѣдкаго юмора, того безыскусственного, народнаго — пожалуй, даже вѣрнѣе было бы сказать, простонароднаго — характера въ языкѣ и въ изложеніи, наконецъ, тѣхъ горячихъ порывовъ восторженнаго чувства съ внезапными переходами къ горькой ироніи, которые составляютъ отличительную черту поэтическаго таланта Гоголя. У Тургенева нѣтъ ни гоголевскаго увлеченія, ни гоголевскаго веселья; весь тонъ повѣствованія у него какъ-то скромнѣе, сдержаннѣе. И ландшафты и люди показываются не при полномъ дневномъ свѣтѣ, а при блѣдномъ освѣщеніи вечерняго заката, сквозь воздушную дымку идеала, но вмѣстѣ съ тѣмъ очерчены совершенно отчетливо, какъ будто характеристическія линіи сконцентрируются въ зрачкѣ неутомимаго наблюдателя. Языкъ у Тургенева тоже безспорно богаче, гибче, мягче нежели у Гоголя; да собственно говоря, ни единый изъ русскихъ писателей до Тургенева не доходилъ до такой выразительности. Это не чистая и

ясная проза Пушкина, который въ свое время зачитывался Вольтеромъ и подчасъ находился подъ впечатлѣніемъ этого чтенія. Рѣчь Тургенева льется плавно и роскошно, подобно тому какъ стелется скатертью подъ сѣнью дремучихъ лѣсовъ, тихо и задумчиво, гармонично шумя въ прибрежныхъ камышахъ и распространяя вокругъ свои неуловимые ароматы, могучая русская рѣка, вынося на своей поверхности полевые цвѣты и оторванные гнѣзда, отражая въ себѣ безконечные ландшафты небесъ и луговъ, и вдругъ теряясь въ сумракѣ лѣсныхъ тѣней; все находитъ себѣ отраженіе въ этой рѣчи: и жужжаніе пролетѣвшей пчелки, и ночной крикъ лѣсной птицы, и случайно подувшій и замерзшій, ласкающій вѣтерокъ. При помощи неисчерпаемыхъ средствъ русскаго языка, путемъ мѣткихъ эпитетовъ, своеобразнѣйшихъ сочетаній словъ, какія только можетъ выдумать фантазія поэта, и ловкихъ народныхъ звукоподражательныхъ обозначеній, автору удастся воспроизводить самые неуловимые аккорды изъ необъятнаго регистра природы. Я настаиваю особенно на этой сторонѣ тургеневскаго таланта оттого, что, по моему мнѣнію, въ ней кроется главный секретъ огромнаго впечатлѣнія, произведеннаго его первенцемъ. Вся книга, „Записки охотника“, есть лишь одна нескончаемая пѣснь русской земли, со вторящимъ ей ропотомъ нѣсколькихъ несчастныхъ человѣческихъ душъ, силою художественнаго таланта автора воспроизведенная во всей своей непосредственности въ словахъ и образахъ; рассказчикъ заводитъ васъ въ сердце своей родины и оставляетъ васъ съ глазу на глазъ съ природой и людьми, самъ какъ бы совершенно исчезая. Вы не видите его, а вмѣстѣ съ тѣмъ вы чувствуете, что чья-то искусная рука предупредила васъ и позаботилась извлечь изъ глубины тайниковъ и сосредоточить на поверхности всѣхъ предметовъ ту присущую имъ сокровенную поэзію, пониманіе которой, при непосредственномъ созерцаніи, совсѣмъ ускользаетъ отъ большинства людей, не одаренныхъ исключительно сильной поэтической воспримчивостью, а въ данной передачѣ между тѣмъ открывается само собой самому невпечатлительному читателю.

Въ этомъ отношеніи особенно замѣчателенъ маленькій рассказъ, подъ названіемъ „Бѣжинъ лугъ“. „Бѣжинъ лугъ“ — это поляна, куда въ теплыя лѣтнія ночи крестьяне-подростки

выгоняють на пастбу своихъ лошадей. Охотникъ-разсказчикъ сбился съ пути въ вечернемъ туманѣ, и вотъ, послѣ долгаго блужданія по безлюднымъ пустошамъ, покрытымъ предательской ночной мглой, наконецъ, натывается на костеръ, разведенный среди болотъ, вокругъ котораго расположились маленькіе пастухи. Пришелецъ растягивается у огня, прикидывается, будто заснулъ, и между тѣмъ подслушиваетъ ихъ болтовню. Ребятишки, усѣвшись на корточкахъ кучкой около пылающаго костра, разсказываютъ другъ другу всякія страшныя „полуночныя“ исторіи. Не то, чтобы имъ было страшно, но смутный шопотъ ночи, поднимающійся съ береговъ рѣчонки, крикъ орлана, вой собаки, почуявшей приближеніе волка къ табуну, невольно вызываютъ въ ихъ темномъ воображеніи представленіе о другихъ, тоже незримыхъ и однако существующихъ силахъ, и вотъ, подъ впечатлѣніемъ висящей надъ ними жуткой тьмы, они начинаютъ припоминать всѣ многообразныя суевѣрія русской деревни. Они толкуютъ о *русалкахъ* — рѣчныхъ фелхъ, — о *лѣшемъ*, о *домовомъ* (особая разновидность „нечистаго“, обитающая въ человѣческихъ жилищахъ) и о своемъ сверстникѣ Ванѣ, утонувшемъ въ прошедшемъ году и теперь занимающемся сманиваніемъ маленькихъ рыбаковъ къ себѣ на дно ручья. Это что-то среднее между дѣтской сказкой, какими няни убаюкиваютъ маленькихъ ребятъ, и фантастической повѣстью Гофмана, съ тѣмъ отличіемъ, что тонъ повѣствованія естественнѣе, такъ сказать, серіознѣе. Прежде всего, поэтъ съ удивительнымъ искусствомъ приводитъ читателя въ требуемое настроеніе. Онъ заставляетъ говорить раньше природу, а потомъ дѣтей, и выходитъ, что природа и дѣти разсказываютъ однѣ и тѣ же вещи. Собственно говоря, суевѣрные малыши являются лишь выразителями древняго славянскаго міросозерцанія; они пересказываютъ на свой манеръ „Слово о полку Игоревѣ“ — пантеистическую эпопею сѣдой старины, отъ которой ведетъ свое происхожденіе вся русская поэзія. Между тѣмъ ночь близится къ концу, воображеніе утомилось, пробуждающійся день приободряетъ оробѣвшихъ ребятишекъ, и великолѣпное описаніе солнечнаго восхода завершаетъ блестящимъ заключительнымъ аккордомъ фантастическую минорную симфонію.

■ Можетъ быть, вы предпочитаете болѣе трогательную жи-

тейскую тему? Въ такомъ случаѣ прочтите рассказъ „Живыя мощи“. Охотникъ случайно забрелъ въ заброшенный каретный сарай и въ полумракѣ натывается на какой-то жалкій, безформенный, неподвижный предметъ, въ которомъ узнаетъ старую дворовую дѣвушку своей матери, когда-то красавицу и хохотунью, а теперь разбитую параличемъ, снѣдаемую мучительнымъ недугомъ. Этотъ забытый скелетъ лежитъ тутъ подъ полуобрушившимся навѣсомъ, лишенный всякихъ связей съ внѣшнимъ міромъ, оставленный всѣми; всѣ потребности его свелись къ кувшину воды, которую добрые люди отъ времени до времени приносятъ и перемѣняютъ. Присутствіе жизни проявляется въ немъ уже только въ глазахъ, сохранившихъ еще способность видѣть и выражать движенія души, и въ слабомъ подобіи голоса, „напоминающимъ шелестъ листьевъ болотной осоки“. И между тѣмъ въ этой жалкой развалинѣ живетъ возвышенная душа, просвѣтленная страданіемъ, божественно смиренная и въ то же время нисколько, въ своемъ абсолютномъ отреченіи отъ всего земного, не утратившая своей примитивной „мужицкой“ простоты. Лукерья рассказываетъ про свое несчастье: какъ однажды она отправлялась ночью послушать соловья и притомъ упала; какъ послѣ того впервые схватилъ ее злой недугъ; какъ всѣ отправленія ея тѣла, всѣ ея житейскія радости стали отмирать однѣ за другими; какъ женихъ ея грустилъ, грустилъ и потомъ женился на другой: да и что же ему было дѣлать? Она полагаетъ, что онъ нашелъ счастье въ женитьбѣ! Какъ, вотъ уже много лѣтъ, все развлеченіе ея состоитъ въ томъ, чтобы слушать звонъ колоколовъ сельской церкви и жужжаніе пчелъ на сосѣдней пасѣкѣ. Какъ изрѣдка какая-нибудь ласточка залетитъ подъ ея навѣсъ, и тогда это большое событіе даетъ пищу ея мысли на нѣсколько недѣль. Какъ добры люди, которые приносятъ ей воду, и какъ она признательна имъ за ихъ вниманіе. Она добродушно, почти весело, начинаетъ вспоминать съ молодымъ бариномъ старыя времена, напоминаетъ не безъ тщеславія, что была первой плясуньей и первой пѣвуньей на селѣ, и подъ конецъ до того оживляется, что хочетъ попробовать спѣть вполголоса одну изъ пѣсенъ, которую, бывало, пѣвала въ хороводѣ. „Мысль, что это полумертвое существо готовится запѣть, возбуждала во мнѣ

невольный ужасъ. Но прежде чѣмъ я могъ промолвить слово,— въ ухахъ моихъ задрожалъ протяжный, едва слышный, но чистый и вѣрный звукъ... за нимъ послѣдовалъ другой, третій. „Во лугахъ“ пѣла Лукерья. Она пѣла, не измѣнивъ выраженія своего окаменѣлаго лица, уставивъ даже глаза. Но такъ трогательно звѣнѣлъ этотъ бѣдный усиленный, какъ струйка дыма, колебавшійся голосъ, такъ хотѣлось ей всю душу вылить... Уже не ужасъ чувствовалъ я: жалость несказанная стиснула мнѣ сердце“.

Затѣмъ Лукерья рассказываетъ свои нехорошіе сны, между прочимъ, какъ ей приснилось, что она умерла. И не то, чтобы смерть ее ужасала, напротивъ, она удалялась и отказывалась избавить ее.

Больная отклоняетъ всѣ предложенія помощи со стороны барина; она ничего не желаетъ, ни въ чемъ не нуждается, всѣмъ и всѣми довольна: но когда посѣтитель собирается уходить, она бросаетъ ему вдогонку одну послѣднюю фразу, въ которой сказывается бывшая женщина: несчастная, видите ли, сознаетъ, какое тяжелое впечатлѣніе должно производить ея изуродованное тѣло, и въ ней пробуждается желаніе отыскать въ себѣ какіе-нибудь слѣды своей исчезшей красоты. — „Помните, баринъ, какая у меня была коса? Помните — до самыхъ колѣнъ! Я долго не рѣшалась... Этакіе волосы!... Но гдѣ же ихъ было расчесывать? Въ моемъ-то положеніи!... Такъ ужъ я ихъ обрѣзала... Да... Ну, простите, баринъ. Больше не могу...“

Я воображаю, какимъ образомъ воспользовались бы тѣмъ же сюжетомъ представители различныхъ нашихъ литературныхъ школъ. Романтикъ добраго стараго времени сосредоточилъ бы все свое стараніе на изображеніи жестокаго рока, обрушившагося на несчастное созданіе. Онъ представилъ бы намъ больную въ видѣ живого протеста противъ существующаго строя вселенной, сдѣлалъ бы изъ нея страждущее чудовище, женщину-квазимодо. Другіе — тѣ, среди которыхъ Тургеневу пришлось прожить закатъ своихъ дней, — воспользовались бы удобнымъ случаемъ для того, чтобы прочесть намъ курсъ описательной патологии; они проанатомировали бы послѣдовательно всѣ отсохшіе члены, обнажили бы всѣ скрытыя язвы, изслѣдовали бы тщательно отмерзшія группы нервной системы, и въ результатъ несчастная вышла бы, у нихъ, на-

вѣрное, лишь утратившей человѣческій обликъ идиоткой, и только. Писатель съ сильнымъ религіознымъ направленіемъ преобразилъ бы несчастную въ святую мученицу; представилъ бы намъ ее съ сіяніемъ на челѣ, погруженную въ мистическое созерцаніе, — однимъ словомъ, живущею однѣми небесными радостями. Тургеневъ избѣжалъ заблужденій, какъ тѣхъ, такъ и другихъ: онъ скромно обходитъ подробности физическаго страданія, онъ говоритъ о немъ полусловами, накидываетъ покрывало на трупъ; мы и безъ того чувствуемъ, что имѣемъ дѣло съ одними останками тѣла, видя эту совершенно обнаженную душу, лишенную плоти. Въ его описаніи мы не встрѣчаемъ ни патетическихъ обращеній, ни антитезъ, и вообще ни одного изъ излюбленныхъ приемовъ, употребляемыхъ другими писателями съ цѣлью искусственнаго усиленія впечатлѣнія и пораженія воображенія читателя; читатель видитъ передъ собою все время лишь обыкновенное житейское несчастіе — и только. Что касается религіозной стороны, мы видимъ, что кроткая страдальца далека отъ мысли вмѣшивать Бога въ свои мелкія, житейскія бѣды; она и молится ему такъ, какъ привыкла молиться всегда, самымъ обыкновеннымъ образомъ, не выказывая отнюдь больше религіозности, чѣмъ какой можно было ожидать во всякой другой русской крестьянской женщинѣ, которой, вообще, положительно чужда мистика. Идея всего разсказа, какъ и большинства другихъ разсказовъ Тургенева — идея стоическая, немного животная покорность судьбѣ, составляющая отличительную черту русскаго крестьянина, его постоянная готовность безропотно вынести всякое страданіе. При этомъ, однако, высокое дарованіе разсказчика сказывается въ замѣчательномъ соблюденіи мѣры какъ въ реальности, такъ и въ идеализаціи. Авторъ остается безусловно вѣренъ истинѣ въ каждой отдѣльной подробности, рисуя намъ всегда лишь обыкновеннаго средняго человѣка, а въ то же время общее впечатлѣніе получается въ нѣкоторомъ родѣ идеальное. Подобнаго же ангельски кроткаго страдальца авторъ выводитъ въ другомъ очеркѣ, принадлежащемъ къ той же серіи, озаглавленномъ „Уздный лѣкарь“; и опять же мы видимъ то же строго выдержанное чувство мѣры. Отдѣльные отрывочные очерки, печатавшіеся подъ общимъ заголовкомъ „Записки охотника“, впоследствии вышли въ одномъ томѣ, и

вотъ тогда-то читатели, до тѣхъ поръ еще сомнѣвавшіеся, поняли, наконецъ, сокровенную идею произведенія, т.-е. увидѣли, что авторъ задался цѣлью обнаружить истинный смыслъ, скрытый Гоголемъ въ „Мертвыхъ душахъ“. Какъ иначе назовете вы эту галерею портретовъ невѣжественныхъ и жестокихъ эгоистовъ-дворянъ, плутовъ-управляющихъ, праздныхъ воровъ-чиновниковъ и, изнывающихъ подъ гнетомъ всей этой стаи мелкихъ хищниковъ, жалкихъ плутовъ, — паріевъ чловѣческаго общества, надрывающихъ вамъ душу своимъ убожествомъ и покорностью. Самый планъ изложенія — потому что какъ бы онъ ни былъ замаскированъ, а во всемъ произведеніи все же существуетъ строго выдержанный планъ — былъ тоже совсѣмъ тотъ же, что въ безсмертномъ произведеніи великаго юмориста. Авторъ показываетъ въ пестромъ калейдоскопѣ подъ всевозможными углами зрѣнія жалкую креатуру, которая возбуждаетъ въ зрителѣ то смѣхъ, то состраданіе, не имѣющую потребностей ни средствъ, блуждающую въ потемкахъ; и рядомъ съ работою вырисовывается не менѣ жалкій манекенъ полуцивилизованнаго рабовладѣльца, въ сущности добраго малаго, но творящаго зло по невѣдѣнію, исковерканнаго фатальной средой. Картина, собственно говоря, должна была бы получиться отвратительная, оталкивающая; но писатель почти совершенно безсознательно смягчилъ впечатлѣніе нѣсколькими изъ тѣхъ прелестныхъ чарующихъ поэтическихъ штриховъ, которые составляютъ почти произвольную, органическую особенность его дарованія. Но въ чемъ же кроется истинная причина надломленности, ненормальности всѣхъ выведенныхъ типовъ? Откуда взялась эта маларія въ русской землѣ? Какая болѣзнь породила эти язвы? Разрѣшеніе этихъ вопросовъ Тургеневъ предоставляет прозорливости читателя. Было бы неточно сказать, что Тургеневъ *нападалъ* на крѣпостное право. Русскіе писатели, вслѣдствіе ли внѣшнихъ условій, въ которыхъ поставлена русская литература, или вслѣдствіе своеобразнаго направленія своего таланта, — никогда открыто не нападаютъ на что бы то ни было. У нихъ не въ обычаѣ ораторствовать и обвинять: они пишутъ объективно дѣйствительность, не дѣлая сами никакихъ заключеній, обращаясь не столько къ негодованію, сколько къ состраданію своихъ читателей. Двадцать лѣтъ спустя Достоевскій выпустилъ въ свѣтъ подъ

заглавіемъ „Записки изъ мертваго дома“ свои ужасныя воспоминанія о десяти лучшихъ годахъ жизни, проведенныхъ въ сибирскихъ рудникахъ, и вы увидите опять то же невозмутимое спокойствіе, то же отсутствіе злобы и желчи. Право, авторъ находитъ совершенно естественными всѣ ужасы, которые описываетъ, развѣ, пожалуй, согласится съ вами, что картина дѣйствительно печальна. Эта безграничная покорность вездѣ и во всемъ, какъ я уже говорилъ, есть характеристическая черта, присущая всему русскому племени. Однажды, отдыхая съ дороги, въ одной гостиницѣ въ городѣ Орлѣ, на родинѣ нашего автора, я былъ разбуженъ внезапнымъ барабаннымъ боемъ, раздавшимся съ улицы. Я выглянулъ на базарную площадь и увидѣлъ посреди площади позорный столбъ, въ видѣ высокой черной колонны, воздвигнутой на деревянномъ помостѣ, окруженный войсками, выстроенными въ карре, и толпой народа, а къ столбу были привязаны три несчастныхъ парня, съ ярлыками на груди, на которыхъ значились совершенныя ими злодѣянія. Преступники имѣли очень безобидный видъ и какъ бы не сознавали того, что происходило съ ними. Они, право, производили даже очень красивое впечатлѣніе, привязанные къ этому столбу, своими симпатичными головами. Выставка продолжалась такимъ образомъ довольно долгое время, затѣмъ священникъ благословилъ преступниковъ, и послѣднихъ посадили въ телѣжку и повезли назадъ въ острогъ, а солдаты и народъ бросились за ними, осыпая ихъ различными приношеніями въ видѣ всевозможной провизіи и денегъ и самыми теплыми выраженіями участія и собоулѣзнованія.

Вотъ такимъ же путемъ дѣйствуютъ въ Россіи и писатели, когда желаютъ добиться какого-нибудь преобразованія: они выставляютъ недуги своей родины къ позорному столбу и въ это же время не могутъ удержаться отъ порывовъ снисхожденія ко злу, которое бичуютъ, разоблачаютъ. Публика слушаетъ и понимаетъ ихъ съ полуслова.

Она поняла и въ этотъ разъ. Крѣпостническая Россія ужаснулась, увидѣвши свое отраженіе въ подставленномъ зеркалѣ, и содрогнулась изъ конца въ конецъ. Авторъ сразу прославился, а дѣло, на защиту котораго онъ выступилъ, было наполовину выиграно.

Къ этому времени подоспѣла смерть Гоголя, и Тургеневъ посвятилъ памяти покойнаго горячую статью. Въ наше время

его статья показалась бы весьма безобидною; между прочимъ, она безпрепятственно помѣщена въ полномъ собраніи его сочиненій. Мало того, безъ предупрежденія мы даже не сумѣли бы отыскать инкриминируемаго мѣста, если бы самъ преступникъ не выдалъ намъ въ одной веселой замѣткѣ тайны своего преступленія.

„По поводу этой статьи, я помню, какъ однажды въ Петербургѣ одна очень высокопоставленная дама порицала взысканіе, которому я былъ подвергнутъ, называя его незаслуженнымъ или, по крайней мѣрѣ, слишкомъ строгимъ. Такъ какъ она горячо защищала меня, то кто-то сказалъ ей: — Вы, значить, не знаете, что въ этой статьѣ онъ называетъ Гоголя *великимъ человекомъ*. — Это невозможно! — Я васъ увѣряю. — Ахъ! въ такомъ случаѣ я не могу ничего сказать. Мнѣ очень жаль, но я понимаю, что его должны были запереть“.

За эпитетъ „великій“, приложенный къ имени простого сочинителя, Тургеневъ заплатилъ мѣсячнымъ арестомъ, а затѣмъ ему посовѣтовали отправиться въ свое имѣніе, „на размышленіе“. Тургеневъ, вѣроятно, подумалъ въ то время, что какъ нашъ міръ дурно устроенъ: вѣдь мы всегда несправедливы къ власти, желающей намъ добра. Между тѣмъ надо сознаться, что иногда произволъ власти оказывается намъ больше на пользу, чѣмъ наши собственные намѣренія. Административныя предписанія не разъ уже играли роль орудій исполненія предначертаній Провидѣнія по отношенію къ великимъ писателямъ. За тридцать лѣтъ до того ссылка спасла Пушкина, оторвавши поэта отъ разсѣянной свѣтской жизни, которую онъ велъ въ Петербургѣ, рискуя совсѣмъ утратить свой талантъ, и удаленіемъ его на востокъ создавши тѣ условія, подъ вліяніемъ которыхъ его художественное дарованіе въ послѣдствіи получило такой пышный расцвѣтъ. Точно такъ же, если бы и Тургеневъ въ то время остался въ столицѣ, его юношескій пылъ и компрометирующія знакомства, пожалуй, еще вовлекли бы его въ какую-нибудь бесплодную политическую передрагу; насильственное же возвращеніе къ деревенскому уединенію побудило его опять приняться серьезно за изученіе скромнаго быта русской провинціи и увѣковѣчить свои наблюденія въ своихъ первыхъ большихъ романахъ.

Мельхиоръ де-Вогюэ.

Поэтический идеализм и рельефная действительность въ „Запискахъ охотника“.

Въ 1852 году появились въ двухъ томахъ „Записки охотника“, до того времени печатавшіяся въ видѣ отдѣльныхъ рассказовъ.

Въ обыденномъ смыслѣ слова, этотъ сборникъ рассказовъ нельзя назвать тенденціознымъ произведеніемъ. Авторъ, по-видимому, нисколько не возмущается постыдностью самаго института рабства, грубостью, наивной жестокостью и сознательной безнравственностью мучителей народа. Онъ не ратуетъ за дѣло освобожденія и не возстаетъ противъ тиранствующихъ помѣщиковъ и помѣщицъ. Онъ рассказываетъ просто и кратко, съ неподражаемымъ искусствомъ и съ убѣдительною силою истины, все, что онъ видѣлъ и пережилъ на родинѣ. Онъ заставляетъ господъ, чиновниковъ, а также и всѣхъ, которые страдаютъ, благодаря имъ или вслѣдствіе установленнаго порядка, жить, дѣйствовать, говорить, на нашихъ глазахъ такъ, какъ они дѣлаютъ это въ дѣйствительной жизни. И, однако, ни одна краснорѣчивая обвинительная рѣчь, проникнутая самымъ справедливымъ негодованіемъ, не возбуждала такого глубокаго отвращенія къ ненавистному злу, которое она должна была побѣдить и уничтожить, не могла привести къ сознанію страшнаго позора крѣпостничества успѣшнѣе, чѣмъ эти простые, рисованныя съ натуры картинки поэта. Но не всѣ произведенія названнаго сборника проникнуты этимъ духомъ. Не менѣе многочисленны мелкія повѣсти, полны невиннаго юмора и добродушной прелести. Тамъ можно найти и мрачныя, потрясающія исторіи, въ которыхъ трагическій мотивъ заключается не въ крѣпостничествѣ и не въ тогдашнихъ соціальныхъ и политическихъ отношеніяхъ Россіи. Во всѣхъ этихъ рассказахъ встрѣчаются картины природы, полныя освѣжающей прелести и самаго законченнаго мастерства въ изображеніи душевныхъ настроеній, вызываемыхъ природой. Въ „Запискахъ охотника“ видна уже вполне достигшая художественной зрѣлости индивидуальность Тургенева. Въ этихъ рассказахъ такъ же, какъ и въ послѣдующихъ крупныхъ произведеніяхъ его, мы замѣчаемъ уже чудесное сліяніе поэтическаго идеализма и мечтательныхъ

образовъ съ яснымъ созерцаніемъ дѣйствительности, богатства наблюденій съ мѣткой изобразительностью, способность немногими словами сказать все, что нужно, и нарисовать яркую картину — свойства, въ которыхъ такъ нуждается большая часть рассказчиковъ.

Пичъ.

Крѣпостное право и „Записки охотника“.

Тургеневъ, какъ извѣстно, провелъ дѣтство и юность въ самой крѣпостнической обстановкѣ; его родители крайне сурово относились къ своимъ людямъ, такъ что, по его собственному свидѣтельству, онъ выросъ „среди побоевъ и истязаній“. Любопытно, что обязанный крѣпостному труду тѣмъ благосостояніемъ, которое окружало его съ дѣтства, онъ и любовью къ литературѣ отчасти обязанъ крѣпостному камердинеру, который читалъ ему украдкой гдѣ-нибудь въ саду или въ дальней комнатѣ „Россіаду“ Хераскова. Окончивъ курсъ въ Московскомъ университетѣ, Тургеневъ отправился для ознакомленія съ настоящей наукой въ Берлинъ, гдѣ сошелся со Станкевичемъ и Грановскимъ. Судя по тому, какъ Станкевичъ относился къ крѣпостному праву въ это время, можно думать, что онъ имѣлъ вліяніе на Тургенева и въ этомъ отношеніи.

Въ 1840 году, послѣ непродолжительнаго пребыванія въ Россіи и поѣздки въ Италію, Тургеневъ снова вернулся въ Берлинъ и слушалъ тамъ лекціи вмѣстѣ съ извѣстнымъ М. Бакунинымъ еще около года. Жизнь и серьезныя занятія за границей не прошли для Тургенева безслѣдно: онъ сталъ совершенно отрицательно относиться къ той „помѣщичьей, крѣпостной“ средѣ, къ которой принадлежалъ по своему происхожденію. „Почти все, что я видѣлъ вокругъ себя, — говоритъ онъ, — возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія, отвращенія, наконецъ... Я бросился внизъ головою въ „нѣмецкое море“, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, наконецъ, вынырнулъ изъ его волнъ, я все-таки очутился „западникомъ“ и остался имъ навсегда“. Возвратившись изъ-за границы въ 1841 году, Тургеневъ познакомился въ Москвѣ съ славянофильскимъ кружкомъ, но уже тогда отрицательно отнесся къ нему и, напротивъ,

близко сошелся съ западниками, къ числу которыхъ принадлежали Грановскій, Бѣлинскій, Герценъ и др. Тургеневъ попробовалъ было служить въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, но не выдержалъ болѣе двухъ лѣтъ. Его, какъ и нѣкоторыхъ другихъ, имѣвшихъ средства покинуть *тогдашнюю* Россію, потянуло въ западную Европу. „Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ, — говоритъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ, — для этого у меня, вѣроятно, не доставало надлежащей выдержки, твердости, характера. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага затѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца, съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться... Это была моя аннибаловская клятва; и не я одинъ далъ ее тогда себѣ. Я и на Западъ ушелъ для того, чтобы лучше ее исполнить... „Записки охотника“ были написаны мною за границей; нѣкоторыя изъ нихъ — въ тяжелыя минуты раздумья о томъ, вернуться ли мнѣ на родину, или нѣтъ“.

Первый очеркъ изъ „Записокъ охотника“, „Хоръ и Калинычъ“, былъ напечатанъ въ 1-мъ №-ѣ „Современника“ 1847 года, т.-е. всего черезъ мѣсяцъ послѣ появленія повѣсти Григоровича „Деревня“, слѣдовательно (тѣмъ болѣе, что Тургеневъ жилъ въ это время за границей), нельзя никоимъ образомъ предполагать, что обращеніе къ очеркамъ изъ народной и крѣпостной среды было сдѣлано авторомъ подъ вліяніемъ повѣсти Григоровича. Совпаденіе двухъ молодыхъ писателей въ новомъ направленіи ихъ дѣятельности служить лучшимъ доказательствомъ того, что такія произведенія, дѣйствительно, вызывались настоятельно потребностью времени. Впрочемъ, въ первомъ очеркѣ Тургенева крѣпостное право задѣвается лишь мимоходомъ. Помѣщикъ позволяетъ Хорю поселиться особнякомъ на болотѣ, обложивъ его оброкомъ въ 50 руб. въ годъ, а когда тотъ разбогатѣлъ, то оброкъ увеличивается вдвое. Но откупаться на свободу Хоръ не хочетъ, считая, повидимому, чиновниковъ болѣе опасными для себя, чѣмъ власть помѣщика. Хваля

своего помѣщика, очевидно, изъ дипломатіи, Хорь, однакоже, посмѣивается надъ Калинычемъ, что баринъ, гоняя его съ собою на охоту, не даетъ ему не только на сапоги, но и на лапти, и только „въ прошломъ году гривенникъ пожаловалъ“. Очеркъ этотъ очень понравился Бѣлинскому. „Хорь общается въ васъ замѣчательнаго писателя въ будущемъ“, писалъ онъ автору. И позже Бѣлинскій печатно называлъ этотъ очеркъ лучшимъ изъ всѣхъ „Записокъ охотника“. „Хорь и Калинычъ“ вызвалъ въ высшей степени сочувственный отзывъ даже въ „Москвитинѣ“, до тѣхъ поръ относившемся къ Тургеневу за его западничество враждебно. Въ статьѣ „О мнѣніяхъ „Современника“ историческихъ и литературныхъ“, подписанной буквами М... З... К... и принадлежавшей перу Самарина, рассказъ былъ названъ превосходнымъ, и о немъ было сказано: „Вотъ что значитъ прикоснуться къ землѣ и къ народу: вмигъ дается сила! Пока Тургеневъ толковалъ о своихъ скучныхъ люб-
вяхъ да разныхъ апатіяхъ, о своемъ эгоизмѣ, все выходило вяло и безталанно; но онъ прикоснулся къ народу, — прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ, и посмотрите, какъ хорошъ его рассказъ! Талантъ, таившійся въ сочинителѣ, скрывавшійся во все время, пока онъ силился увѣрить другихъ и себя въ отвлеченныхъ и потому небывалыхъ состояніяхъ души, — этотъ талантъ вмигъ обнаружился, и какъ сильно и прекрасно, когда онъ заговорилъ о другомъ! Всѣ отдадутъ ему справедливость, по крайней мѣрѣ, мы спѣшимъ сдѣлать это. Дай Богъ Тургеневу продолжать по этой дорогѣ!“

Гораздо рѣзче, чѣмъ въ „Хорѣ и Калинычѣ“, задѣто крѣпостное право въ слѣдующемъ очеркѣ „Записокъ охотника“ — „Петръ Петровичъ Каратаевъ“. Содержаніе его слѣдующее: одинъ дворянинъ влюбился въ крѣпостную дѣвушку сосѣдней помѣщицы, и она полюбила его. Помѣщица не соглашается продать ее ни за какія деньги и ссылаетъ въ степную деревню; однако герой рассказа уговариваетъ ее бѣжать, несмотря на опасеніе, что за это соплютъ ея брата. Однако счастье влюбленной парочки продолжается лишь нѣсколько мѣсяцевъ: помѣщица узнаетъ о мѣстопробываніи своей крѣпостной, подаетъ жалобу о прожительствѣ ея бѣглой дѣвки у дворянина Каратаева; тотъ тратитъ

множество денегъ на задариваніе мѣстной администраціи и входить въ долги, но, наконецъ, его возлюбленная рѣшается сама выдать себя, чтобы спасти его отъ окончательнаго разоренія. Каратаевъ спивается, а несчастную дѣвушку, безъ сомнѣнія, замучиваютъ или ссылаютъ: авторъ ничего не говоритъ о ея дальнѣйшей судьбѣ, но весь ужасъ ея положенія и безъ того понятенъ читателю. Очеркъ этотъ также понравился Бѣлинскому: въ обзорѣ русской литературы за 1847 г., напечатанномъ въ „Современникѣ“, онъ говоритъ, что въ немъ „талантъ автора высказался съ такою же полнотою, какъ въ лучшихъ изъ рассказовъ охотника.

Въ 6-мъ №-ѣ „Современника“ 1847 года появился новый рассказъ Тургенева: „Ермолай и мельничиха“. Помѣщица положила себѣ за правило не держать замужнихъ горничныхъ; она и ея мужъ не отступаютъ отъ этого правила и ради ея любимой горничной, десять лѣтъ вѣрою и правдою ей служившей и умоляющей позволить ей выйти замужъ за ихъ же лакея, при чемъ эта горничная могла бы, слѣдовательно, попрежнему продолжать исполненіе своихъ обязанностей. Любовь беретъ, однако, свое, и тогда въ наказаніе ей остригаютъ косу, одѣваютъ въ затрапезное платье и ссылаютъ въ деревню. Съ негоднаго къ работѣ „лядящаго“ Ермола, — другой герой этого рассказа, — казалось бы, господамъ взять нечего: ему дозволяется жить, гдѣ онъ хочетъ, съ обязанностью, однако, доставлять на господскую кухню разъ въ мѣсяцъ пары двѣ тетеревей и куропатокъ, при чемъ „пороху и дроби ему... не выдавали, слѣдуя тѣмъ же правиламъ, въ силу которыхъ и онъ не кормилъ своей собаки“. Бѣлинскому очеркъ понравился; но нужно замѣтить, что, вообще, при всемъ сочувствіи его къ Тургеневу, Бѣлинскому не удалось вполне оцѣнить его талантъ; это особенно замѣтно, если сравнить его отзывы о Тургеневѣ съ его же отзывами о Григоровичѣ. „Мнѣ кажется, — писалъ онъ Тургеневу, — у васъ чисто творческаго таланта или нѣтъ, или очень мало, и вашъ талантъ однороденъ съ Далемъ. Это вашъ настоящій родъ. Вотъ хоть бы „Ермолай и мельничиха“: не Богъ знаетъ что — бездѣлка, а хорошо, потому что умно и дѣльно, съ мыслию“. Бѣлинскій горячо поддерживалъ Тургенева въ новомъ направленіи его дѣятельности: „найти свою дорогу“, — писалъ онъ ему, — узнать свое

мѣсто, — въ этомъ все для человѣка, это для него значитъ сдѣлаться самимъ собою“.

Изъ очерка „Льговъ“, напечатаннаго въ той же книжкѣ „Современника“, мы узнаемъ горемычную судьбу одного двороваго. Онъ началъ свою службу барину казачкомъ, потомъ былъ послѣдовательно фореиторомъ, садовникомъ и доѣзжачимъ. Бѣдя съ собаками, онъ упалъ вмѣстѣ съ лошадыю: и самъ ушибся, и лошадь зашибъ; за это баринъ велѣлъ его выпоротъ и отдать въ ученье въ Москву къ сапожнику, несмотря на то, что ему было тогда болѣе двадцати лѣтъ. Когда старый баринъ скоро умеръ, его вернули въ деревню, и затѣмъ лѣтъ двадцать имъ владѣла дочь этого помѣщика. У нея онъ былъ поваромъ, никогда не учась кулинарному искусству, а затѣмъ кофешенкомъ, т.-е. состоялъ при буфетѣ, при чемъ барыня даже переименовала его изъ Кузмы въ Антона; исполнялъ онъ и обязанности актеровъ, но за то, что братъ его сбѣжалъ, былъ опять разжалованъ въ повара. Жениться дворовымъ барыня никому не позволяла, говоря: „Вѣдь живу же я такъ въ дѣвкахъ, что за баловство! чего имъ надо!“ Когда эта барыня продала свое имѣніе другому помѣщику, дворовый, о которомъ идетъ рѣчь, продолжалъ исполнять обязанности повара, а при его наслѣдникѣ сдѣланъ былъ кучеромъ. Но тутъ имѣніе было опять продано новой барынѣ, которая нашла, что кучеромъ ему быть неприлично и превратила его въ рыболова, приказавъ сбрить бороду и содержать прудъ въ порядкѣ. Жалованья онъ не получалъ, ему выдавались только харчи, но онъ былъ совершенно доволенъ барскою милостью, особенно сравнивая свою жизнь съ судьбою другого старика, котораго барыня приказала поставить на бумажную фабрику, такъ какъ „грѣшно даромъ хлѣбъ ѣсть“. Тутъ вся исторія жизни дворовыхъ: господа распоряжаются ихъ личностью, какъ имъ придетъ въ голову, заставляютъ исполнять самыя разнообразныя обязанности, къ которымъ тѣ вовсе и не подготавливались, и, между тѣмъ, строго взыскиваютъ не только за ихъ собственныя ошибки, но даже и за провинности ихъ родственниковъ, и, въ то же время, вмѣсто всякой награды, отказываютъ имъ въ удовлетвореніи даже такихъ естественныхъ желаній, какъ вступленіе въ бракъ. Это рабы въ полномъ смыслѣ слова, которыхъ господинъ можетъ ли-

шить, по своему капризу, даже имени, даннаго при крещеніи, и замѣнить его другимъ. Этотъ сжатый очеркъ ужасной судьбы дворовыхъ проникнуть не презрѣніемъ къ этимъ несчастнымъ, а самымъ теплымъ сочувствіемъ и состраданіемъ.

Минуя тѣ очерки изъ „Записокъ охотника“, въ которыхъ авторъ не затрагиваетъ крѣпостного права, мы переходимъ къ напечатанному въ 10-мъ № „Современника“ 1847 года разсказу „Бурмистръ“. Въ концѣ его помѣта: „Зальцбруннъ въ Силезіи, іюль 1847 года“. Это мѣсто было памятно автору тѣмъ, что въ концѣ мая онъ привезъ сюда больного Бѣлинскаго, котораго, впрочемъ, скоро сдалъ на руки П. В. Анненкова и который уѣхалъ оттуда 3-го іюля; разсказъ, если не оконченъ, то, по крайней мѣрѣ, начатъ при Бѣлинскомъ, и, по всей вѣроятности, не случайность, въ виду особенно живаго интереса въ это время Бѣлинскаго къ крестьянскому вопросу, что очеркъ этотъ изъ „Записокъ охотника“ рѣзко задѣваетъ крѣпостное право и чрезвычайно живо рисуетъ выросшихъ на его почвѣ звѣрей-помѣщиковъ и звѣрей-кулаковъ изъ тѣхъ же крѣпостныхъ. Какъ хорошъ, напр., помѣщикъ Пѣночкинъ:

„Аркадій Павлычъ, говоря собственно его словами, строго, но справедливо, о благѣ подданныхъ своихъ печется и наказываетъ ихъ для ихъ же блага. „Съ ними надобно обращаться, какъ съ дѣтьми!— говоритъ онъ въ такомъ случаѣ.— Невѣжество, *mon cher; il faut prendre cela en considération*“, Самъ же, въ случаѣ такъ называемой печальной необходимости, рѣзкихъ и порывистыхъ движеній избѣгаетъ и голоса возвышать не любитъ, но болѣе тычетъ рукою прямо, спокойно приговаривая: „вѣдь я тебя просилъ, любезный мой“, или: „что съ тобою, другъ мой, опомнись“, при чемъ только слегка стискиваетъ зубы и кривить ротъ... Дворовые люди Аркадія Павлыча посматриваютъ, правда, что-то исподлобья, но у насъ на Руси угрюмаго отъ заспаннаго не отличишь“.

Примѣненіе на дѣла административныхъ принциповъ г. Пѣночкина прекрасно рисуется въ слѣдующей сценѣ:

„— Отчего вино не нагрѣто?— спросилъ онъ довольно рѣзкимъ голосомъ одного изъ камердинеровъ.

„Камердинеръ смѣшался, остановился, какъ вкопанный, и поблѣднѣлъ.

„— Вѣдь, я тебя спрашиваю, любезный мой?— спокойно продолжалъ Аркадій Павлычъ, не спуская съ него глазъ.

„Несчастный камердинеръ помялся на мѣстѣ, покрутилъ салфеткой и не сказалъ ни слова. Аркадій Павлычъ потупилъ голову и задумчиво посмотрѣлъ на него исподлобья.

„— Pardon, mon cher, — промолвилъ онъ съ пріятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колѣна, и снова уставился на камердинера. — Ну, ступай, — прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанія, поднявъ брови, и позвонилъ.

„Вошелъ человѣкъ толстый, смуглый, черноволосый, съ низкимъ лбомъ и совершенно заплывшими глазами.

„— Насчетъ Федора... распорядиться, — проговорилъ Аркадій Павлычъ вполголоса и съ совершеннымъ самообладаніемъ“.

Если бы за подлинность подобныхъ типовъ не была достаточною порукой художественная правда произведеній Тургенева, то мы могли бы еще указать читателямъ на изображеніе подобной же личности въ мемуарахъ сельскаго священника, напечатанныхъ въ „Русской Старинѣ“. Оригиналъ этого послѣдняго, г. Б., съ такимъ же спокойствіемъ истязалъ своихъ крѣпостныхъ и, между прочимъ, своихъ собственныхъ актеровъ и актрисъ.

Если дворовые г-на Пѣночкина страдали отъ его тяжелой руки, то крестьяне одного изъ его имѣній, платившіе при маломъ количествѣ земли такой оброкъ, что самъ господинъ удивлялся, какъ они сводятъ концы съ концами, были отданы на жертву бурмистру, столь же самовластно распоряжающемуся съ крестьянами, какъ управляющій въ повѣсти Григоровича „Антонъ Горемыка“, нанечатанной позже мѣсяцемъ въ томъ же „Современникѣ“. Крестьянинъ жалуется, что невзлюбившій его за то, что онъ повздорилъ съ нимъ на сходкѣ, бурмистръ въ конецъ разорилъ его: отдалъ безъ очереди въ рекруты двухъ сыновей, — отнимаетъ и третьяго; онъ же свелъ со двора послѣднюю корову; взнесъ за него однажды недоимку, бурмистръ уже пятый годъ держитъ его въ кабалѣ. Ужасно было положеніе и другихъ: по разсказу посторонняго мужика бурмистръ ими, „какъ своимъ добромъ владѣть“. Крестьяне ему кругомъ должны; работаютъ на него, словно батраки.

Въ напечатанномъ одновременно съ „Бурмистромъ“ очеркъ „Контора“ авторъ изображаетъ представителей крѣпостной бюрократіи; главный конторщикъ также имѣетъ нѣкоторое сходство съ управителемъ въ повѣсти „Антонъ Горемыка“: какъ тотъ беретъ взятки съ мельника, такъ этотъ корыстуетъ отъ купца при продажѣ ему барскаго хлѣба и отъ крѣпостныхъ крестьянъ-плотниковъ, чтобы ихъ безъ толку не требовали на работу; есть и новыя черты; такъ, по его интригамъ барыня ссылаетъ дѣвушку, не поддающуюся его ухаживаніямъ. Не сразу, впрочемъ, онъ добился такой власти: было время, что и онъ находился въ опалѣ и пожилъ въ мужицкой избѣ.

Въ февральской книжкѣ „Современника“ 1848 года было сразу напечатано шесть очерковъ изъ „Записокъ охотника“; изъ нихъ только въ одномъ „Малиновая вода“, было задѣто, и то слегка, крѣпостное право. Тутъ фигурируетъ, съ одной стороны, вольноотпущенный, бывшій дворецкій одного графа, восхваляющій барина, съ другой стороны — крестьянинъ, только что потерявшій сына-работника и просившій барина уменьшить съ него оброкъ (95 руб. съ тягла). И, получивъ отказъ, крестьянинъ не унываетъ: „Мнѣ съ полагоря, взять-то съ меня нечего... безотвѣтная моя голова“. Этотъ очеркъ „не очень понравился“ Бѣлинскому, да и вообще эти шесть разсказовъ, въ которыхъ авторъ, за исключеніемъ одного, совершенно игнорируетъ крѣпостное право, показались Бѣлинскому, по его словамъ въ письмѣ къ П. В. Анненкову, „слабѣе прежнихъ“.

Въ напечатанномъ уже по смерти Бѣлинскаго („Современникъ“ 1894 г., № 2) очеркъ изъ „Записокъ охотника“ — „Чертопхановъ и Недопюскинъ“ авторъ только вскользь задѣваетъ въ одномъ мѣстѣ крѣпостничество въ характеристикѣ Чертопханова — отца, который, въ числѣ другихъ своихъ чудачествъ, велѣлъ однажды перепоротъ всѣхъ старыхъ бабъ на деревнѣ, сочтя ихъ виновными въ колдовствѣ, когда три раза сряду обрушивался куполъ воздвигаемой имъ церкви. Онъ же „вычиталъ однажды въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ статейку харьковскаго помѣщика Хряка-Хруперскаго о пользѣ нравственности въ крестьянскомъ быту, и на другой же день отдалъ приказъ всѣмъ крестьянамъ немедленно выучить статью харьковскаго помѣщика наизусть... Около

того же времени повелѣлъ онъ всѣхъ подданныхъ своихъ для порядка и хозяйственнаго расчета перенумеровать и каждому на воротникѣ нашить его номеръ. При встрѣчѣ съ баариномъ всякъ, бывало, такъ ужъ и кричить: такой-то номеръ идетъ! а баринъ отвѣчаетъ ласково: ступай себѣ съ Богомъ!

Безъ сомнѣнія, не малый матеріалъ для бичеванія съ разныхъ сторонъ крѣпостного права доставило Тургеневу жестокое отношеніе его родителей къ своимъ крѣпостнымъ. Въ концѣ эти крѣпостные вздохнули свободнѣе: мать Тургенева, наконецъ, умерла, и Иванъ Сергѣевичъ, вернувшись изъ-за границы въ доставшееся ему вмѣстѣ съ старшимъ братомъ Николаемъ родовое имѣніе, немедленно отпустилъ всѣхъ своихъ дворовыхъ на волю и перевелъ на оброкъ желавшихъ этого крестьянъ. Но, все-таки, его крестьяне тогда не были освобождены изъ крѣпостного состоянія, какъ то можно было ожидать отъ человѣка, давшего „аннибаловскую клятву“ противъ крѣпостного права; быть можетъ, Тургеневъ предполагалъ, что безъ его защиты они сдѣлаются добычею алчности мѣстной администраціи: не даромъ эту мысль онъ влагаетъ въ уста одного изъ героевъ его разсказа „Хорь и Калинычъ“, но возможно и то, что, желая поскорѣе вновь уѣхать за границу, онъ пугался тѣхъ ужасныхъ преволочекъ, съ которыми совершалось освобожденіе крестьянъ цѣлыми вотчинами, т.-е. переходъ ихъ въ свободные хлѣбопашцы.

Въ началѣ 1852 г. Тургеневъ собралъ отдѣльные очерки изъ „Записокъ охотника“ и издалъ ихъ въ Москвѣ въ двухъ частяхъ. Это изданіе, имѣвшее значительный успѣхъ, возбудило противъ автора сильное неудовольствіе въ официалномъ мірѣ. Московскій цензоръ кн. Львовъ былъ временно отставленъ отъ должности за то, что пропустилъ отдѣльное изданіе „Записокъ охотника“; поднимался даже вопросъ о конфискаціи книги. Къ этому присоединилось, въ видѣ отягчающаго обстоятельства, продолжительное пребываніе Тургенева за границей, особенно въ Парижѣ, а именно въ 1848 г., а также и его близкія отношенія къ лицамъ, которыя уже давно были „на дурномъ счету“. Поводомъ къ административной карѣ, какъ извѣстно, послужило напечатанное имъ въ мартѣ 1852 г. въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ письмо по поводу смерти Гоголя; но Тургеневъ самъ говоритъ, что

наказаніе постигло, „въ сущности, за „Записки охотника“. Иванъ Сергѣевичъ былъ отправленъ на мѣсяць „на стѣзжую“, но, благодаря почитательницамъ его таланта, дочерямъ частнаго пристава, онъ провелъ большую часть этого времени въ квартирѣ ихъ отца, гдѣ подготавлилъ новый ударъ крѣпостному праву, написавъ здѣсь рассказъ „Муму“, а затѣмъ былъ высланъ административнымъ порядкомъ на жительство въ свою деревню. Ссылка продолжалась до 1854 г. и, благодаря ей, безъ сомнѣнія, рассказъ, написанный Тургеневымъ подъ арестомъ, былъ напечатанъ только въ 1854 г. („Современникъ“, № 3). Эта трогательная исторія производитъ особенно сильное впечатлѣніе потому, что наглядно показываетъ до какой ненужной жестокости доходили душевладѣльцы относительно своихъ крѣпостныхъ: капризная барыня лишаетъ своего лучшаго работника, глухонѣмого, его собачки, оставшейся для него единственнымъ утѣшеніемъ въ его печальной жизни послѣ того, какъ барыня выдала замужъ и отослала въ деревню дворовую дѣвушку, къ которой онъ былъ расположенъ. Замѣтимъ еще, что, какъ оказывается изъ посмертныхъ воспоминаній о Тургеневѣ, этотъ превосходный рассказъ былъ воспроизведеніемъ факта, случившагося въ семьѣ Ивана Сергѣевича: жестокая барыня, велѣвшая утопить собачку Муму, была мать автора; и глухонѣмой крестьянинъ Герасимъ дѣйствительно существовалъ.

Въ томъ же 1852 году былъ написанъ не менѣе сильный рассказъ „Постоялый дворъ“. Тутъ мы видимъ, какъ помѣщица, дозволивъ своему крѣпостному, аккуратно платившему ей весьма значительный оброкъ, купить на ея имя полдесятины земли для заведенія постоялаго двора, потомъ продаетъ этотъ дворъ, какъ свою собственность, другому, при чемъ покупателемъ является любовникъ жены прежняго хозяина, бывшей горничной той же госпожи, и покупка совершается на деньги, похищенные этою женщиною у своего мужа. Послѣ попытки поджечь такъ нагло отнятое у него жилище, этотъ несчастный человѣкъ дѣлается странствующимъ богомольцемъ, христіанское незлобіе котораго такъ велико, что онъ никогда не забываетъ даже принести разорившей его барынѣ „просвиру съ вынутымъ задравнымъ“. Этотъ прелестный рассказъ, едва ли не лучший изъ всего написаннаго Тургеневымъ о крѣпостномъ правѣ, появился въ печати,

вѣроятно, по цензурнымъ причинамъ, лишь черезъ три года послѣ того, какъ онъ былъ написанъ, уже въ новое царствованіе („Современникъ“ 1855 г., № 11). Выставленный въ немъ фактъ злоупотребленія крѣпостнымъ правомъ,— нужно замѣтить, вовсе не составлявшій чего-нибудь неслыханнаго въ то время,— былъ, тѣмъ не менѣе, такимъ вопіющимъ нарушеніемъ справедливости, что предложеніе разорить одного изъ ея лучшихъ крестьянъ ужаснуло въ первую минуту даже барыню (по натурѣ вовсе не злую), когда она услышала о томъ отъ своей экономки, но жадность къ деньгамъ и сознаніе полной безнаказанности этого наглаго грабежа среди бѣлаго дня одержали верхъ надъ всякими сомнѣніями. А грабежъ былъ, дѣйствительно, совершенно безнаказанный: по закону 1848 г. крѣпостнымъ людямъ не дозволялось возбуждать какіе бы то ни было споры объ имуществѣ, приобрѣтенномъ ими до того времени на имя помѣщика.

Такимъ образомъ въ своихъ разсказахъ изъ народнаго быта, написанныхъ съ 1846 по 1852 г., Тургеневъ затронулъ главнѣйшія стороны быта крѣпостныхъ: тяжесть повинностей, иногда при недостаточномъ количествѣ земли, зависимость отъ барской воли даже въ дѣлѣ женитьбы и лишеніе иной разъ права на нее въ теченіе всей жизни, тѣлесныя наказанія, горемычная доля двороваго, злоупотребленія сельскихъ начальниковъ и управителей, барскія чудачества и самодурство, наконецъ, непризнаніе за крѣпостнымъ права собственности на имущество, нажитое его личнымъ трудомъ,— все это отражается въ живыхъ, талантливыхъ очеркахъ. Конечно, дѣйствительность могла бы подсказать въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ еще болѣе ужасныя картины, чѣмъ тѣ, какія мы находимъ у Тургенева, но, во-первыхъ, и безъ того совокупность очерковъ, посвященныхъ имъ крѣпостному праву, производитъ на читателя самое сильное впечатлѣніе, а во-вторыхъ, мы должны помнить, что художникъ не могъ съ полною свободою рисовать все то, что онъ наблюдалъ при созданіи своихъ произведеній. Однакоже, и въ томъ видѣ, какъ онѣ были написаны или, по крайней мѣрѣ, появились въ свѣтъ, „Запискамъ охотника“ суждено было не только имѣть огромное гуманизирующее вліяніе на все русское общество, но сыграть даже еще болѣе важную роль въ исторіи крестьянскаго вопроса: по собственному

свидѣтельству Тургенева, императоръ Александръ II самъ сказалъ ему, что „съ тѣхъ поръ, какъ онъ прочелъ „Записки охотника“, его ни на минуту не оставляла мысль о необходимости освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости“. Фактъ этотъ тѣмъ болѣе для насъ важенъ, что ранѣе того, въ мартѣ 1849 года, въ секретномъ комитетѣ, учрежденномъ подъ его предсѣдательствомъ для обсужденія закона (8 ноября 1847 г.) о правѣ крестьянъ выкупаться на свободу при продажѣ имѣній съ аукціона, наслѣдникъ цесаревичъ Александръ Николаевичъ (такъ же какъ и принцъ Ольденбургскій), вопреки мнѣнiю Киселева, Блудова и Вронченка, подаль голосъ за отмѣну этого закона вмѣстѣ съ крѣпостниками кн. Чернышевымъ, гр. Орловымъ и министромъ внутреннихъ дѣлъ Перовскимъ.

Семевскій.

Общественное значенiе „Записокъ охотника“.

Извѣстно, какой переполохъ возбудилъ общiй смыслъ „Записокъ охотника“, когда онѣ вышли отдѣльнымъ изданiемъ. Этотъ роковой общiй смыслъ, повидимому, совершенно разрозненныхъ и неумышленно-правдивыхъ рассказовъ заключался, какъ всѣмъ извѣстно, въ обнаруженiи всѣхъ непривлекательныхъ сторонъ положенiя нашего простого народа подъ крѣпостною властью помѣщиковъ, вмѣстѣ же съ тѣмъ весьма многихъ, вполнѣ привлекательныхъ сторонъ нрава простого русскаго человѣка, умѣвшаго остаться человѣкомъ и при самомъ нечеловѣческомъ положенiи. Умѣнiе указать на все это въ сороковыхъ годахъ составляетъ со стороны И. С. Тургенева (вмѣстѣ съ Григоровичемъ) тѣмъ болѣе неоцѣнимую заслугу, что до того наша литература текущаго вѣка въ лицѣ именно крупныхъ своихъ представителей умѣла какъ-то оставаться почти безучастною ко всему этому. Извѣстно, что и Пушкинъ почти не подходилъ къ народу съ этой стороны. Даже у Гоголя онъ затрогивался преимущественно во внѣшнихъ комическихъ своихъ проявленiяхъ, на язву же крѣпостнаго права указывалось только косвеннымъ образомъ тѣмъ, что выводилась во всей ея отвратительной наготѣ нечеловѣческая пошлость нашего помѣщичьяго быта, — по-

плость, зависѣвшая, главнымъ образомъ, отъ возможности пользоваться всѣми благами, не прилагая и малѣйшей капли труда. Не только одни умозрѣнія, но и живые пріемы повѣсти послужили позорному дѣлу такой отсрочки, создавая изъ нашей народной жизни пріятно убаюкивающую идиллію. И отголоски такой идилліи сохранились у насъ до временъ ближайшихъ къ Тургеневу, между тѣмъ какъ, съ другой стороны, обнаруживались и зародыши противоположной крайности — выставленіе народа совсѣмъ уже отупѣлымъ, почти низведеннымъ на степень животнаго. Какъ же послѣ этого не превознестъ въ „Запискахъ охотника“ именно, то, что правдиво обнаруживали всю бѣдственность положенія народа, онѣ столько же правдиво, не убѣлая и не черня, представляютъ намъ въ простомъ народѣ — людей.

Въ нѣкоторыхъ разсказахъ своихъ охотникъ, т.-е. нашъ писатель, даже не затрагиваетъ крѣпостного вопроса, а просто рисуетъ намъ такіе типы крѣпостныхъ людей, въ которыхъ оказывается гораздо болѣе человѣческаго, чѣмъ во многихъ типахъ помѣщичьихъ. Вотъ передъ нами дѣтскій крестьянскій міръ въ „Бѣжиномъ лугѣ“, со всею налегшей на него съ колыбели непроглядной тьмой суевѣрій, но и со всею бодростью и находчивостью существъ, тоже почти съ колыбели выведенныхъ на открытое поле жизни и предоставленныхъ почти совершенно самимъ себѣ. Есть, однако, и между ними болѣе приголубленные судьбою въ лицѣ болѣе зажиточныхъ родителей, но нѣтъ между ними такихъ, которыхъ бы она приголубила до того, чтобы довести до состоянія комнатнаго растенія. А вспомните этотъ яркій, поразительный образъ Павлуши, такъ спокойно готовящагося встрѣтить волка, и согласитесь, что въ эту минуту далеко до него какому-нибудь изнѣжившемуся барчуку, хотя бы и вовсе не суевѣрному! А вотъ передъ вами простой народный кабакъ со всею его неприглядною обстановкою и со всѣми его, болѣе или менѣе сбившимися съ пути, посѣтителями („Пѣвцы“). И что же, на этой совершенно низкой ступени тѣхъ чувственныхъ наслажденій, до какихъ въ состояніи ниспасть человѣкъ, разомъ сказываются во всѣхъ этихъ забудыгахъ порывы къ высшему — къ этой внезапной жадѣ упиться пѣсней, въ этомъ приковывающемъ всѣхъ состязаній двухъ пѣвцовъ и обаятельномъ дѣйствіи ихъ, всѣхъ давно извѣстныхъ, но всегда отвѣ-

чающихъ на запросы народа, пѣсенъ. И согласитесь, что въ эту минуту, кабакъ представляетъ намъ болѣе признаковъ человѣческой жизни, чѣмъ тотъ барскій покой Ивана Никифоровича, среди котораго онъ лежалъ въ натурѣ, или даже чѣмъ тотъ, поэтически выставленный Гоголемъ, уголокъ „Старо-свѣтскихъ помѣщиковъ“, въ которомъ почти исключительно раздавалась нескончаемая бесѣда о томъ, „чего бы такого покушать?— А вотъ передъ нами одинъ изъ тѣхъ характерныхъ представителей въ своемъ родѣ поэтическаго начала народной жизни, которые носятъ названіе „юродивыхъ“ или „блаженныхъ“ („Касьянъ съ Красивой Мечи“). Природа, не давъ ему вырасти выше дѣтскаго роста и по внутреннимъ качествамъ, оставила его какъ будто бы навсегда ребенкомъ — съ чисто дѣтскою способностью не думать о завтрашнемъ днѣ, съ чисто дѣтскою сердечною привязанностью ко всѣмъ тварямъ. Но взгляните, и вы замѣтите въ немъ при этомъ уже вовсе не дѣтскую способность къ широкохватающимъ обобщеніямъ. У него не только сжимается сердце при мысли о тѣхъ бѣдныхъ пташкахъ, которымъ придется стать жертвой забавы охотника, но онъ и разсуждаетъ объ этомъ такимъ образомъ: „Кровь — святое дѣло кровь! Кровь солнышка Божія не видитъ, кровь отъ свѣту прячется... великій грѣхъ показать свѣту кровь — охъ, великій!“ И въ этомъ „юродивцѣ“, конечно, гораздо живѣе сказывается человѣкъ, чѣмъ въ свѣтски натертыхъ, элегантныхъ представителяхъ нашего благороднаго класса въ родѣ Пѣночкина, приказывающаго выпоротъ своего слугу за ненагрѣтое вино за завтракомъ („Бурмистръ“), или же Мардарія Аполлоныча Стегунова, съ добрѣйшей улыбкой вторащаго ударамъ исправительныхъ розогъ: „Чюки-чюки-чюкъ! чюки-чюки-чюкъ!“ („Два помѣщика“). Но и другимъ еще образомъ сказывается въ Касьянѣ та особаго рода разумность, которую такъ любить скрывать самъ народъ въ своихъ сказкахъ подъ кажущеюся глупостью любимаго ихъ лица — Иванушки. Повидимому, до совершеннѣйшей безотвѣтности выносивъ Касьянъ и даже готовъ признать, что опека, конечно, совершенно справедливо разсудила, переселивъ его вмѣстѣ съ другими съ привольной Красивой Мечи на новое, непривольное мѣсто; а между тѣмъ, такъ и рвется его поэтическая душа изъ этой „тѣсноты, сухмена“ на широкій, вольный просторъ — „и туда и сюда, вплоть до теп-

лыхъ морей съ сладкогласными птицами, съ золотыми яблоками на серебряныхъ вѣткахъ и довольствомъ и справедливостью для каждаго человѣка“. И, что особенно замѣчательно, сей-часъ же при этомъ переносится его уже нисколько не себя-любивая мысль къ другимъ, такимъ же, какъ онъ, горемыкамъ... „Много, — тужить онъ, — другихъ крестьянъ въ лап-тахъ ходять, по міру бродять, правды ищуть... да! А то что дома-то, а? Справедливости въ человѣкѣ нѣтъ, вотъ оно что...“

„Справедливости въ человѣкѣ нѣтъ“ — вотъ чѣмъ окан-чивается Касьянъ; и въ этомъ слышится уже затаенный и краткій, по самой своей обобщенности, жизненный выводъ на-рода изъ явленій крѣпостного права. Но юридивецъ Касьянъ го-раздо живѣе чувствуетъ неправду его, чѣмъ другіа, столько же поэтическія личности въ самомъ народѣ, только не отмѣчен-ныя печатью „юродства“. Вполнѣ безотвѣтнымъ, любовно-благоговѣющимъ передъ своимъ господиномъ является въ „За-пискахъ охотника“ народный романтикъ Калинычъ. „Ужъ ты его у меня не трогай“, говоритъ онъ про помѣщика Полутыкина другу своему, народному реалисту Хорю; и на возраженіе послѣдняго: „А что онъ тебѣ сапоговъ не со-шьетъ?“ спокойнѣйшемъ образомъ отвѣчаетъ: „Эка, сапоги! на что мнѣ сапоги? я мужикъ“. Но при такой незлобливой готовности примиряться съ существующимъ порядкомъ вещей, тѣмъ болѣе васъ отталкиваетъ нравственный кругозоръ по-мѣщика Полутыкина: вспомните безчувственно-откровенное признаніе его про Калиныча: „Усердный, услужливый му-жикъ; хозяйство въ исправности, одначе, содержать не мо-жетъ: я его все оттягиваю. Каждый день со мною на охоту ходить... Какое ужъ тутъ хозяйство, посудите сами“. Въ лицѣ Калиныча Тургеневъ развернулъ передъ нами ту сторону природы русскаго человѣка, которая сказывалась, между про-чимъ, и въ знаменитыхъ, уже совсѣмъ отживающихъ, типахъ нашихъ дядекъ и нянекъ крѣпостной поры. Наши наблюда-тели правовъ изъ „благороднаго“ лагеря любятъ объяснять эти типы преобладаніемъ человѣчности въ отношеніяхъ по-мѣщиковъ къ крѣпостнымъ; но едва ли не вѣрнѣе его объ-яснять добродушіемъ самого народа. Было бы однакоже странно, если бы подобныя сердечныя отношенія къ господамъ являлись въ немъ сплошь и къ ряду. И вотъ въ на-

родѣ оказывались и совершенно другія личности — съ рѣшительнымъ перевѣсомъ разсудка, замѣчательно развитого жизнію; личности себѣ на умѣ, умѣвшія достигать довольно выгоднаго положенія, несмотря на крѣпостное право, а иногда и благодаря ему. Такимъ-то является Хорь, насквозь видѣвшій своего помѣщика, и потому-то именно не только умѣвшій нажить себѣ и дѣтямъ своимъ сапоги, но даже находившій совершенно излишнимъ (хотя и могъ бы) выкупиться на волю. То же практическое направленіе доведено уже до самыхъ крайнихъ предѣловъ въ лицѣ бурмистра помѣщика Пѣночника. Вспомните его холопскіе панегирики помѣщичьей власти, которые представлялись помѣщику чрезвычайно *touchants*, а панегиристы между тѣмъ довели имѣніе его до того, что оно только числилось за Пѣночкинымъ, на самомъ же дѣлѣ владѣлъ имъ бурмистръ, — владѣлъ, забравъ къ себѣ въ кабалу всѣхъ крестьянъ, въ чьихъ жалобахъ Пѣночкинъ если и видѣлъ *côté de la médaille*, то слишкомъ оберегалъ свой покой, чтобъ вступать въ разбирательство. Извѣстно, что это было однимъ изъ не особенно рѣдкихъ явленій нашего крѣпостничества, при чемъ неограниченный властелинъ, какъ оно бываетъ и не въ однихъ крѣпостныхъ владѣніяхъ, незамѣтнымъ образомъ обращался въ игрушку своего холопа: совершенно законная кара, но отъ которой, къ несчастію, становилось не лучше, а хуже для всѣхъ, — т.-е. для той же мелкой четы, для тѣхъ же униженныхъ и оскорбленныхъ. Вспомните также и конторщика г-жи Лосняковой („Контора“), къ тому же стакнувшася съ ея „вѣдьмой“ ключницей. Особый отгѣнокъ въ немъ составляетъ расположеніе къ сердечнымъ дѣламъ и способность изъ мести настроить г-жу Лоснякову — не давать разрѣшенія на бракъ съ ея дѣвкой ея человѣку, конторщикovu сопернику... „Ея господская воля“, неотразимо ссылается при этомъ конторщикъ, подобно какому-нибудь администратору, ссылающемуся на законъ. Но барская воля, какъ неумолимый законъ и въ самомъ вопросѣ о бракѣ, неоднократно сказывается въ „Запискахъ охотника“ во всей своей страшной и, какъ всѣмъ намъ хорошо памятно, заурядной силѣ. Едва ли не съ самой разительной стороны представлено это въ разсказѣ: „Ермолай и мельничиха“, который если бы даже совершенно одинъ уцѣлѣлъ для потомства, то и тогда бы могъ служить вполне удовлетво-

рительною поэтическою характеристикою крѣпостной поры. Можно сказать, что даже одинъ разсказъ г. Звѣркова о „черной неблагодарности“ дѣвки Арины достаточно ярко передаетъ всю глубину безнравственности, всю непробужденность чего-либо человѣческаго въ заурядныхъ понятіяхъ многихъ изъ нашего благороднаго класса этой еще недавней поры. Дѣвка должна быть благодарна барынѣ за то, что еще съ дѣтства вырвали ее изъ родной семьи и пожаловали въ горничныя. Неблагодарность ея заключается въ томъ, что она просится замужъ. Г-жа Звѣркова могла бы при этомъ, подражая г-жѣ Простаковой, сказать: „любить, бестія, точно благородная!“ Но не даромъ же наши помѣщичьи нравы смягчились со временъ Фонвизина. Г-нъ Звѣрковъ считаетъ нужнымъ отвѣтить на просьбу. Дары цѣлымъ доводомъ: „у барышни другой горничной нѣтъ, а замужнихъ она не держитъ“... Другимъ признакомъ усовершенствованія понятій служить, какъ извѣстно, со стороны г. Звѣркова то, что онъ не позволяетъ Аринѣ валяться у него въ ногахъ, потому что „человѣкъ никогда не долженъ забывать свое достоинство...“ Во имя того же, конечно, приходится въ негодованіе и г-жа Звѣркова, когда не выноситъ естественныхъ послѣдствій запрета, истекшаго изъ ея барской воли... Дѣйствительно, важный успѣхъ: при Фонвизинѣ гг. Звѣрковы не стыдились бы прямо показываться звѣрями, тогда какъ Тургеневу уже пришлось ихъ представить разыгрывающими людей. Но нашъ авторъ умѣлъ показать, что причиною барскихъ запретовъ того же рода бывала даже и не забота о своихъ выгодахъ и привычкахъ, а просто капризный припадокъ барскаго самодурства. Глядя на Петра Петровича Каратаева, Марьѣ Ильиничнѣ пришлось въ голову женить его на зеленой своей компаніонкѣ, — и отъ этого-то, главнымъ образомъ, она такъ и разозлилась, когда онъ ей предложилъ выкупъ за полюбившуюся ему дѣвку ея Матрену. Конечно, съ другой стороны, въ Марьѣ Ильиничнѣ заговорили при этомъ и чувство помѣщичьяго достоинства — при возмутительной мысли о женитьбѣ дворянина на крѣпостной!

Вспомнимъ затѣмъ и о другихъ, столько же заурядныхъ явленіяхъ крѣпостной поры, столь же вѣрно воспроизведенныхъ Тургеневымъ: о графской метрескѣ, забрывающей слугѣ *лобъ* за шоколадъ, пролитый ей на платье, о барскихъ при-

вычкахъ самого графа Петра Ильича, который, по разсказу стараго дворецкаго Тумана, душа былъ добрая: „побьетъ, бывало, тебя, смотришь, ужъ и позабылъ“ („Малиновая вода“); о рыбахъ Сучкѣ, попавшемъ въ это званіе изъ кучеровъ, въ кучера изъ поваровъ, и повара изъ актеровъ, все по барской волѣ (напоминающей въ этомъ отношеніи приемы и не однихъ только баръ) („Льговъ“) и т. д. Но особенно важно, что Тургеневъ и выставлялъ почти исключительно именно такія заурядныя явленія крѣпостной поры, нимало не изыскивая и не подбирая такихъ, про которыхъ можно бы было сказать, что это лишь исключенія — хотя и такихъ такъ называемыхъ исключеній, отъ которыхъ бы волосы у читателя поднялись дыбомъ, оказывалось на Руси не мало. Но въ томъ именно и заключалась неотразимая сила этихъ, какъ бы лишенныхъ всякой умышленности, просто правдивыхъ записокъ, что онѣ не только не преувеличивали дѣйствительности, не приправляли воспроизведенія ея никакими возгласами и не выкапывали различныхъ ужасовъ изъ уголовныхъ архивовъ, но, можно сказать, съ совершенно эпическою невозмутимостью отражали все то, что встрѣчалось само собою на каждомъ шагѣ, и что уже само по себѣ, сведенное въ одинъ сборникъ, подавало достаточный поводъ къ тяжелымъ думамъ. А между тѣмъ, вѣдь, разсказы этого сборника связаны между собою чисто внѣшнею связью, случайною послѣдовательностью охотничьихъ впечатлѣній и наблюденій оттого, что охотникъ постоянно сталкивается съ помѣщиками и крестьянами. Во многихъ мѣстахъ при разсказахъ о прошломъ, онъ обнаруживаетъ готовность думать, что многого уже теперь не дѣлается, и получаетъ при этомъ отвѣтъ: „теперь, вѣстимо, лучше“. И опять-таки тѣмъ лишь сильнѣе дѣйствуютъ при этомъ разсказы, изъ которыхъ оказывается, что на самомъ дѣлѣ-то они не лучше. Такимъ образомъ отъ стараго графа Петра Ильича вовсе не далеко ушелъ его сынъ Валеріанъ Петровичъ, отказывающій въ сбавкѣ obroka крестьянину, лишившемуся своего кормильца-сына. „Да мнѣ съ полагоря, говоритъ крестьянинъ: взять-то съ меня нечего... Ужъ, братъ, какъ ты тамъ ни хитри — шалишь; безотвѣтная моя голова“. При этомъ мужикъ разсмѣялся... („Малиновая вода“). И невольно коробитъ васъ, какъ подумаете, что этимъ же горемычнымъ смѣхомъ и теперь еще нерѣдко

сѣдется мужикъ, когда съ него взыскиваютъ недоимку! — А между тѣмъ вѣдь и самъ, довольно близко стоящій къ народу, одиодворецъ Овсянниковъ еще въ то время увѣрялъ нашего охотника, что „теперь лучше; а вашимъ дѣткамъ еще лучше будетъ“. По словамъ его, „много воды утекло“ съ тѣхъ поръ, какъ дѣдъ охотника, присвоивъ себѣ землю отца Овсянникова, вдобавокъ его же и высѣкъ у себя подъ окнами, да еще поглядывалъ при этомъ съ балкона вмѣстѣ съ женой. „Много воды утекло, времена пришли другія“, продолжаетъ Овсянниковъ. И въ дворянахъ видитъ онъ перемѣну большую, — а все же на повѣрку выходитъ изъ собственныхъ его словъ, что на самомъ дѣлѣ перемѣна лишь кажущаяся. „Вы, можетъ, знаете Королева? обращается онъ къ охотнику. „Въ ниверситетахъ обучался, кажись, и за границей побывалъ, говоритъ плавно, скромно, всѣмъ намъ руки жметъ... Какъ дѣло дошло до размежеванія, заговорилъ, что отъ этого крестьянину будетъ легче, что помѣщику грѣшно не заботиться о благосостояніи крестьянъ... Дворяне-то всѣ носы повѣсили; я самъ, ей-ей, чуть не прослезился... А чѣмъ кончилось? Самъ четырехъ десятинъ мохового болота не уступилъ и продать не захотѣлъ“. Показывая подобнаго рода примѣрами, что и въ ближайшее время къ намъ даже самое высшее образованіе не было въ силахъ, путемъ нравственного улучшенія дворянъ, добиться того, чего идиллически ожидалъ Карамзинъ (не только во время „Записовъ охотника“, но еще и очень недавно имѣвшій у насъ въ этомъ отношеніи единомышленниковъ); — нашъ трезвый неумолимо правдивый писатель показываетъ вслѣдъ за тѣмъ, многого ли можно было дожидаться также и отъ тѣхъ хлыщей народнаго направленія, полагавшихъ его исключительно въ однихъ фразахъ, отъ тѣхъ, какъ онъ прозвалъ ихъ, Пустозвоновыхъ, которые дѣйствительно только звонили себѣ о народѣ и вовсе не умѣли или даже не хотѣли справить службу ему на самомъ дѣлѣ. „Смотрятъ мужики: что за диво! Ходитъ баринъ въ плисовой поддевкѣ, словно кучеръ... Я де русскій, и вы русскіе... я русское все люблю... ну, дѣтки, спойте-ка русскую народственную пѣсню... А самъ, словно красныя дѣвушки, все книги читаетъ, или пишетъ... Прежній, то приказчикъ на первыхъ порахъ вовсе перетрусился... А вмѣсто того вышло... самъ Господь не разберетъ,

что такое вышло. Позвалъ его къ себѣ Василій Николаевичъ (Пустозвоновъ) и говорить, а самъ краснѣетъ: „будь справедливъ у меня — не притѣсняй никого“. Да съ тѣхъ поръ его къ своей особѣ не требовалъ"... Продолжалъ себѣ сидѣть, уткнувъ носъ въ свои книжки, и предаваться отвлеченнымъ соображеніямъ о народности, а жизни вокругъ себя предоставилъ идти своимъ старымъ ходомъ, благо облекшись въ одежду простопародную, ни мало не отвѣдалъ чрезъ это крестьянской доли. Такимъ образомъ посредствомъ примѣровъ, приводимыхъ тѣмъ же Овсянниковымъ, нашъ охотникъ въ корнѣ опровергалъ его мнѣніе, будто бы „теперь лучше, а нашимъ дѣткамъ и еще лучше будетъ“. Нѣтъ, какъ бы хотѣлъ своей книгой сказать охотникъ, пока будетъ стоять крѣпостное право, ни намъ ни нашимъ потомкамъ лучше не будетъ!

Нарисовавъ съ поразительной правдой нѣсколько совершенно обыкновенныхъ картинъ изъ жизни простого русскаго человѣка, нашъ охотникъ срисовалъ вмѣстѣ съ тѣмъ съ натуры и нѣсколько чудныхъ картинъ его смерти. „Удивительно умираетъ русскій мужикъ!“ восклицаетъ онъ. Состоянье его передъ кончиной нельзя назвать ни равнодушіемъ ни тупостью; онъ умираетъ, словно обрядъ совершаетъ: „холодно и просто“. И эта совершенно покойная встрѣча смерти вполне понятна послѣ жизни русскаго мужика, какою обрисовали ее Тургеневъ, жизни, въ которой терять было нечего и которая точно такъ же просто и холодно выполнялась имъ до конца, какъ заданный скучный, но неизбѣжный урокъ! Но и тутъ, какъ вездѣ, у нашего писателя, подъ этою холодною теплится то тихое любовное чувство, безъ котораго бы рѣшительно невыносимою сдѣлалась жизнь и которое тутъ сказывается то въ насущной заботѣ объ оставаемой семьѣ, то въ потребности попроситься, т.-е., по русскому смыслу слова, попросить прощенья у окружающихъ. Но совершенно такъ же, какъ русскій мужикъ, умираетъ, по поэтическому свидѣтельству Тургенева, и всякій русскій человѣкъ, въ отношеніи къ которому, по народному выраженію, судьба явилась злой мачехой. Вспомните смерть недоучившагося студента Авенира Сорокоумова, для котораго безотрадная доля домашняго наставника въ домѣ малоразвитыхъ людей оказалась, какъ оказывается для многихъ, своего

рода, закрѣпощеніемъ. Вспомните, наконецъ, и смерть старушки-помѣщицы, которая собиралась сама заплатить за свою отходную, заплатить съ давнихъ поръ, быть можетъ, припасеннымъ на этотъ случай рублемъ. Очевидно, что это одна изъ мелкомѣстныхъ, къ которымъ относится въ „Запискахъ охотника“ и мать больной дѣвушки, влюбляющейся въ „уѣзднаго лѣкаря“.

Вывода передъ надъ нами такіе, въ свою очередь, возбуждающіе жалость, типы бѣдныхъ помѣщицъ, нашъ писатель доказываетъ этимъ, какъ далека онъ былъ отъ того, чтобы - выставлять помѣщиковъ исключительно со стороны ихъ отношеній къ крестьянамъ и исключительно въ невыгодномъ свѣтѣ. Напротивъ, даже участіе возбуждаютъ у него не только такіе, уже самой своей бѣдностью располагающія въ свою пользу личности, но и живущая въ полномъ довольствѣ, добродушная, съ здравымъ умомъ, Татьяна Борисовна, или даже безгласная мать Радилова, да и самъ Радиловъ, котораго охотнику такъ и хотѣлось бы „лучше узнать и полюбить, хотя иногда въ немъ и сказывался помѣщикъ“ (между прочимъ и въ чисто барскихъ его отношеніяхъ къ проживающему у него Федору Михеичу). А вспомните Чертопханова-сына, являющагося преемникомъ своего взбалмошно-грознаго отца. „Несправедливости, притѣсненія онъ вчужѣ не выносилъ; за мужиковъ своихъ стоялъ горюю... Какъ, моихъ трогать? Да не будь я Чертопхановъ!...“ Вспомните и его заступничество за Недопюскина, и въ своемъ родѣ трогательную, хотя и не безъ юмористическаго оттѣнка, дружбу обоихъ.

При такой способности Тургенева подмѣчать и выказывать человѣческія черты и въ самихъ помѣщикахъ, его „Записки охотника“ не могли представляться направленными съ огульной враждой противъ нихъ и указывающими только на тѣ стороны общественнаго ихъ положенія, которыми неизбежнымъ образомъ искажались и самыя сочувственныя между ними натуры. Но и это опять-таки лишь придавало „Запискамъ охотника“ новую неотразимую силу, наглядно указывая на то, что тутъ дѣло было не въ звѣрской грубости нашихъ помѣщиковъ (которой, пожалуй, могло бы оказываться и больше при всѣхъ соблазнахъ неограниченнаго права), не въ недостаткѣ между помѣщиками тѣхъ добродушныхъ лич-

ностей, которыя могутъ являться и независимо отъ образованія съ его смягчающими вліяніями, а дѣло было въ неестественности самыхъ отношеній, самой этой неразрывной связи между людьми съ неограниченными правами и людьми совершенно безправными. И хотя бы И. С. Тургеневъ не написалъ ничего послѣ „Записокъ охотника“, все бы имя его осталось навсегда незабвеннымъ въ исторіи нашей литературы.

Миллеръ.

Причины успѣха „Записокъ охотника“.

Тургеневъ началъ свое литературное поприще стихами и повѣстями, которые были не лучше и не хуже того, что тогда требовалось отъ журнальныхъ стиховъ и повѣстей. Громкая извѣстность его началась въ 1847 году, когда стали являться въ „Современникѣ“ его „Записки охотника“. Тутъ талантъ его возмужалъ, поналъ на прямую дорогу и выработался въ привлекательныхъ особенностяхъ. „Записки охотника“ — произведеніе, которое, при всей своей безыскусственности и кажущейся легкости, составляетъ одинъ изъ самыхъ прочныхъ памятниковъ нашей литературы. Достоинство его, какъ печаль Пушкина, сравненная имъ съ виномъ, „чѣмъ старѣй, тѣмъ сильнѣй“. При появленіи „Записокъ охотника“ можно было не совсѣмъ довѣрять себѣ въ мнѣніи о безотносительномъ ихъ достоинствѣ и подозрѣвать, что мнѣніе это невольно закуплено въ ихъ пользу гуманною тенденціей, такъ искренно и, можно сказать, невольно высказывавшеюся въ этихъ разсказахъ, которые тогда казались слишкомъ смѣлыми, и возбудили такое множество нареканій при выходѣ ихъ отдѣльною книгой въ 1842 г. Но съ тѣхъ поръ утекло много воды. Вотъ уже нѣсколько лѣтъ какъ *листъ перевернулся*. „Записки охотника“ въ этомъ отношеніи далеко обогнаны разными произведеніями второй и даже третьей руки, послѣ которыхъ то, что оказалось *смѣлостью* въ 1852 г. теперь стало общими мѣстами, всѣми признанными и несомнѣнными повтореніями. Цѣлые разряды людей, высказывавшихъ тогда гоненія на благородную господствующую тенденцію автора, не только измѣнились, но отчасти ударились въ противоположную крайность. Они не только принялись отыскивать и вставлять тщательно все, что можетъ служить къ оправданію этихъ тенденцій, и что совершенно справед-

ливо, но стали приводить съ торжествомъ въ подкрѣпленіе ихъ факты, происходящіе отъ совершенно постороннихъ причинъ, примѣры, которые могутъ случиться вездѣ, что уже не очень добросовѣстно. Кричать, негодовать, обличать въ извѣстныхъ случаяхъ, какъ бы по данному сигналу, очень легко. Въ короткое время мы успѣли уже присмотрѣться къ поучительному маскараду, и выучились узнавать старыхъ знакомыхъ подъ новыми костюмами, и тѣхъ, которые надѣли новые, и тѣхъ, которые сняли прежніе, и очутились въ скрытыхъ когда-то тщательно подъ другими переодѣваніями. Мы прислушались къ хору тѣхъ, которые такъ легко рѣшаютъ самыя многосложныя вопросы, упрощая ихъ подведеніемъ всѣхъ подъ одинъ, и преважно повторяютъ передѣланный по-своему насмѣшливый припѣвъ Беранже о причинахъ событій 1789 года: „*C'est la faute de Rousseau, c'est la faute de Voltaire*“. Мы привыкли къ безконечнымъ возгласамъ дешевой лжи—филантропіи, о которой недавно было упомянуто въ одной академической рѣчи. Послѣ всего этого „Записки охотника“ потеряли прелесть запрещеннаго плода: вкусъ нашъ, приученный къ болѣе крѣпкимъ явствамъ, притупился. Надо, чтобы то, что подаютъ намъ безъ возбуждающихъ приправъ, было откровенно, тонко и превосходно, чтобы мы продолжали цѣнить по достоинству восхищавшее насъ за много лѣтъ тому назадъ. И „Записки охотника“ выдержали этотъ испытаніе съ полною честью; перепечатанные въ 1858 году, онѣ имѣли тотъ же успѣхъ, а теперь выходятъ еще новымъ изданіемъ въ собраніи сочиненій Тургенева. Тутъ успѣхъ ихъ основанъ уже именно на высокомъ ихъ художественномъ достоинствѣ, въ которомъ слились и великое дарованіе поэта и глубина наблюдателя и мыслителя, не ищущая доказывать то или другое положеніе, но создающая дружно съ поэтическими представленіями живыя плѣнительныя картины дѣйствительности, говорящая сами собою и за себя. Попробуйте сдѣлать такой опытъ съ нѣкоторыми другими, даже весьма замѣчательными произведеніями литературы, на примѣръ, хоть съ „Губернскими очерками“ Щедрина, которые стали появляться не дальше какъ за пять лѣтъ, и вы увидите, выдержать ли они подобнаго рода испытаніе. Да, „Записки охотника“ одинъ изъ чистѣйшихъ перловъ русской поэзіи, одно изъ капитальнѣйшихъ твореній нашей литературы.

Лонгиновъ.

„Муму“ и „Постоялый дворъ“.

Повѣсть „Муму“ (написанная въ 1852 году) есть высокое художественное произведение, въ которомъ возвышенная мысль о злѣ крѣпостного права органически слилась съ поэтическимъ творчествомъ. Герой произведенія, нѣмой крестьянинъ Герасимъ (очень симпатичная личность, стоящая близко къ природѣ, къ землѣ, которую онъ обрабатываетъ и любить), оторванъ по прихоти барыни отъ этой земли, переведенъ въ городъ и сдѣланъ дворникомъ. Свыкшись съ новой участью и примирившись съ судьбою, Герасимъ полюбилъ своимъ простымъ сердцемъ кроткую и безотвѣтную дворовую дѣвушку Татьяну. Но тутъ опять прихоть барыни разрушаетъ его счастье: скучающая помѣщица выдумываетъ женить на Татьянѣ башмачника Капитона для отрезвленія его отъ загуловъ. Герасимъ привязывается послѣ этого къ спасенной имъ собакѣ, которую онъ называетъ Муму; но и тутъ снова, въ третій разъ, самовольная прихоть помѣщицы наноситъ ударъ его любящему сердцу: собака беспокоитъ нервы барыни своимъ невѣжливымъ отношеніемъ къ барской ласкѣ и своимъ лаемъ, и ее велѣно удалить со двора. Въ отчаяніи Герасимъ рѣшаетъ самъ утопить свою любимицу. Но когда онъ привелъ свое намѣреніе въ исполненіе, сердце его до такой степени переполнилось горемъ, что онъ, смиренный, покорный и безотвѣтный, забываетъ все, забываетъ власть барыни, и идетъ назадъ въ деревню, къ землѣ, къ своей крестьянской работѣ. Силу молчаливаго протеста его противъ суроваго произвола инстинктивно почувствовала сама барыня: она оставила его въ деревнѣ, объявивъ, „что такой неблагодарный человѣкъ ей вовсе не нуженъ“.

Характеры лицъ въ этой повѣсти, — барыни, самого Герасима, дворецкаго Гаврилы, Татьяны и другихъ, — изображены живо и художественно, и съ удивительнымъ юморомъ нарисованъ легкомысленный башмачникъ Капитонъ. Прекрасно изображена и собака нѣмого ¹⁾).

¹⁾ Сочувственно-сострадательное отношеніе поэта къ животному побудило, какъ извѣстно, „Общество покровительства животныхъ“ послать свою депутацію на похороны великаго романиста.

Въ одинъ годъ съ „Муму“ написана совершенно соотвѣтствующая этому произведенію по духу и содержанію повѣсть „Постоялый дворъ“. Только здѣсь губить людей не капризная прихоть, а самостоятельное барское корыстолюбіе. Крестьянинъ Акимъ содержитъ постоялый дворъ на землѣ своей помѣщицы Лизаветы Прохоровны; человѣкъ дѣльный и хорошій, онъ страдалъ однимъ недостаткомъ — влюбчивостью, и подъ старость женился на молодой дѣвушкѣ, горничной Авдотѣ. Та было свыклась со своей долей; но подвернулся ловкій красавецъ Наумъ, и она увлеклась, — отдавъ ему сердце свое, она похитила для него и деньги мужа. На эти деньги Наумъ купилъ у помѣщицы дворъ Акіма, успокоивъ сговорчивую совѣсть барыни тѣмъ, что вѣдь Акимъ ея же крестьянинъ. Доведенный до отчаяннѣя разореніемъ, Акимъ хотѣлъ поджечь свой бывшій домъ; но былъ пойманъ ловкимъ соперникомъ. И вотъ здѣсь повѣсть пріобрѣтаетъ особое значеніе: поэтъ показываетъ намъ, какъ нравственно-высоко можетъ подниматься душа простого русскаго человѣка. Акимъ проситъ Наума отпустить его и взамѣнъ предлагаетъ не считать его своимъ должникомъ: „владѣй всѣмъ! я согласенъ и желаю тебѣ всякой удачи“. Наумъ отпускаетъ его. И Акимъ перерождается душою; собственно говоря, нравственное возрожденіе его началось раньше, ночью, когда онъ пойманный, былъ запертъ въ подвалѣ.

„Подъ ударомъ неожиданнаго и незаслуженнаго несчастья, въ чадѣ отчаяннѣя, рѣшился онъ (разсказываетъ поэтъ) на преступное дѣло; оно потрясло его до основанія и, неудавшись, оставило въ немъ одну глубокую усталость... Чувствуя свою вину, оторвался онъ сердцемъ отъ всего житейскаго и началъ горько, но усердно молиться. Сперва молился шопотомъ; наконецъ, онъ, можетъ-быть случайно, громко произнесъ: Господи: — и слезы брызнули изъ его глазъ... Долго плакалъ онъ, и утихъ наконецъ“.

Отпущенный на свободу, онъ все прощаетъ врагу своему, прощаетъ и барынѣ, все забываетъ; онъ идетъ къ женѣ — мирится съ нею, отдаетъ ей остатки своихъ пожитковъ. Онъ вполне христіански смиряется, — и себя самого признаетъ главнымъ виновникомъ своихъ несчастій:

„Самъ и виноватъ — и наказанъ... Люби кататься —

люби и саночки возить. Лѣта мои старыя, пора о душенькѣ своей подумать. Меня Самъ Господь вразумилъ. Вишь я, старый дуракъ, съ молодой женой хотѣлъ въ свое удовольствіе пожить... Нѣтъ, братъ-старикъ, ты сперва помолись, да лбомъ о-земь постучи, да потерпи, да попустись..."

Несчастье свое онъ признаетъ посѣщеніемъ Божиимъ, предостереженіемъ ему и вразумленіемъ, — и онъ посвящаетъ себя Богу, становится странникомъ по святымъ мѣстамъ: „вездѣ, куда только стекаются богомольные русскіе люди, можно было увидѣть его исхудавшее и постарѣвшее, но все еще благообразное и стройное лицо: и у раки св. Сергія, и у Бѣлыхъ береговъ, и въ Оптиной пустыни, и въ отдаленномъ Валаамѣ; вездѣ бывалъ онъ... Изъ края въ край скитался онъ своимъ тихимъ, не торопливымъ, но безостановочнымъ шагомъ, — говоритъ, онъ побывалъ въ самомъ Іерусалимѣ... Онъ казался совершенно спокойнымъ и счастливымъ, и много говорили о его набожности и смиренномудріи тѣ люди, которымъ удавалось съ нимъ бесѣдовать“.

Очевидно, что религіозно-нравственному возрожденію Акима, религіозному идеалу русскаго народа вполне сочувствуетъ въ повѣсти самъ поэтъ, какъ вполне сочувствуетъ онъ Лукерѣ въ очеркѣ „Живыя мощи“. Въ духѣ этихъ воззрѣній, въ духѣ этого идеала онъ говоритъ и про Наума, который, продавши выгодно свой дворъ, занялся (по слухамъ) хлѣбной торговлей и разбогатѣлъ: „на долго ли? Не такіе столбы валились, а злему дѣлу рано или поздно приходится злой конецъ“.

Повѣсти „Муму“ и „Постоялый дворъ“ были сочувственно приняты славянофилами, какъ произведенія совершенно въ народномъ духѣ и вполне сочувственно изображающія народную жизнь. И Тургеневъ зналъ, что онѣ должны быть такъ приняты: онъ прислалъ рукописи обоихъ произведеній семейству Аксаковыхъ, съ которыми, т.-е. съ Сергѣемъ Тимоѣевичемъ и съ сыновьями его Константиномъ и Иваномъ Сергѣевичами, онъ былъ одно время близокъ; онъ прислалъ имъ эти повѣсти, какъ вещи, которыя могли имъ „особенно понравиться“.

Разсмотрѣнныя произведенія великаго поэта показываютъ намъ, какъ глубоко проникъ онъ въ народную жизнь и душу

и какъ искренно сочувствовалъ онъ русскимъ народнымъ началамъ. Онъ подготовился этимъ къ своимъ будущимъ, вполне зрѣлымъ созданіямъ, — ко второму, главному періоду своей дѣятельности.

Незеленовъ.

Дневникъ лишняго человѣка.

„Дневникъ лишняго человѣка“ былъ напечатанъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ за 1850 годъ. Повѣсть имѣла видъ вещи, не додѣланной, написанной черезъ силу, — а что всего не выйдѣе: ее какъ бы насквозь проникалъ тотъ заунывно-тусклый тонъ разсказа, который успѣлъ опротивѣть русскому читателю чрезъ частое, многолѣтнее повтореніе. Публика встрѣтила дневникъ довольно холодно: иные цѣнители, не взирая на все свое сочувствіе къ Тургеневу, замѣтили во всеуслышаніе, что въ нашей новой словесности и безъ „Лишняго человѣка“ слишкомъ много госпитальныхъ фигуръ, сѣтующихъ на свою судьбу да умирающихъ отъ чахотки по разнымъ унылымъ захоlustьямъ. И замѣчаніе цѣнителей и холодность публики имѣла свое основаніе. Дѣйствительно, наша беллетристика за цѣлое десятилѣтіе успѣла уже прискучить своимъ направленіемъ — кислымъ, печальнымъ, тоскливымъ, однообразно нахмуреннымъ направленіемъ. Писатель, конечно, воленъ касаться всѣхъ возможныхъ сторонъ жизни, никто не долженъ препятствовать ему въ разработкѣ самыхъ темныхъ проявленій въ обществѣ; но въ видахъ искусства необходимо, чтобъ сказанная разработка производилась съ силою поэтической, а не съ той безсильной лѣнностью, которая даетъ разсказчику видъ человѣка, говорящаго съ читателемъ нехотя, какъ бы изъ милости. Гоголь въ этомъ отношеніи представлялъ всѣмъ новѣйшимъ писателямъ примѣръ, достойный вниманія. Ничто не можетъ быть грустнѣе похожденій Поприщева, Акакія Акакіевича, наконецъ, художника Пискарева въ „Невскомъ Проспектѣ“. Болѣзненные и загнанные судьбой люди, сейчасъ названные, конечно, не пробудятъ въ читателѣ идиллическаго или пангловскаго настроенія, но имѣютъ ли они въ себѣ хотя что-нибудь кислое, — принадлежитъ ли исторіографъ къ числу лицъ, говорящихъ

нехотя? Отразились ли на манеръ Гоголя, могучаго творца объективныхъ образовъ, болѣзненные особенности героевъ, имъ избранныхъ? Отрѣшился ли нашъ великій художникъ, хотя бы въ одной слабой подробности, отъ частицы энергіи, его таланту свойственной? Нѣтъ и тысячу разъ нѣтъ, скажемъ мы съ полнымъ убѣжденіемъ. Гоголь ни разу не говорилъ читателю: „говоря о печальныхъ дѣлахъ, я приму печальную мину; изображая бѣдныхъ личности, я потороплюсь самъ сдѣлать гримасу покіслѣе“. Тонъ его остался однимъ и тѣмъ же въ „Шинели“ и въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“; рука, набросавшая „Портретъ“, такъ же твердо держитъ свою кисть, рисуя лицо „Сумасшедшаго“. Онъ всегда одинаковъ съ читателемъ, ибо всегда стоитъ одинаково высоко надъ міромъ, имъ изображаемымъ. Онъ не допускаетъ сентиментализма ни въ свѣтлую ни въ темную сторону. Его глубоко оскорбило бы извѣстіе о томъ, что читатель, пробѣгая повѣсти Гоголя, сидитъ въ уныломъ положеніи, съ опущенной головою, съ бесплодно-плаксивыми колебаніями въ сердцѣ. Въ Гоголѣ не найдемъ мы ничего тусклаго и унылаго: при самыхъ грустныхъ разсказахъ взглядъ его не менѣе зорокъ, рѣчь не меньше энергична, какъ при разсказахъ, исполненныхъ смѣха или свѣтлой поэзіи. Всего этого не видали многіе изъ хвалителей Гоголя, да и всѣ его литературные послѣдователи. По милости этихъ особъ, не лишенныхъ дарованія, но черезчуръ субъективныхъ въ своихъ твореніяхъ, наша новая литература и пріобрѣла тотъ госпитальный запахъ, отъ котораго не легко ей было отбиться. Въ 1850 году запахъ, о которомъ говоримъ мы, былъ открытъ и указанъ, его уже начинали выкуривать прочь, — а какъ всегда водится и въ подобныхъ случаяхъ, общее сознаніе о присутствіи непріятнаго запаха дѣлало его еще болѣе ощутительнымъ.

Въ такую-то невыгодную пору подоспѣлъ „Дневникъ лишняго человѣка“. Тонъ разсказа, можетъ-быть, доставившій бы ему сильный успѣхъ за пять лѣтъ назадъ, въ 1850 году показался крайне устарѣлымъ, а потому вся повѣсть встрѣчена была совсѣмъ не такъ, какъ она того заслуживала. Нынѣ она появляется сызнова послѣ „Рудина“ и „Двухъ пріятелей“, разливающихъ особенный свѣтъ на ея нѣкоторыя загадочныя стороны. Шесть лѣтъ, протекшія

между двумя изданіями „Дневника“, прошли не безплодно, какъ для литературы, такъ и для многихъ вопросовъ, неразрѣльных съ ходомъ словесности, — а потому мы и находимъ возможность отдать справедливость лучшей сторонѣ сказаннаго произведенія.

Въ „Дневникѣ лишняго человѣка“, какъ и слѣдуетъ ожидать, одинъ только герой: больной помѣщикъ Чулкатуринъ, самъ себя называющій „лишнимъ человѣкомъ“. Почему именно признаетъ онъ себя существомъ лишнимъ на свѣтѣ, — объ этомъ дневникъ его даетъ намъ понятіе въ немногихъ словахъ, обильныхъ горькой ироніей.

„Я именно человѣкъ лишній. Къ другимъ людямъ это слово непримѣнимо.... Люди бываютъ добрые, злые, умные, глупые, пріятные или непріятные, но лишніе... нѣтъ!... Безполезность не главное ихъ качество, и вамъ, когда вы говорите о нихъ, слово „лишній“ не первое приходитъ на языкъ. А я... про меня ничего другого и сказать нельзя... лишній да и только. Сверхштатный человѣкъ — вотъ и все. На мое появленіе природа, очевидно, не рассчитывала и вслѣдствіе того обошлась со мной, какъ съ неожиданнымъ и незваннымъ гостемъ. Не даромъ про меня сказалъ одинъ шутникъ, большой охотникъ до преферанса, — что моя матушка мною обремизилась... *Во все продолженіе моей жизни я постоянно находилъ свое мѣсто занятымъ, можетъ-быть, оттого, что искалъ это мѣсто не тамъ, гдѣ бы слѣдовало*“.

Въ этомъ литературномъ отрывкѣ (а продолженіе его вполне достойно начала) сказывается намъ и здравость авторскаго замысла и богатство поэтическаго воззрѣнія въ повѣствователѣ. Уступая современной рутинѣ въ тонѣ разсказа, Тургеневъ отходитъ отъ нея во многихъ частностяхъ, особенно въ чрезвычайно значительномъ выраженіи: „во все продолженіе моей жизни я постоянно находилъ свое мѣсто занятымъ, можетъ-быть, оттого, что искалъ это мѣсто не тамъ, гдѣ бы слѣдовало“. Свѣтлую эту мысль необходимо имѣть въ виду всякому цѣнителю, пытающемуся комментировать послѣднія произведенія нашего автора, исходомъ которыхъ все-таки служить Чулкатуринъ, не взирая на его отчасти госпитальныя качества. Человѣкъ, не находящій себѣ мѣста на свѣтѣ, потому, *можетъ-быть*, что ищетъ себѣ мѣста не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, — не есть уже простой, захандрив-

шійся гѣрой, такъ любимый нашими старыми новеллистами. Страданія его уже не принадлежать къ вѣдѣнію одной медицины или скорѣе — отдѣла о душевныхъ болѣзняхъ. На горести его никто не имѣетъ права глядѣть съ унылымъ выраженіемъ безплоднаго сожалѣнія, ибо онъ кроется не въ одномъ разстройствѣ организма физическаго, не въ одномъ раздраженіи тѣнныхъ мыслей, не въ одной вялости нравственной. Лицо лишняго человѣка можетъ назваться лицомъ довольно рѣдкимъ въ современномъ обществѣ, но никакъ не исключительнымъ. Въ созданіи его поэтъ не увлекался ни причудливостью ни подражательностью; трудъ рассказчика здѣсь не можетъ назваться пѣсней съ чужого голоса или дидактическимъ памфлетомъ. Больной и унылый Чулкатуринъ есть типъ своего рода, — типъ, принадлежащій кружку не большому, но замѣчательному. Онъ истинно лишній человѣкъ, одинъ изъ тѣхъ лишнихъ людей, безъ которыхъ не существуетъ ни одного молодого общества.

Чтобы достаточно оцѣнить законность „Лишняго человѣка“ въ литературѣ, необходимо будетъ вдаться въ нѣкоторыя общія соображенія какъ о самомъ субъектѣ, такъ и о недугѣ, которому онъ подверженъ. Всякое общество, въ особенности юное и быстро просвѣщающееся, можетъ указать на нѣкоторое число лицъ, по своему нравственному развитію достойныхъ зваться передовыми людьми извѣстнаго народа. По уму своему, по воспитанію, по избытку благородныхъ чувствъ, наконецъ, по счастливо сложившимся событіямъ первой юности, такіе люди не только зовутся цвѣтомъ всего общества, но совокупностію своей дѣятельности приносятъ ему богатые плоды въ будущемъ. Изъ такихъ людей выходятъ мыслители и администраторы, поэты и герои, артисты и джентльмены (принимая это слово въ его истинномъ значеніи). Но, къ сожалѣнію, изъ того же класса людей зарождаются или страдалцы своего генія (впрочемъ, подобные люди рѣдко остаются непризнанными), или, что бываетъ гораздо чаще, лица, гибнущія отъ неспособности употребить свои силы для блага себѣ и своимъ собратіямъ. Причина бѣдствія тутъ весьма понятна. Человѣческое общество не есть торговое депо, гдѣ всякій товаръ, пригодный и раскупаемый тутъ же, находитъ себѣ мѣсто по изъявленіи на него потребности; а одаренные люди не имѣютъ сходства съ сырыми произведеніями

отсылаемыми для сбыта туда, гдѣ оказывается на него наибольшій спросъ. Съ другой стороны, и одаренные люди по временамъ безсознательно уклоняются отъ своего долга, состоящаго въ томъ, чтобъ добросовѣстно искать въ обществѣ почвы, необходимой для ихъ дѣятельности. Отъ разлада между двумя силами, необходимыми одна для другой, безпрерывно происходятъ печальныя явленія и въ самомъ обществѣ, и еще болѣе, въ существованіи людей, щедро одаренныхъ природою. Тутъ надо искать основаніе героевъ, на первый взглядъ кажущихся озлобленными, мрачными, унылыми, непрактическими, вялыми, — наконецъ, *лишними*. Законъ природы тутъ часто приходитъ на помощь подобнымъ натурамъ, помогая имъ сживаться со всѣми несовершенствами свѣта. Но не всѣ натуры, подготовленныя къ полезной общественной дѣятельности, бываютъ способны на тяжелую и сугубую борьбу, за которой часто слѣдуетъ слава съ примиреніемъ. Не всѣ развитые дѣятели практичны по своей натурѣ, не всѣ они одарены нравственною силою, способностью къ труду и терпѣніемъ. Многіе уклоняются отъ дѣла при самомъ его началѣ. Многіе, начавши трудъ важно и благородно, сами производятъ себя въ лишніе люди и, вдобавокъ, еще грустно тѣшатся своимъ безсиліемъ.

Лишніе люди бывали всегда и во всѣхъ обществахъ, только видоизмѣненія ихъ различны въ каждомъ поколѣніи. Во всѣхъ просвѣщенныхъ классахъ каждаго народа они чахнутъ и живутъ, но типы ихъ бываютъ несходны между собою. Тургеневъ видалъ на своемъ вѣку не мало лишнихъ людей и имѣлъ случай изучить ихъ добросовѣстно. На его глазахъ выступилъ въ міръ науки, литературы и гражданской дѣятельности цѣлый кругъ юношей, щедро одаренныхъ природою, исполненныхъ вѣры во все прекрасное. Многіе изъ этихъ сверстниковъ его ученическихъ годовъ сразу поняли свое призваніе и отыскиали для себя утѣшительную дѣятельность. Иной изъ нихъ отдалъ всю душу наукѣ, другой сталъ служить отечеству болѣе практической службою, третій прославилъ свое имя въ мірѣ поэзіи. Другимъ житейскій успѣхъ дается труднѣе. Житейская дѣятельность не принесла съ собою лавровъ и розъ; но они, послѣ нѣсколькихъ колебаній, твердо пошли по своей скромной и, можетъ-быть, самой счастливой дорогѣ. Третьи не нашли себѣ мѣста для

дѣятельности, можетъ - быть, потому, что, какъ чахоточный Чулкатуринъ, искали это мѣсто не тамъ, гдѣ его искать слѣдовало. Общество ихъ не поняло, и они не захотѣли уразумѣть общества, а потому ихъ вѣкъ стоитъ назваться вѣкомъ истинно лишнихъ людей, достойныхъ одного сожалѣнія.

Остается намъ сказать нѣсколько словъ еще объ одномъ, нѣсколько низшемъ разрядѣ людей лишнихъ. Этотъ разрядъ — довольно многочисленный и самый несчастный въ мірѣ — состоитъ изъ лицъ далеко не передовыхъ по дарованію, но по положенію своему стоявшихъ нѣкоторое время въ кругу наиболѣе развитыхъ личностей своего времени. Вовлеченные въ міръ людей сильныхъ по уму и просвѣщенію, подготовленныхъ къ жизненной борьбѣ, они сами ни къ чему не готовы и ни въ чемъ не имѣютъ силы. Отъ сознанія своей слабости въ нихъ развивается съ особенной силою та стыдливость, мнительность, раздражительность, которыя дѣлаютъ этотъ разрядъ лишнихъ людей еще болѣе негоднымъ къ практической дѣятельности. Такимъ несчастливцамъ не бываетъ пріюта нигдѣ — ни въ водоворотѣ житейскихъ здоровыхъ интересовъ ни на прохладныхъ метафизическихъ вершинахъ, часто посѣщаемыхъ болѣе одаренными, хотя и лишними ихъ сверстниками. Ихъ страданія никого почти не трогаютъ, ихъ голосъ не слушается никѣмъ, ихъ болѣзненное самолюбіе вѣчно пугается и мучится отъ самой простой причины. Въ толпѣ безполезнѣйшихъ членовъ общества, въ заднихъ рядахъ науки и литературы, на заднихъ дворахъ нашей журналистики, имѣлось всегда нѣсколько жалкихъ людей такого разбора, очень часто добрыхъ по натурѣ, но остающихся безъ дѣла или вдающихся въ постыдныя крайности отъ сознанія своего ничтожества. Къ такому плачевному разбору людей надобно быть жалостливымъ и сострадательнымъ, хотя бы они, повидимому, стояли противнаго, хотя бы они, въ безнадежномъ своемъ ослѣпленіи, изрыгали хулу на все то, что мы считаемъ прекраснымъ въ мірѣ искусства. Если бы люди, издѣвающіеся надъ жалкими литературными крикунами, надъ бездарными зоилами ничтожнаго разряда, знали достаточно, сколько горя и страданія скрыто въ этихъ, повидимому, смѣшныхъ лишнихъ чудакахъ, ихъ бы отзывы и шутки прекратились въ минуту.

Чулкатуринъ Тургенева есть нѣчто среднее между высшимъ

отсылаемыми для сбыта туда, гдѣ оказывается на него наибольшій спросъ. Съ другой стороны, и одаренные люди по временамъ безсознательно уклоняются отъ своего долга, состоящаго въ томъ, чтобъ добросовѣстно искать въ обществѣ почвы, необходимой для ихъ дѣятельности. Отъ разлада между двумя силами, необходимыми одна для другой, безпрерывно происходятъ печальныя явленія и въ самомъ обществѣ, и еще болѣе, въ существованіи людей, щедро одаренныхъ природою. Тутъ надо искать основаніе героевъ, на первый взглядъ кажущихся озлобленными, мрачными, унылыми, непрактическими, вялыми, — наконецъ, *лишними*. Законъ природы тутъ часто приходитъ на помощь подобнымъ натурамъ, помогая имъ сживатьса со всѣми несовершенствами свѣта. Но не всѣ натуры, подготовленныя къ полезной общественной дѣятельности, бываютъ способны на тяжелую и сугубую борьбу, за которой часто слѣдуетъ слава съ примиреніемъ. Не всѣ развитые дѣятели практичны по своей натурѣ, не всѣ они одарены нравственною силою, способностью къ труду и терпѣніемъ. Многие уклоняются отъ дѣла при самомъ его началѣ. Многие, начавши трудъ важно и благородно, сами производятъ себя въ лишніе люди и, въдобавокъ, еще грустно тѣшатся своимъ безсиліемъ.

Лишніе люди бывали всегда и во всѣхъ обществахъ, только видоизмѣненія ихъ различны въ каждомъ поколѣніи. Во всѣхъ просвѣщенныхъ классахъ каждаго народа они чахнутъ и живутъ, но типы ихъ бываютъ несходны между собою. Тургеневъ видалъ на своемъ вѣку не мало лишнихъ людей и имѣлъ случай изучить ихъ добросовѣстно. На его глазахъ выступилъ въ міръ науки, литературы и гражданской дѣятельности цѣлый кругъ юношей, щедро одаренныхъ природою, исполненныхъ вѣры во все прекрасное. Многие изъ этихъ сверстниковъ его ученическихъ годовъ сразу поняли свое призваніе и отыскиали для себя утѣшительную дѣятельность. Иной изъ нихъ отдалъ всю душу наукѣ, другой сталъ служить отечеству болѣе практической службою, третій прославилъ свое имя въ мірѣ поэзіи. Другимъ житейскій успѣхъ дается труднѣе. Житейская дѣятельность не принесла съ собою лавровъ и розъ; но они, послѣ нѣсколькихъ колебаній, твердо пошли по своей скромной и, можетъ-быть, самой счастливой дорогѣ. Третьи не нашли себѣ мѣста для

дѣятельности, можетъ-быть, потому, что, какъ чахоточный Чулкатуринъ, искали это мѣсто не тамъ, гдѣ его искать слѣдовало. Общество ихъ не поняло, и они не захотѣли уразумѣть общества, а потому ихъ вѣкъ стоитъ назваться вѣкомъ истинно лишнихъ людей, достойныхъ одного сожалѣнія.

Остается намъ сказать нѣсколько словъ еще объ одномъ, нѣсколько низшемъ разрядѣ людей лишнихъ. Этотъ разрядъ — довольно многочисленный и самый несчастный въ мірѣ — состоитъ изъ лицъ далеко не передовыхъ по дарованію, но по положенію своему стоявшихъ нѣкоторое время въ кругу наиболѣе развитыхъ личностей своего времени. Вовлеченные въ міръ людей сильныхъ по уму и просвѣщенію, подготовленныхъ къ жизненной борьбѣ, они сами ни къ чему не готовы и ни въ чемъ не имѣютъ силы. Отъ сознанія своей слабости въ нихъ развивается съ особенной силою та стыдливость, мнительность, раздражительность, которая дѣлаютъ этотъ разрядъ лишнихъ людей еще болѣе негоднымъ къ практической дѣятельности. Такимъ несчастливцамъ не бываетъ пріюта нигдѣ — ни въ водоворотѣ житейскихъ здоровыхъ интересовъ ни на прохладныхъ метафизическихъ вершинахъ, часто посѣщаемыхъ болѣе одаренными, хотя и лишними ихъ сверстниками. Ихъ страданія никого почти не трогаютъ, ихъ голосъ не слушается никѣмъ, ихъ болѣзненное самолюбіе вѣчно пугается и мучится отъ самой простой причины. Въ толпѣ бесполезнѣйшихъ членовъ общества, въ заднихъ рядахъ науки и литературы, на заднихъ дворахъ нашей журналистики, имѣлось всегда нѣсколько жалкихъ людей такого разбора, очень часто добрыхъ по натурѣ, но остающихся безъ дѣла или вдающихся въ постыдныя крайности отъ сознанія своего ничтожества. Къ такому плачевному разбору людей надобно быть жалостливымъ и сострадательнымъ, хотя бы они, повидимому, стояли противнаго, хотя бы они, въ безнадежномъ своемъ ослѣпленіи, изрыгали хулу на все то, что мы считаемъ прекраснымъ въ мірѣ искусства. Если бы люди, издѣвающиеся надъ жалкими литературными крикунами, надъ бездарными зоилами ничтожнаго разряда, знали достаточно, сколько горя и страданія скрыто въ этихъ, повидимому, смѣшныхъ лишнихъ чудакахъ, ихъ бы отзывы и шутки прекратились въ минуту.

Чулкатуринъ Тургенева есть нѣчто среднее между высшимъ

нѣкотораго презрѣнія за свою нравственную вялость; но какъ человѣкъ, взятый изъ дѣйствительности, олицетворяющій собою извѣстныя стороны своего поколѣнія, онъ имѣетъ право на все наше вниманіе. Если бъ онъ и не былъ тѣмъ кроткимъ, убитымъ судьбою поэтически-развитымъ существомъ, какое является намъ въ „Дневникъ“, мы и тогда признали бъ въ немъ своего рода симпатичность. Нельзя не пожалѣть о томъ, что Тургеневъ представилъ намъ Чулкатурина чахоточнымъ, умирающимъ, прощающимся съ жизнью. Вслѣдствіе этой прихоти, имѣющей въ себѣ нѣчто рутинное, сочувствіе цѣлителя, отвращаясь отъ страданій Чулкатурина, какъ человѣка лишняго тянется къ тому же герою, какъ къ бѣдному и одинокому пациенту, осужденному на скорую кончину. Для того, чтобы наблюдать за тонкими сторонами души человеческой, надо видѣть ее въ нормальномъ положеніи, — не въ періодъ безнадежности или неисцѣлимаго отчаянія. Не грустный мотивъ повѣсти намъ непріятенъ, — непріятно намъ то, что грусть, ее наполняющая, частію происходитъ отъ причинъ внѣшнихъ и нарочно придуманныхъ сочинителемъ. Какъ дневникъ безнадежно больного, записка Чулкатурина совершенство въ своемъ родѣ — нѣкоторыя его страницы словно написаны послѣ тяжелаго пароксизма лихорадки; другія же напоминаютъ намъ, если позволено такъ выразиться, *свѣтлыя минуты болѣзни*, съ оттѣнкомъ успокоенія нѣжной мечтательности, трогательныхъ душевныхъ порывовъ. И все-таки, за интересомъ патологическимъ отчасти меркнетъ психологическая сторона разсказа, а самъ лишній человѣкъ дѣйствуетъ передъ читателемъ лишь въ одномъ эпизодѣ своей жизни, — эпизодѣ любовномъ, какъ про то можно догадаться.

Вообще нашъ авторъ слишкомъ часто вредитъ замыслу важныхъ повѣстей чрезъ свое пристрастіе къ любовнымъ включеніямъ. Конечно, онъ весьма силенъ въ своихъ разсказахъ, основанныхъ на любви; конечно, сама тема, по своей неистощимости, представляетъ много простору его дарованію, но бываютъ обстоятельства, при которыхъ повѣствователю не бесполезно сдерживать себя по сказанной части. Если бы „Дневникъ лишняго человѣка“ составлялъ цѣлую книгу, исторія Чулкатурина и Лизы Южиной нисколько бы не вредила идеѣ всей вещи; но теперь, при небольшомъ объемѣ повѣсти, она поглощаетъ собою цѣлый „Дневникъ“ и всего

героя. Только через этот эпизодъ, и то мимоходомъ, — признаемъ мы въ бѣдномъ Чулкатуринѣ человѣка, исполненнаго благородныхъ стремленій, кроткое существо, жаждущее любви, способнаго и на счастье, и на трудъ, и на примиреніе съ жизнью. Мы видимъ въ немъ и умъ, и нравственное развитіе, и образованіе не сравненно высшее той бѣдной сферы, куда судьба его бросила. Вся исторія Лизы и Чулкатурина дѣлаетъ величайшую честь автору, но значительно ли она подвигаетъ насъ въ познаніи лишнихъ людей? обнимаетъ ли она собою жизнь и духовный міръ героя, долженствующаго оказаться лицомъ типическимъ? Какъ ни валь и какъ ни хрупокъ Чулкатуринъ, всякій юноша скажетъ вамъ, что не можетъ человѣкъ взрослый, наконецъ, погибнуть отъ одной неудачной любви къ кому бы то ни было. Каждый строгій изслѣдователь современныхъ недуговъ пожелаетъ увидать лишняго человѣка въ столкновеніи съ другими важными сторонами жизни; а столкновенья, эти составляющія сущность всего замысла повѣсти, совершенно упущены изъ виду ея авторомъ. Жизнь наша состоитъ не изъ одной любви и не изъ однихъ умозрѣній надъ своей персоною: есть въ ней практическія стороны, съ которыми ни одинъ смертный не избѣгнетъ коллизіи; а между тѣмъ, Чулкатуринъ, лишній человѣкъ современнаго общества, живетъ какъ бы внѣ свѣта и всѣхъ его интересовъ. Мы даже не знаемъ, какъ онъ воспитывался, чѣмъ добывалъ онъ себѣ кусокъ хлѣба, почему именно онъ даетъ замѣтить, что искалъ себѣ мѣста, можетъ-быть, не тамъ, гдѣ бы слѣдовало. Есть еще одна совершенно неразъясненная черта въ лишнемъ человѣкѣ: рассказывая о своей несчастной страсти, онъ набрасываетъ страницы восхитительной прелести... Страницы эти, исполненныя высокой поэзіи, не есть авторская прихоть, не представляютъ разлада съ общимъ изложеніемъ дневника.

Тургеневъ не заставитъ ничтожнаго человѣка говорить такъ очаровательно: ни Пѣтушковъ ни Астаховъ въ „Запискахъ“ у него не произнесутъ такой крылатой лирической рѣчи. Стало-быть, мы получаемъ право признать въ „Лишнемъ человѣкѣ“ духъ поэтически развитой, очи, не чуждыя высокаго просвѣтлѣнія. Этому грустному дитяти вѣка нашего судьба послала на помощь крылатаго генія поэзіи, — если не той поэзіи, которая идетъ въ печать и даетъ славу

смертнымъ, — то, по крайней мѣрѣ, той, что озаряетъ и осмысливаетъ всю жизнь нашу. Любимая дѣвочка въ роцѣ, при солнечномъ закатѣ, еще не вырветъ могучаго поэтическаго звука изъ души, не одаренной способностью на подобные звуки. Герой Тургенева, какъ мы имѣемъ право его понимать, былъ вооруженъ однимъ лишь доспѣхомъ для борьбы жизненной; по какой же причинѣ мы, едва познакомившись съ нимъ, видимъ его безоружнымъ, слабымъ, истекающимъ кровью? Мы желаемъ знать, въ подробности знать о томъ, далеко ли провожалъ его на пути жизни крылатый геній, ему посланный, сколько разъ освѣщалъ онъ тернистую дорогу несчастнаго смертнаго, вслѣдствіе какихъ причинъ отлетѣлъ онъ отъ него, послѣ долгой борьбы, въ существованіе которой сомнѣваться невозможно? На вопросы эти „Дневникъ лишняго человѣка“ даетъ мало отвѣтовъ. Читателю представляется право думать, что вся исторія лишняго человѣка замкнута въ картинахъ его бѣдной любви, — по мы не можемъ такъ думать, несмотря на все наше довѣріе къ рассказчику.

Мы обсудили, насколько могли, главные достоинства и главные недостатки одной изъ повѣстей Тургенева, наиболѣе важныхъ въ цѣли его произведеній. Затѣмъ, общій выводъ скажется самъ собою. „Дневникъ лишняго человѣка“, не взирая на многія несовершенства исполненія, стоитъ назваться явленіемъ отраднымъ и много обѣщающимъ. По идеѣ своей, онъ касается тонкихъ и въ высшей степени замѣчательныхъ явленій въ современномъ обществѣ, — исполненіе его, хотя и имѣющее весьма замѣтный разладъ съ сказанной идеею, стоитъ великой похвалы въ художественномъ отношеніи. Форма дневника, допускающая нѣкоторыя отклоненія отъ объективности въ представленіяхъ, какъ нельзя лучше подходитъ къ дарованію автора, за него взявшагося. Не во многихъ повѣстяхъ Тургенева встрѣчаются проблески поэзіи столько же сильные, какъ въ „Дневникѣ лишняго человѣка“.

Дружининъ.

Рудинъ — сынъ своего времени.

Въ теченіе пяти лѣтъ трудясь надъ одной изъ больныхъ сторонъ нашего поколѣнія, посвящая свое вниманіе на изслѣдованіе исторіи людей лишнихъ въ обществѣ, Тургеневъ

все еще не охватывалъ всего вопроса съ должной полнотою. Его Веретьевы, Вязовнины, Чулкатурины — имѣли въ себѣ много жизненнаго, много близкаго къ нашему сердцу, — но имъ не приходилось ни разу дѣйствовать на просторѣ, становиться въ соприкосновеніе съ жизнью широко-понятою. Эти герои страдали и жили по маленькимъ уголкамъ, сталкивались съ не очень богатыми личностями, всюду приходили какъ чужаки-гости, выѣзжающіе изъ своихъ логовищъ только лишь по крайней необходимости. Въ Рудинѣ, сказывали намъ, читателю предстояло увидѣть нѣчто другое. Въ новой повѣсти долженъ былъ явиться весь современный челоуѣкъ, разсмотрѣнный съ точки зрѣнія моральныхъ несовершенствъ, смягченныхъ горькимъ ихъ сознаніемъ, его безсилія передъ разумно-практической стороной жизни, но безсилія, выкупаемаго другими утѣшительными сторонами характера. Рудинъ, лицо взятое изъ дѣйствительности, долженъ былъ служить олицетвореніемъ цѣлаго класса мыслящихъ и благонамѣренныхъ людей, понапрасну растратившихъ свои силы отъ неумѣнія привести свое существованіе въ гармонію съ той сферой, гдѣ должно было проникать это существованіе. Короче сказать, въ повѣсти ожидали мы встрѣтить нѣчто въ родѣ исповѣди цѣлаго поколѣнія, имѣвшего важное вліяніе на собственное развитіе наше. Тургеневъ, между всѣми современными писателями, имѣлъ всѣ данныя, необходимыя для подобной задачи. Заслуги и заблужденія благородныхъ, но нѣсколько *лишнихъ* товарищей его собственной юности, могли въ немъ, болѣе чѣмъ во всякомъ другомъ поэтѣ, встрѣтить судью зоркаго, но любящаго и неозлобленнаго. Наконецъ, онъ имѣлъ и право и возможность, съ помощью поэтической силы, ему данной отъ природы, возвести въ рядъ симпатическихъ образовъ весь запасъ своихъ долгихъ, добросовѣстныхъ наблюденій надъ современными недугами современныхъ тружениковъ жизни.

„Рудинъ“ появился въ январѣ 1856 года, — вторая часть повѣсти не заставила ждать себя долго, и все произведеніе закончилось въ томъ же году въ февральской книжкѣ „Современника“. Общій отзывъ читателей, и очень развитыхъ и очень неразвитыхъ, сказался весьма скоро, въ одной и той же формѣ. Самый тонкій цѣнитель и самый вѣтранный дилетантъ согласились въ одномъ приговорѣ: „Рудинъ“

есть вещь истинно замѣчательная и, мѣстами, неудовлетворительная“. Когда же пришлось опредѣлять точнѣе степень достоинства и недостатковъ новой повѣсти, — отзывы раздѣлились и представили изъ себя нѣчто сбивчивое.

Идея произведенія, по своей глубинѣ, могла выдержать какой угодно анализъ, хотя и тутъ одни цѣнители нашли, что Тургеневъ обошелся съ Рудинымъ весьма слабо, тогда какъ другіе почти обвиняли автора въ чрезмѣрной строгости приговора. Художественная сторона повѣсти, напротивъ того, сама давала на себя оружіе многимъ чрезъчуръ взыскательнымъ цѣнителямъ. Во многихъ мѣстахъ „Рудина“, вмѣсто живыхъ сценъ, тянулся голый рассказъ отъ авторскаго лица, вмѣсто личностей, рельефно-очертанныхъ, появились фигуры, едва обозначенныя не совсѣмъ вѣрною кистью. И со всѣмъ тѣмъ, повѣсть „Рудинъ“, разсматриваемая даже съ самой строго-художественной точки зрѣнія, признана была всѣми за новый, важный шагъ въ дѣятельности Тургенева. Въ ней не было недоконченностей и небрежностей, бросившихъ такую тѣнь на многія предшествовавшія повѣсти автора нашего: она отличалась богатою и многостороннею поэзіею, наконецъ, ея идея гармонировала съ формой, насколько оно было возможно при трудности задачи. Переходъ отъ цѣлаго ряда эпизодическихъ эскизовъ къ произведенію, имѣющему почти видъ романа, всегда выходитъ труднѣе, а Тургеневъ сладилъ съ этимъ переходомъ, какъ слѣдовало честному и добросовѣстному писателю его дарованія. Вся его новая вещь носила на себѣ привлекательный слѣдъ серіозной мысли, и, благодаря этому слѣду, поэтическія частности „Рудина“ имѣли въ себѣ нѣчто разительное, свѣжее, новое. Короче сказать, повѣсть особенно полюбилась людямъ, коротко знакомымъ со средствами ея сочинителя, цѣнителямъ, очень хорошо знающимъ, какихъ достоинствъ они вправѣ ждать отъ Тургенева, и съ какими слабыми сторонами поэта они должны мириться по необходимости.

Что такое Дмитрій Николаевичъ Рудинъ? — вотъ вопросъ, отъ разрѣшенія котораго зависитъ законность и правда всей повѣсти. Въ какой мѣрѣ этотъ человѣкъ, исполненный силы и слабости, вялости и энергіи, въ какой мѣрѣ онъ правиленъ, какъ дѣйствующій герой художественнаго созданія,

вѣренъ себѣ, какъ общественный типъ нашего времени? Есть ли между нами много Рудиныхъ, и не носить ли каждый изъ насъ, современныхъ русскихъ людей, въ душѣ своей какую-нибудь частицу тургеневскаго Рудина? Смѣло отвѣчаемъ — да, на всѣ вопросы сейчасъ сдѣланные. Рудинъ есть дитя своего времени, своего края и своей переходной эпохи. Рудины жили и живутъ между нами, дѣлая пользу и вредъ людямъ, ихъ окружающимъ. Многіе изъ насъ въ юности увлекались Рудинымъ, многіе изъ насъ въ былое время молодости слушали рудинскія импровизаціи такъ, какъ въ повѣсти, насъ занимающей, простодушный студентъ Басистовъ слушалъ вдохновенныя разсужденія Дмитрія Николаевича. Не одна дѣвушка съ теплой душой любила людей, въ родѣ Рудина, и горько платилась за свою привязанность. Не одинъ практическій смертный, подобный Лежневу, глядѣлъ на Рудина съ дружескихъ состраданіемъ, не одинъ презрѣнный злоязычникъ, въ родѣ Пигасова, устремлялъ стрѣлы своего остроумія на бѣдную, измученную жизнью особу Рудина. Рудины были не бесполезны обществу въ свое время, можетъ быть, они нужны ему и теперь, — во всякомъ случаѣ, никто не имѣетъ права кидать камнемъ въ этихъ вѣчныхъ странниковъ жизни, безпріютныхъ „инвалидовъ мысли“. Рудинъ много грѣшилъ, но ему должно быть прощено многое. за огонь любви истины, въ немъ горѣвшей, за неутомимое стремленіе къ идеалу, за его сочувствіе къ слабымъ, за его вражду къ житейской неправдѣ. Рудинъ много служилъ дѣлу добраго слова, хотя всю жизнь свою не могъ возвыситься до пониманія *дѣла*, до возможной и необходимой гармоніи съ средой его окружающей. Въ разединеніи *дѣла* и *слова* лежитъ корень всѣхъ недостатковъ Рудина, — основаніе всей его грустной, но близкой къ намъ личности. Рудинъ есть живой плодъ нашего ранняго, быстро развивающагося, порывистаго просвѣщенія. Рудина нельзя называть ни русскимъ человѣкомъ, ни космополитомъ, ни германцемъ, или какимъ-нибудь другимъ иностранцемъ. Онъ застрѣльщикъ между двумя арміями, усталый часовой между двумя лагерями. Европейское современное просвѣщеніе, не примѣненное къ жизни, дало намъ Рудина, но матеріалъ, изъ котораго создалось это лицо, — взятъ изъ нашего отечества, изъ круга людей, жившихъ между нами.

Рудинъ долженъ назваться человѣкомъ просвѣщеннымъ: сердце его, смягченное знаніемъ, благородная жажда идеала словно родилась съ нимъ вмѣстѣ. По уму и душѣ онъ опередилъ многихъ просвѣщенныхъ людей одного съ нимъ края, опередилъ — и остановился посреди блестящаго пути, не умѣя воспользоваться сокровищами, только что добытыми. Причина такого бездѣйствія, разрѣшившагося полнымъ безсиліемъ предъ практическою жизнью, заключается въ отсутствіи воли, въ неспособности къ *правильному воспріятію* началъ истиннаго просвѣщенія. Можно до глубины существа нашего пропитаться добрымъ словомъ, — и при всемъ томъ оказаться дѣтски-слабымъ въ тѣ минуты, когда предстанетъ необходимость сдѣлать дѣло изъ добраго слова. Человѣкъ просвѣщается тѣмъ же путемъ, какъ и общество, какъ и государство. Человѣкъ, просвѣщающій себя, долженъ быть для своего нравственнаго міра въ нѣкоторомъ смыслѣ тѣмъ же, чѣмъ былъ великій преобразователь Россіи, государь Петръ Великій, — для края, Богомъ ему ввѣреннаго. Подобно тому, какъ нашъ великій просвѣтитель, усиліями могучей воли, вводилъ великія идеи, имъ добытыя, въ жизнь и бытъ Россіи, всякій частный и слабый человѣкъ, обогащаясь сокровищами мудрости, обязанъ, во что бы то ни стало, сроднить эти сокровища съ своей жизнью, примѣнить ихъ къ средствамъ и потребностямъ среды, его окружающей. Мало одной горячей любви къ правдѣ, — надо проводить эту правду во всей жизни нашей. Мало проводить правду съ упорствомъ и необузданной горячностью, — надо быть мудрымъ, практическимъ, *своевременнымъ* въ ея примѣненіи. Одного идеала мало для просвѣщенія, съ одной благородной горячкою ничего не сдѣлаешь, съ однимъ краснорѣчивымъ словомъ не уйдешь далеко. Необходимо просвѣщенному дѣятелю жизни коротко знать всѣ средства той среды, гдѣ ему судьбой назначено жить. Онъ не долженъ требовать отъ младенца того, что можетъ дать лишь мудрецъ, ему подобный. Онъ не имѣетъ права возмущаться несовершенствами общества и, уединяясь на прохладныя метафизическія вершины, считать свою человѣческую обязанность исполненною. Пламенно воспринявъ изъ просвѣщенія то, что кажется ему свѣтлымъ и плодотворнымъ, онъ исполняетъ лишь одну вступительную часть своей задачи. Сама задача заключается въ жизни, въ

посильномъ и непреложномъ примѣненіи съ жизнью, въ неотступномъ и благотворномъ вліяніи на общество, среди котораго онъ родился.

Рудинъ и цѣлая семья Рудиныхъ — не поняли той задачи, о которой мы говорили сейчасъ — за вступительной ея частью (а эта часть была ими изучена въ совершенствѣ), они забыли всю сущность своей науки, упустили изъ виду весь долгъ своего существованія. Чужеземная мудрость ихъ не столько извратила, сколько отуманила, сердце ихъ осталось человѣчнымъ; но воля ихъ, слишкомъ парализованная развитіемъ созерцательныхъ способностей, не пошла съ нимъ въ уровень. Говоря метафорическимъ слогомъ, Рудины явились на жизненную битву съ полнымъ воображеніемъ и готовностью на подвигъ, но подвиговъ не могли совершить, потому что самое поприще боя было имъ совершенно незнакомо. Не ознакомясь со средствами своего противника, не имѣя понятія о мѣстахъ, имъ занятыхъ, — наши бѣдные бойцы мысли съ первыхъ шаговъ увидали себя окруженными, смятыми, сбитыми съ позиціи. Первая житейская неудача была для нихъ неудачей всей жизни, потому что для людей, въ родѣ Рудина, нѣтъ середины между безконечнымъ довѣріемъ къ своей силѣ и полнымъ упадкомъ всякой энергіи. Для Рудиныхъ нѣтъ ни житейскаго благороднаго упорства, ни искуснаго отступленія послѣ неудачи, ни несокрушимой вѣры въ свое назначеніе.

По замыслу Тургенева, главнымъ эпизодомъ повѣсти, тѣмъ эпизодомъ, который долженъ былъ составлять собою какъ бы ключъ къ уразумѣнію всей личности Рудина, считается исторія любви Дмитрія Николаевича къ Натальѣ Ласунской. Такъ какъ „Рудинъ“ не есть дневникъ или біографія или автобіографія, то расчетъ автора въ этомъ случаѣ весьма понятенъ: идея повѣсти не можетъ никогда раздробляться на нѣсколько равносильныхъ эпизодовъ, безъ ущерба всему произведенію. Во всякомъ трудѣ повѣствовательнаго свойства полезно сводить всѣ нити разсказа къ одному центру, объ этомъ спорить никто не будетъ. Но можно спорить и задумываться о томъ, соответствуетъ ли главный эпизодъ „Рудина“ значенію всей повѣсти, сосредоточиваетъ ли онъ въ себѣ всѣ данныя къ уразумѣнію личности героя, короче сказать, даетъ ли его художественная форма достаточное

разъясненіе на всю мысль, заданную себѣ авторомъ. По нашему личному мнѣнію, до этого, во что бы то ни стало, необходимаго результата — не достигъ нашъ авторъ. Нечего говорить о томъ, что онъ предпринялъ свой трудъ съ благороднымъ рвеніемъ, что онъ задумалъ его добросовѣстно и выполнилъ совершенно честно: не взирая на все это, не взирая на поэтическую силу, красящую собой весь эпизодъ, нами теперь разсматриваемый, главная интрига повѣсти отличается неполнотою. Отношенія Рудина и Натальи задуманы превосходно, художественная коллизія между словомъ и дѣломъ, между страстью и фразой, между юной рѣшимостью и вялымъ отсутствіемъ воли — стоитъ всего вниманія цѣнителей. Передъ честной, тихой, дѣвическою энергіей семнадцатилѣтней дѣвушки ярко выступаютъ всѣ противоположные недостатки Рудина, и самъ герой разоблачается во всей своей грустной дѣйствительности. И, несмотря на то, Рудинъ, и послѣ эпизода съ Натальей, остается тѣмъ же загадочнымъ, не вполне разъясненнымъ страдальцемъ, какимъ онъ былъ до своего послѣдняго свиданія съ любящей дѣвушкой. Самъ авторъ видитъ это, и, подобно мифологическому Сизифу, снова принимается за трудъ, только что конченный, стараясь съ помощью замѣтокъ Лежнева и его послѣдняго, превосходнаго разговора съ Рудинымъ дополнить то, что необходимо. Уже одно то обстоятельство, что прощаніе Натальи съ Дмитріемъ Николаевичемъ не занимаетъ собою послѣднихъ страницъ повѣсти, говорить о неполнотѣ ея главнаго эпизода. Почему же произошла такая неполнота, почему весь характеръ Рудина не обозначился передъ читателемъ черезъ основной узелъ всей нами разбираемой повѣсти?

Недостатокъ полной гармоніи между идеей повѣсти и главнымъ эпизодомъ по части ея воплощенія, по нашему мнѣнію, происходитъ отъ двухъ причинъ. Во-первыхъ, любовь Рудина къ Натальѣ не есть та любовь, при которой всѣ силы человѣка приходятъ въ напряженіе и вслѣдствіе того сосредоточиваются въ одномъ фокусѣ, драгоценномъ для художника-наблюдателя человѣческой природы. Горячая страсть дѣйствительно заставляетъ всякаго человѣка высказываться съ возможной полнотою, но дѣло въ томъ, что Дмитрій Николаевичъ Рудинъ не имѣетъ горячей страсти къ Натальѣ. Лежневъ, назвавшій Рудина кокеткой, холод-

нымъ энтузіастомъ, человѣкомъ, лишеннымъ крови и натуры, превосходно обозначилъ всю разницу, которая проявилась между блистательнымъ говоруномъ и тихой, неразговорчивой дѣвушкою, имъ заинтересовавшеюся. Наталья Ласунская живетъ любимымъ избранникомъ, не говоря ни одной фразы; Рудинъ, въ свою очередь, такъ и сыплетъ фразами — а разставшись съ любящей дѣвушкой, вспоминаетъ слова Донъ-Кихота Санхо-Пансѣ: „Свобода, другъ мой Санхо, это одно изъ драгоцѣннѣйшихъ достояній человѣка!“ Вотъ что говоритъ Рудинъ въ тѣ минуты, когда у любящей дѣвушки сердце разрывается на части! Наталья готова на всѣ жертвы, на всѣ доказательства своей преданности, на цѣлую жизнь нужды и тревоги; — въ отвѣтъ на всѣ стремленія возвышенной дѣвической натуры, Дмитрій Николаевичъ говоритъ ей: „ваша матушка не согласна. Нечего и думать объ этомъ“. Объясненіе Рудина съ Натальей превосходно, по своимъ совершенствамъ оно только подтверждаетъ мысль нашу о томъ, что, прослѣдивъ за исторіей рудинской любви, читатель все-таки не видитъ передъ собой, въ ясномъ образѣ, самого Рудина.

Изъ обстоятельства, сейчасъ нами разъясненнаго, истекаетъ и другая причина несовершенства повѣсти. *Рудины не поясняются черезъ страсть* — объ этомъ совершенно позабылъ нашъ авторъ. Предположивъ Дмитрія Николаевича безумно и горячо влюбленнымъ (всякія чудеса случаются на свѣтѣ), создавши другой типъ женщины и придумавши самую характеристическую коллизію между двумя лицами, мы все-таки увидимъ себя въ невозможности разгадать Рудина по исторіи его страсти. Рудинъ влюбленный, даже отчаянно влюбленный, поступилъ въ разрядъ любопытнѣйшихъ явленій для психолога, но, несмотря на то, судить по немъ о настоящемъ и всѣмъ намъ современномъ типѣ будетъ такъ же неудобно, какъ судить о свойствахъ и характерѣ незнакомаго человѣка, наблюдаемаго въ минуты тяжелой болѣзни. Для натуръ, подобныхъ Рудину, страсть къ женщинѣ можетъ быть горячею, холерою (какъ для Алексѣя Петровича въ Перепискѣ), — никакъ не нормальнымъ проявленіемъ всей ихъ души, какъ это бываетъ съ натурами здоровыми. Лежневъ или Волынцевъ, во влюбленномъ состояніи, останутся прежними твердыми, обыкновенными людьми, объясняемыми

роятно, учился, подобно Онѣгину, чему-нибудь и какъ-нибудь. Изъ него вышелъ бы, конечно, заурядный обитатель „дворянскихъ гнѣздъ“, если бы онъ не надѣленъ былъ блестящими способностями, живымъ, пытливымъ умомъ, и если бы судьба не привела его въ университетъ.

Что же дѣлалъ Рудинъ въ университетѣ, и что онъ вынесъ изъ него? Лежневъ довольно подробно объ этомъ рассказываетъ, и изъ его рассказовъ мы узнаемъ, что большую часть времени Рудинъ проводилъ въ такъ называемомъ „кружку“. Вотъ что, между прочимъ, говоритъ Гамлетъ Щигровскаго уѣзда про эти студенческіе кружки того времени: „Кружокъ — гибель всякаго самобытнаго развитія. Кружокъ приучаетъ къ болтовнѣ, отвлекаетъ васъ отъ уединенной благодатной работы, прививаетъ вамъ литературную чесотку, лишаетъ васъ, наконецъ, свѣжести и дѣвственной крѣпости души. Въ кружкѣ поклоняются пустому краснобаю... кружокъ — это заколдованный кругъ, въ которомъ погибъ не одинъ порядочный человѣкъ“. Въ этомъ нѣсколько крайнемъ взглядѣ щигровскаго Гамлета, конечно, много желчи разбитаго жизнью человѣка: безусловно отрицать пользу общенія, обмѣна мыслей между людьми, — хотя бы это и было въ тѣсномъ товарищескомъ кружкѣ, — конечно, нельзя.

По отношенію къ 40-мъ годамъ дѣло вовсе не въ самомъ кружкѣ, — но въ томъ, что люди собирались вмѣстѣ и общими силами разрѣшали интересовавшіе ихъ вопросы: это полезно и необходимо, — конечно, на ряду съ „благодатной уединенной работой“; — дѣло не въ самыхъ кружковыхъ собраніяхъ, а въ характерѣ самыхъ бесѣдъ, въ ихъ содержаніи, въ характерѣ той университетской науки, подъ вліяніемъ которой воспитывалась наша тогдашняя молодежь. Дѣло въ томъ, что университетская наука въ то время отличалась односторонней отвлеченностью: и въ университетѣ, и въ болѣе серіозной литературѣ, и въ литературныхъ кружкахъ царилъ Гегель съ его туманной философіей; и время, и силы тратились на безконечное разрѣшеніе всевозможныхъ отвлеченныхъ вопросовъ, положительно отдѣлявшихъ отъ насущныхъ вопросовъ окружающей дѣйствительной жизни настоящей китайской стѣной. Даже про лучшій изъ гегелевскихъ кружковъ — кружокъ Бѣлинскаго — А. Н. Пыпинъ говоритъ: „У нашихъ молодыхъ философовъ отношеніе къ жизни,

жъ дѣйствительности сдѣлалось школьное, книжное: всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной алгебраической тѣнью. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники (паркъ подъ Москвой), — шелъ для того, чтобы отдаться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ, и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмелькомъ или баба, вступившая въ разговоръ, — философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народности въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи“. Щигровскій Гамлетъ съ своей стороны восклицаетъ: „Какую, скажите на милость, пользу могъ я извлечь изъ энциклопедіи Гегеля? Что общаго, скажите, между этой энциклопедіей и русской жизнью?“ Лежневъ какъ бы подтверждаетъ это, говоря: „Нашъ кружокъ состоялъ тогда, говоря по совѣсти, изъ мальчиковъ, и мальчиковъ недоученыхъ. Философія, искусство, наука, самая жизнь — все это для насъ были одни слова, пожалуй, даже понятія, заманчивыя, прекрасныя, но разбросанныя, разъединенныя“. И вотъ о такихъ-то, для большинства „разъединенныхъ“, подчасъ даже малодоступныхъ и почти совсѣмъ оторванныхъ отъ жизни вопросахъ ведутся дебаты. Конечно, пользы при этомъ условіи могло быть очень мало, — и развивалось, главнымъ образомъ, краснобайство.

Такимъ именно характеромъ отличался тотъ студенческій кружокъ, въ который попалъ Рудинъ. На его несчастье, онъ отличался особенной способностью говорить, — говорить складно, умно, увлекательно. Лежневъ говоритъ про него: „Рудинъ превосходно развивалъ любую мысль, спорилъ мастерски. Читалъ онъ больше философскія книги, и голова у него была такъ устроена, что онъ тотчасъ же изъ прочитаннаго извлекалъ все общее, хватался за самый корень дѣла и уже потомъ проводилъ отъ него во всѣ стороны свѣтлыя, правильныя нити мысли, открывалъ духовныя перспективы... Ничего не оставалось бессмысленнымъ, случайнымъ: во всемъ высказывалась разумная необходимость и красота, все получало значеніе ясное и, въ то же время, таинственное, каждое отдѣльное явленіе жизни звучало аккордомъ, и мы сами, съ какимъ-то священнымъ ужасомъ благоговѣнія, съ сладкимъ сердечнымъ трепетомъ, чувствовали

себя какъ бы живыми сосудами вѣчной истины, орудіями ея, призванными къ чему-то великому“... Эта въ своемъ родѣ вдохновенная тирада Лежнева показываетъ намъ, между прочимъ, какой дѣйствительно выдающейся способностью увлекать другихъ горячимъ словомъ обладалъ Рудинъ. Благодаря именно этой способности, онъ и въ университетѣ, среди студентовъ-товарищей, продолжалъ собирать дань преклоненія передъ своей особой, быть предметомъ если не обожанія, то, какъ видно изъ словъ Лежнева, трепетнаго удивленія, какъ то было у себя въ деревнѣ. Это, конечно, очень льстило еще съ дѣтства избалованному и развитому самолюбію Рудина: онъ еще болѣе изощрялся въ своемъ ораторствѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ привыкалъ видѣть въ этомъ для себя серьезное дѣло, привыкалъ думать, что въ этомъ заключается все, что онъ долженъ дѣлать въ жизни, — тѣмъ болѣе потому, что ему не приходилось ни о чемъ, такъ сказать, реально-жизненномъ заботиться. Привыкшій съ ранняго дѣтства брать все готовымъ и при этомъ не спрашивать, даже и не подумать о томъ, откуда, чьими руками все это добыто, Рудинъ и въ университетѣ совершенно покойно бралъ деньги у товарищей, совсѣмъ не задаваясь вопросомъ о томъ, насколько все-таки это могло быть къ лицу такому философу-руководителю, какимъ онъ былъ для своего кружка.

Послѣ всего сказаннаго нетрудно отвѣтить на вопросъ, что далъ Рудину университетъ. Хорошаго сравнительно очень мало вынесъ Рудинъ изъ храма русской науки, и это хорошее заключалось прежде всего, конечно, въ тѣхъ, безспорно, высокихъ самихъ по себѣ идеяхъ, которыми богата была и философія Гегеля, и тѣ философскіе дебаты, которыми оглашалась скромная студенческая каморка Покорскаго. Эти идеи были отрывочны, мало имѣли связи съ запросами окружающей общественной жизни, — но онѣ все же будили серьезную мысль, все же говорили о высокомъ, о прекрасномъ, зажигали благороднымъ, освѣжающимъ огнемъ молодая, отзывчивая сердца. „Вы представьте“, рассказываетъ Лежневъ, „человѣкъ пять-шесть; одна сальная свѣча горитъ, чай подается прескверный, и сухари къ нему старые, престарые; а посмотрѣли бы вы на всѣ наши лица, послушали бы рѣчи наши! Въ глазахъ у cadaго восторгъ, и щеки пылаютъ, и сердце бьется, — и говоримъ мы о Богѣ, о правдѣ, о бу-

душности человѣчества, о поэзіи... Вотъ уже утро сѣрветъ, и мы раходимся тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у насъ и въ поминѣ тогда не было), съ какой-то пріятной усталостью на душѣ... Помниться, идешь по пустымъ улицамъ, весь умиленный, и даже на звѣзды какъ-то довѣрчиво глядишь, словно онѣ стали ближе и понятнѣе... Эхъ! славное было время, и не хочу я вѣрить, что оно пропало даромъ“. Къ этому нужно прибавить и ту жажду знанія, то желаніе итти впередъ, пополнить расширить, еще болѣе выяснить вызывающіе другъ друга вопросы, которыми искренно волновалась тогдашняя университетская молодежь. Но не меньше, пожалуй, развѣ еще не больше вынесъ, Рудинъ дурного изъ своего студенчества. Университетская жизнь не только не исправила въ Рудинѣ недостатковъ первоначальнаго, домашняго воспитанія, но, какъ мы видѣли, даже еще укрѣпила ихъ въ немъ; далѣе, она выработала изъ Рудина пустого, безцѣльнаго, самоуслаждающагося краснобая, для котораго обратилось въ потребность, такъ сказать, въ цѣль жизни возвышаться на трибунѣ и приковывать къ себѣ всеобщее вниманіе своими вдохновенными, но вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе чѣмъ наполовину, бесплодными рѣчами; наконецъ, университетъ не только не помогъ Рудину, хотя нѣсколько, познакомиться съ запросами и нуждами дѣйствительной жизни, отъ которыхъ еще съ дѣтства нѣжная материнская забота всячески удаляла Рудина, но онъ, можно сказать, даже еще болѣе отдалилъ юношу отъ самой дѣйствительной народной и общественной жизни, служенію которой онъ долженъ былъ себя посвятить. Вѣдь, не даромъ же, искушенный и побитый жизнью, щигровскій Гамлетъ восклицаетъ: „Какую, скажите на милость, пользу могъ я извлечь изъ энциклопедіи Гегеля? Чтò общаго, — скажите, — между этой энциклопедіей и русской жизнью?“

Но будемъ нѣсколько терпѣливѣе: покончивъ съ университетомъ, Рудинъ, вѣдь, поѣхалъ за границу, въ Германію, — къ самому первоисточнику тогдашней нашей науки и образованности; быть можетъ, эта самая „заграница“ освѣжила его и хотя нѣсколько направила на путь истины. Надежды на это, положимъ, немного: у насъ еще свѣжо воспоминаніе о почтеннѣйшемъ Пустозвоновѣ изъ „Записокъ охотника“. А вотъ что щигровскій Гамлетъ прибавляетъ въ своей

стороны къ этой картинѣ, говоря о своемъ пребываніи за границей: „Нечего и говорить“, сознается онъ, „что собственно Европы, европейскаго быта я не узналъ ни на волюсь; я слушалъ нѣмецкихъ профессоровъ и читалъ нѣмецкія книги на самомъ мѣстѣ рожденія ихъ... вотъ въ чемъ состояла вся разница“. Еще у себя, на Руси, привыкнувъ читать эти нѣмецкія книжки помимо жизни, т.-е. окружавшей его, родной, русской жизни, которая уже въ самомъ дѣтствѣ была отъ него заслонена „французскимъ его гувернеромъ — нѣмцемъ Филипповичемъ изъ нѣжинскихъ грековъ“, — привыкнувъ мыслить только по книгамъ, помимо жизни, — щигровскій Гамлетъ и въ Германіи также мало былъ склоненъ къ тому, чтобы непосредственно всмотрѣться въ самую жизнь, въ ту жизнь, на почвѣ которой родились эти книжки. Онъ правильно рассуждалъ, отправляясь за границу, что „наука-то, кажись, вездѣ одна“, но онъ не зналъ, какъ, — къ сожалѣнію, и до сихъ поръ еще многіе не знаютъ, — что наука, съ ея цѣлью — истиной, заключается не въ однѣхъ книжкахъ, что дѣйствительно овладѣть наукой — это значитъ умѣть сознать ея непосредственное возникновеніе изъ жизни, сдѣлаться способнымъ выводить эту самую науку и ея истины изъ всего, что насъ окружаетъ. Одна изъ причинъ того, что этого не достигали наши щигровскіе Гамлеты, заключалась въ томъ, что они не умѣли, не привыкли вглядываться въ самую жизнь, изъ которой рождаются настоящія научныя истины; они привыкли брать все готовымъ у другихъ, говорить и думать чужими, готовыми идеями и выводами. „Имъ выводы подавай“, говоритъ Лежневъ. „Гдѣ же нашему брату изучать то, чего еще ни одинъ умница въ книгу не вписалъ!“ съ горечью въ сердцѣ говоритъ щигровскій Гамлетъ: „Я бы радъ былъ брать у ней уроки, у русской жизни-то, — да молчитъ она, моя голубушка. Пойми меня, дескать, такъ, а мнѣ это не подъ силу: мнѣ вы подайте выводъ, заключенье мнѣ представьте“.

Но, вѣдь, и по характеру первоначальнаго воспитанія, и по характеру своего образованія, по самому образу жизни въ первую пору молодости, увлеченія и университетской болтовней, и заграничной отвлеченной наукой, щигровскій Гамлетъ не только ближайшій современникъ Рудина, но больше того: онъ кровный, родной, развѣ только старшій

братъ. Лежневъ какъ бы подтверждаетъ это: на вопросъ Александры Павловны, какимъ онъ нашелъ Рудина за границую, онъ отвѣчаетъ: „Я въ немъ открылъ то, о чемъ я говорилъ вамъ съ часъ тому назадъ“. А во время этого разговора Лежневъ изображалъ Рудина именно такимъ безпочвеннымъ философъ-краснобаемъ, ораторствующимъ наполовину для самоуслажденія съ чужихъ словъ, съ блескомъ, съ трескомъ, но почти безслѣдно и безплодно для окружающей жизни и людей. Для своей русской жизни, для своей родины Рудинъ и изъ-за границы вернулся такимъ же пустоцвѣтомъ, такимъ же складочнымъ мѣстомъ общихъ мѣстъ“, — какъ выражается щигровскій Гамлетъ, — какимъ и поѣхалъ въ нѣмецкіе края. И невольно повторишь вмѣстѣ съ тѣмъ же щигровскимъ Гамлетомъ: „Такъ зачѣмъ же ты таскался за границу? зачѣмъ не сидѣлъ дома да не изучалъ окружающей тебя жизни на мѣстѣ?“ Отвѣтъ на этотъ вопросъ намъ уже извѣстенъ: Рудины способны только проглатывать готовые выводы, съ блескомъ и самоуслажденьемъ развивать ихъ передъ такою же, какъ они сами, праздною публикою, которую они поражаютъ и умиляютъ своимъ трескучимъ краснобайствомъ. Именно въ такомъ положеніи мы застаемъ Рудина въ началѣ романа.

Въ высшей степени любопытную картинку представляютъ собою первыя минуты пребыванія Рудина у Ласунской: это прекрасная, какъ увидимъ сейчасъ, иллюстрація къ студенческимъ воспоминаніямъ Лежнева о Рудинѣ, — ко всему тому, что мы до сихъ поръ говорили о немъ.

На эти нѣсколько минутъ мы съ вами въ имѣніи столичной львицы — Дарьи Михайловны Ласунской, въ ея огромномъ барскомъ домѣ, воздвигнутомъ на вершинѣ холма по рисункамъ знаменитаго Растрелли, — съ колоннами, балконами, террасами, — въ ея салонѣ со всевозможными приспособленіями и украшеніями утонченнаго свѣтскаго вкуса. Теплый нѣтнй вечеръ. Въ открытыя окна льется ароматъ липовыхъ аллей и цвѣтниковъ. Въ салонѣ цѣлое общество сосѣдей, друзей, поклонниковъ. Всѣ въ особенномъ настроеніи; всѣхъ захватила, приковала къ себѣ вдохновенная, горячая, воодушевленная рѣчь одного человѣка. Этотъ человѣкъ — Рудинъ. Онъ говоритъ мастерски. Образы смѣняются образами; сравненія, то неожиданно смѣлыя, то поразительно вѣрныя, воз-

никаютъ за сравненіями. Онъ не ищетъ словъ: они сами послушно и свободно приходятъ къ нему на уста, и каждое слово, кажется, такъ и льется прямо изъ души, пылаетъ всѣмъ жаромъ убѣжденія. Стоя у окна, не глядя ни на кого въ особенности, онъ, вдохновленный общимъ сочувствіемъ и вниманіемъ, близостью молодыхъ женщинъ, красотою ночи, увлеченный потокомъ собственныхъ ощущеній, возвысился до краснорѣчія, до поэзіи... Хозяйка въ восторгѣ отъ новаго украшенія своего салона, съ увлеченіемъ слѣдитъ за потокомъ воодушевленной рѣчи и съ нѣжнымъ выраженіемъ въ голосѣ невольно восклицаетъ: „Vous êtes un poète!“ Сосѣди и друзья выполнѣ согласны съ ней и съ восторженнымъ удивленіемъ внимаютъ оратору. Но больше всѣхъ поражены только что окончившій курсъ въ университетѣ молодой Басистовъ и семнадцатилѣтняя дочь хозяйки, Наташа. У Басистова чуть дыханье не захватило; „онъ сидѣлъ все время съ открытымъ ртомъ и широко раскрытыми глазами, — и слушалъ, слушалъ, какъ отъ роду не слушалъ никого“, говоритъ намъ авторъ, „а у Наташи лицо покрывалось алой краской, и взоръ ея, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнѣлъ и заблесталъ“. Еще не совсѣмъ замолкли послѣднія, заключительныя слова Рудина, объяснявшаго значеніе приведенной имъ туманной скандинавской легенды о птичкѣ, — какъ заботливые слуги доложили, что поданъ ужинъ, и все общество, насладившись пищею духовной, направилось въ столовую, гдѣ всѣхъ ожидало хлѣбосольство гостепріимной хозяйки. А въ это время въ ветхой и низкой крайней избушкѣ сосѣдней деревеньки умиралъ человѣкъ преждевременно приведенный къ могилѣ невозможными условіями жизни; въ той же деревнѣ бѣгали нечесанные, немытые, заброшенные ребятишки, потому что матери за ними некогда смотрѣть: она и въ полѣ, она и на барскомъ дворѣ, она и у себя на дворѣ, — все одна; а кругомъ вездѣ безпроглядное невѣжество и тягота, непочатый уголъ нужды и самыхъ насущныхъ жизненныхъ вопросовъ, — дѣла и дѣла безъ конца. И стоитъ это дѣло, и царить это невѣжество, и гнетъ свою спину безпомощный простой человѣкъ, и ждетъ народная русская жизнь своихъ дѣятелей, — въ то самое время, когда за блестящимъ ужиномъ г-жи Ласунской „самый звукъ Рудинскаго голоса, сосредоточенный и тихій, увеличиваетъ еще болѣе обаяніе всего того,

что онъ говоритъ: кажется всѣмъ, что его устами говорить что-то высшее... онъ говоритъ о томъ, что придаетъ вѣчное значеніе временной жизни человѣка"... Ужинъ кончился. Упоенные и духовной и тѣлесной пищею, ораторы и восторженные слушатели расходятся, — и вотъ они уже успокоились на своихъ мягкихъ, покойныхъ ложахъ, какъ бы исполнивъ свой долгъ передъ обществомъ, передъ родиной... А эта самая родина стоитъ попрежнему одинокая, и родная нива тщетно ждетъ своихъ настоящихъ пахарей...

Въ этой поистинѣ грустной картинкѣ своего перваго „блестящаго“ дебюта у Ласунской Рудинъ является передъ нами именно такимъ, какимъ мы его могли представлять себѣ по рассказамъ о немъ Лежнева, по всему тому, что мы знали о его первоначальномъ домашнемъ воспитаніи, о его университетской жизни. Рудинъ попалъ въ свою сферу, онъ именно въ своей тарелкѣ: на него обращены всѣ взоры; онъ — предметъ всеобщаго вниманія и удивленія; онъ вызываетъ восторженное настроеніе своимъ вдохновеннымъ краснорѣчіемъ, — и онъ счастливъ, весь отдается охватившему его увлеченію, — и Рудинъ весь тутъ, и ничего больше отъ него ожидать и нельзя, въ чемъ убѣждаютъ насъ факты, послѣдовавшіе за его первымъ дебютомъ.

Вѣдь онъ явился къ Ласунской собственно для того только, чтобы передать порученіе своего знакомаго, — и на это, конечно, совершенно достаточно было бы одного вечера; но Рудинъ сразу почувствовалъ себя у Ласунской въ привычной для себя, излюбленной сферѣ и, вмѣсто одного вечера, совершенно незамѣтно, — именно незамѣтно, заживаетъ на нѣсколько мѣсяцевъ. Рудину и въ голову не приходитъ вопросъ, какъ это онъ безспорно умный, развитой, образованный, по крайней мѣрѣ, начитанный, человѣкъ, живетъ цѣлые мѣсяцы безъ всякаго дѣла у мало знакомыхъ ему людей и тратитъ время на пустое краснбайство. Онъ этого не чувствуетъ и не замѣчаетъ: вѣдь для него какъ бы вернулась его студенческая жизнь: и теперь такъ же, какъ и тогда, онъ собираетъ со всѣхъ дань и духовную, — въ видѣ удивленія своему ораторскому таланту, — и матеріальную — въ видѣ займовъ въ счетъ будущихъ благъ; ему ни о чемъ не приходится заботиться, для него все готово, и онъ не только не смущается грустной, — съ нашей точки зрѣнія,

прямо-таки обидной для него ролью, а чувствует себя совершенно въ своей сферѣ и ораторствуетъ себѣ да ораторствуетъ; и если бы не исторія съ Наташей, онъ и дольше бы оставался.

Мы подошли теперь къ высшей степени характерному для Рудина его сближенію съ Наташей. Мы видѣли, съ какимъ восторженнымъ вниманіемъ слѣдила Наташа за первымъ дебютомъ Рудина; на другой день онъ началъ дебютировать уже специально для Наташи. Свой дебютъ онъ началъ во время прогулки съ нею съ гимна въ честь поэзіи: „Поэзія — языкъ боговъ; она разлита вездѣ, она вокругъ насъ... Взгляните на эти деревья, на это небо, — отовсюду вѣетъ красотою и жизнью; а гдѣ красота и жизнь, тамъ и поэзія“. Наташа сразу почувствовала въ себѣ вчерашнее настроеніе; она живо вспомнила его вчерашія восторженные рѣчи о томъ, что придаетъ вѣчное значеніе временной жизни человека, и поэтому положительно изумилась, когда на ея вопросъ, — что онъ думаетъ дѣлать въ деревнѣ, — Рудинъ ей отвѣчалъ, что ему „пора отдохнуть“. Но ея слова: „Отдыхать могутъ другіе, а вы... вы должны трудиться, стараться быть полезнымъ...“, напомнили ему о его обычной роли трибуна и глашатая великихъ отвлеченныхъ истинъ. Рудинъ даже какъ бы извинился передъ Наташей, что забылъ о своей роли: „Ваше одно слово напомнило мнѣ мой долгъ, указало мнѣ мою дорогу“, говорилъ онъ ей: „Да, я долженъ дѣйствовать. Я не долженъ скрывать свой талантъ, если онъ у меня есть; я не долженъ растрачивать свою силу на одну болтовню, пустую, бесполезную болтовню, на одни слова...“ „И слова его полились рѣкою“, прибавляетъ отъ себя авторъ: „онъ говорилъ прекрасно, горячо, убѣдительно — о позорѣ малодушіи и лѣни, о необходимости дѣлать дѣло, — говорилъ долго и окончилъ тѣмъ, что еще разъ благодарилъ Наталью Алексѣвну и совершенно неожиданно стиснулъ ей руку, промолвивъ: „Вы — прекрасное, благородное существо“.

Какъ въ первый день ораторскаго дебюта у Ласунской Рудина вдохновляло и вводило въ его обычную роль общее сочувствіе и вниманіе, близость молодыхъ женщинъ и то обаяніе, которое онъ на всѣхъ производитъ, — такъ точно и теперь, дебютируя въ той же роли по отношенію къ На-

ташѣ, онѣ вдохновлялся тѣмъ восторженнымъ трепетомъ, который возбуждали его слова въ молодой, неопытной, чистой, воспріимчивой, горячей натурѣ дѣвушки. Ея широко открытые блестящіе глаза, ея пылающія восторгомъ щеки, то сочувствіе къ нему, „бѣдному скитальцу“, какъ называетъ себя Рудинъ, которое сквозило въ каждомъ ея искреннемъ, вылившемся изъ души словѣ, — все это какъ бы опыняло Рудина и къ наслажденію чувствовать себя предметомъ удивленія и восторженнаго поклоненія присоединяло еще наслажденіе чувствовать себя предметомъ первой, чистой, зарождающейся и съ каждой минутой усиливающейся любви чистаго, молодого, глубокаго по душѣ и сердцу существа. Рудинъ не могъ этого не чувствовать, не могъ этого не замѣчать: Наташа была слишкомъ неопытное, чистое, честное, открытое существо, чтобы играть какую-нибудь роль, кокетничать: ея сердце все было открыто; она прямыми, чистыми, невинными глазами говорила о томъ, чѣмъ волновалось ея сердце; она прямо, открыто шла навстрѣчу горячему, честному призыву, который ей слышался въ восторженныхъ рѣчахъ Рудина. И Рудинъ не могъ этого не понимать, не могъ этого не чувствовать, — тѣмъ болѣе, что ему было уже 35 лѣтъ, онъ уже видѣлъ жизнь и испыталъ въ ней многое. И онъ чувствовалъ и прекрасно понималъ, что дѣлается въ душѣ Наташи; онъ даже настаивалъ на томъ, чтобы Наташа высказалась, и онъ добился этого.

„Наташѣ Алексѣевнѣ!“ говорилъ трепетнымъ шопотомъ Рудинъ, когда Наташа, уступая его просьбѣ, пришла къ нему на свиданіе: „я хотѣлъ васъ видѣть... я не могъ дожидаться завтрашняго дня. Я долженъ вамъ сказать, чего я не подозревалъ, чего я не сознавалъ даже сегодня утромъ... я люблю васъ“... „Я люблю васъ“, — повторилъ онъ: „и какъ я могъ такъ долго обманываться, какъ я давно не догадался, что люблю васъ!.. А вы?... Наташѣ Алексѣевнѣ, скажите, вы?...“ — Вы видите, я пришла сюда, проговорила Наташа, едва переводя духъ. „Нѣтъ, скажите, вы любите меня?“ — Мнѣ кажется... да... прошептала она. „Ахъ, Наташѣ Алексѣевнѣ, какъ я счастливъ! Теперь ужъ ничто насъ не разъединитъ!“ восторженно отозвался на это Рудинъ. — Вы говорите, вы счастливы? — какъ бы желая окончательно увѣриться въ этомъ, спросила Наташа. „Я? Нѣтъ человѣка

въ мірѣ счастливѣ меня! Неужели вы сомнѣваетесь?“ Наташа приподняла голову, взглянула ему въ глаза и рѣшительно сказала: „Знайте же: я буду ваша!“

Итакъ, цѣль достигнута: дѣвушка любить и готова идти за любимымъ человѣкомъ. Что же мы можемъ или, правильнѣе, должны, именно должны ожидать отъ Рудина? Человѣкъ уже далеко не молодой, безспорно умный, образованный, развитой, уже не мало испытавшій въ жизни, прекрасно видитъ, что производить глубокое, сильное впечатленіе на юную, неопытную, страстную и воспріимчивую по натурѣ дѣвушку, радуется, когда убѣждается въ этомъ, добивается окончательной взаимности, вызываетъ на рѣшительное объясненіе, наконецъ, — достигаетъ всего этого. Конечно, у подобнаго человѣка должно же быть сознаніе важности и серіозности того шага, который онъ дѣлаетъ, — онъ долженъ, конечно, понимать, что беретъ на свои руки судьбу и счастье молодой, неопытной, чистой, честной дѣвушки, которая довѣрчиво откликнулась на его призывъ, увѣренная найти въ немъ самомъ, въ его дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ все то, что такъ увлекало ее въ его восторженныхъ рѣчахъ; онъ долженъ же знать, куда онъ ее поведетъ, что онъ ей дастъ, какъ онъ оправдаетъ тѣ ея ожиданія, которыя естественно наполняютъ ея сердце, настроенное и взволнованное его же возвышенными рѣчами объ истинномъ смыслѣ жизни, объ обязанности каждаго изъ насъ дѣлательно трудиться на пользу человѣчества. Дѣвушка подала ему свою руку; онъ, какъ мы видѣли, съ восторгомъ принялъ ее, горячо, восторженно увѣряя дѣвушку, что онъ теперь счастливѣйшій человѣкъ въ мірѣ, что ничто теперь не разъединитъ ихъ. Ну, кажется, все конечно, и наступило время дѣйствовать, и дѣйствовать, конечно, ему, этому „счастливѣйшему“ человѣку въ мірѣ“. Что же Рудинъ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ намъ поистинѣ безсмертная сцена послѣдняго его свиданія съ Наташей у Авдюхина пруда.

Послѣ рѣшительнаго объясненія съ матерью, которая объявила, что „она скорѣе согласится видѣть Наташу мертвою, чѣмъ женою Рудина“, Наташа, отвѣтивъ матери, что скорѣе умереть, чѣмъ выйти за другого, рѣшила покончить со всѣмъ прошлымъ и отдать свою судьбу въ руки любимаго человѣка. Уходя послѣ этого на рѣшительное свиданіе съ Рудинымъ,

она мысленно прощалась со своимъ домомъ, со своимъ прошедшимъ: она твердо была увѣрена, что ее ожидаетъ надежная, серіозная, любящая рука, на которую она можетъ смѣло опереться для того, чтобы вмѣстѣ съ любимымъ человекомъ пуститься навстрѣчу превратностямъ жизни, — и кого же она встрѣтила у Авдюхина пруда? того ли Рудина — благороднаго, смѣлаго, убѣжденнаго бойца за правду, за счастье, какимъ она привыкла представлять его себѣ по его безчисленнымъ рѣчамъ? А вотъ послушаемъ самого Рудина.

Во-первыхъ, онъ пресеріозно захохалъ и заволновался тѣмъ, что Дарья Михайловна узнала о его свиданіи съ Наташей, и презабавно все выпрашивалъ у Наташи мелкія подробности ея послѣдняго разговора съ матерью. Затѣмъ, когда Наташа, раздраженная этими странными разспросами, прямо поставила вопросъ: „Какъ вы думаете, что намъ надобно теперь дѣлать? Я пришла за совѣтомъ. Вы — мужчина. Я привыкла вамъ вѣрить, я до конца буду вѣрить вамъ“, — Рудинъ, какъ застигнутый врасплохъ, растерянно отвѣчалъ: „Да какой совѣтъ могу я дать вамъ? Покориться судьбѣ: я бѣденъ; но если даже я былъ бы богатъ, то для васъ была бы тяжела разлука съ вашей семьей, гнѣвъ вашей матушки“, и т. д. Въ отвѣтныхъ горькихъ словахъ какъ громомъ пораженной этимъ совѣтомъ Наташи мы находимъ въ высшей степени правдивую характеристику Рудина: Какъ! я прихожу къ вамъ за совѣтомъ, и въ какую минуту, и первое ваше слово: покориться... Покориться! Такъ вотъ какъ вы примѣняете на дѣлѣ ваши толкованія о свободѣ, о жертвѣ... Мама была права: вы точно, отъ нечего дѣлать, отъ скуки, пошутили со мной... Зачѣмъ же вы не остановили меня? зачѣмъ вы сами... Вы такъ часто говорили о самопожертвованіи... но, знаете ли, если бы вы сказали мнѣ сегодня, сейчасъ: — „Я тебя люблю, но я жениться не могу, я не отвѣчаю за будущее, дай мнѣ руку и ступай за мной“, — знаете ли, что я бы пошла за вами, знаете ли, что я на все рѣшилась?... Но, вѣрно, отъ слова до дѣла еще далеко, и вы теперь струсили точно такъ же, какъ струсили третьяго дня передъ Волынцевымъ... Я до сихъ поръ вѣрила, каждому вашему слову вѣрила... Впередъ, пожалуйста, взвѣщивайте ваши слова, не произносите ихъ на вѣтеръ... Я нисколько не сомнѣваюсь въ вашей честности:

вы не въ состояніи дѣйствовать изъ расчета; но развѣ я въ этомъ желала убѣдиться... Вы не ожидали всего этого, — вы меня не знали... вы не любите меня... „Ваша матушка не согласна... это ужасно!“ — вотъ все, что я слышала отъ васъ. Вы ли это, вы ли это, Рудинъ? Нѣтъ, прощайте!...“ •

Чернышевъ.

Положительныя стороны въ Рудинѣ.

Люди того поколѣнія, типическимъ представителемъ котораго служить тургеневскій герой (Рудинъ), почти уже сошли со сцены: немногіе послѣдніе могиканы идеалистовъ сороковыхъ годовъ остались теперь, да и среди нихъ сколько утратившихъ не только былой идеализмъ, но даже всякій образъ человѣческій! Не будь художественныхъ воспроизведеній этого отжившаго типа, въ свое время игравшаго такую громадную роль въ нашей жизни и въ ея трудномъ и упорномъ стремленіи къ самосознанію, — не будь этихъ всѣмъ знакомыхъ фигуръ Тентетникова, Бельтова, Рудина, Райскаго, Верховенскаго — мы съ трудомъ могли бы составить себѣ понятіе о цѣломъ періодѣ развитія русской жизни, періодѣ необыкновенно тревожномъ въ глубинѣ, хотя, повидимому, и спокойномъ на поверхности. Теперь же, благодаря художественному творчеству Гоголя, Герцена, Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, мы имѣемъ самое живое, самое точное и опредѣленное представленіе о внутреннемъ складѣ жизни упомянутаго періода, о его настоящихъ, а не показныхъ, не формальныхъ только герояхъ. Передъ нами эти герои возстаютъ во весь ростъ, со всѣми своими выдающимися качествами и недостатками, ихъ значеніе опредѣляется какъ нельзя болѣе ясно, итоги этого значенія подведены художниками съ замѣчательной вѣрностью и безпристрастіемъ. И конечно, въ этой живой работѣ названныхъ художниковъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ занимаетъ небольшая эпопея о Дмитріи Рудинѣ, благородномъ россійскомъ теоретикѣ добраго стараго времени, зажигавшемъ юныя сердца изящнымъ краснорѣчіемъ и блестящей діалектикой, будившемъ спящую жизнь, повидимому, могучими порывами непреодолимаго убѣжденія въ необходимости дѣла, и тѣмъ не менѣе на первыхъ же порахъ

пасовавшемъ передъ всякимъ настоящимъ жизненнымъ дѣломъ, постоянно трусившемъ передъ дѣйствительностью. Ни въ одномъ изъ произведеній другихъ художниковъ не описанъ такими сочувственными чертами упомянутый благородный теоретикъ, потому что ни одинъ изъ русскихъ художниковъ не подходилъ такъ близко къ его умственному и нравственному складу, какъ подходилъ самъ Тургеневъ. Не даромъ же, несмотря на усилія стать на самую объективную точку зрѣнія въ оцѣнкѣ настоящей сущности рудинскаго типа, его творецъ, при всей своей замѣчательной художественной выдержкѣ, не сладилъ съ избранной задачей и невольно измѣнивъ ей, въ знаменитомъ эпилогѣ почти „поклонился тому, что сжигалъ“, въ продолженіе всей своей эпопеи.

Полное „развѣнчаніе“ рудинскаго типа, полное разоблаченіе его отрицательныхъ сторонъ, разоблаченіе безпощадное, даже, можно сказать, злобное разоблаченіе, сдѣлано было гораздо позже другимъ художникомъ — Достоевскимъ, въ его „Бѣсахъ“. Въ лицѣ Степана Трофимовича Верховенскаго мы встрѣчаемся съ Рудинымъ, захваченнымъ новымъ тревожнымъ жизненнымъ движеніемъ въ эпоху довольно близкую къ намъ, съ Рудинымъ, ужъ состарѣвшимся, окончательно распатавшимся и умственно и нравственно, и дошедшимъ въ своей жизненной карьерѣ до того положенія, которое пророчески предсказывалъ этому герою озлобленный циникъ Пигасовъ, когда онъ увѣрялъ, что Рудинъ „кончитъ тѣмъ, что умретъ на рукахъ престарѣлой дѣвы, которая будетъ думать о немъ, какъ о гениальнѣйшемъ человѣкѣ въ мірѣ“. Достоевскій еще усилилъ пророческое предсказаніе Пигасова: его Степанъ Трофимычъ даже въ барынѣ, у которой онъ состоитъ приживальщикомъ, не возбуждаетъ о себѣ иного представленія, какъ только о жалкомъ, „пустомъ, безславномъ и малодушномъ“ человѣкѣ. И однакоже этотъ одряхлѣвшій и окончательно вывѣтрившійся идеалистъ угасаетъ среди дикой и цинической грубой оргіи, чуждой ему и вполне антипатичной жизни новаго поколѣнія все съ тою же юношескою, даже младенческою вѣрою въ свои эстетически-гуманные принципы, доведенные имъ почти до смѣшного значенія. Комическое противорѣчіе между дѣйствительностью, окружающею стараго идеалиста, между практикою его жизни

и теоретическими его убѣжденіями, нарисовано Достоевскимъ съ удивительной силой и злостью: тутъ вы видите уже настоящую казнь типа, настоящую месть художника всему тому, что въ этомъ типѣ было ложнаго, фальшиваго, наноснаго, несогласнаго съ народными идеалами и привившагося къ нему, вслѣдствіе „западническо-дворянской“ его отрѣшенности отъ русской почвы. Несмотря на мстительный юморъ, съ которымъ нарисованъ художникомъ образъ Верховенскаго, онъ, въ концѣ-концовъ, выходитъ если не трагическимъ, то, во всякомъ случаѣ, возбуждаетъ глубокую жалость своей убогой безпомощностью. Выцвѣтшая, вылинявшая, ветхая фигура стараго доктринера-либерала, съ котораго буйный вихорь новаго стремленія жизни сорвалъ нѣкогда эффектно драпировавшую его тогу возвышенно-краснорѣчиваго идеализма, оставивъ только загрязненные и оборванные клочья этой тоги, походить на фигуру нищаго, растрепанную неожиданно застигшимъ его ненастьемъ.

Не говоря уже о томъ, что Тургеневъ по своей натурѣ, вообще женственно-деликатной, не былъ способенъ къ такому страстному увлеченію художнической мстительностью, какое свойственно Достоевскому, онъ не могъ развѣнчать такъ полно и такъ беспощадно типъ Рудина уже и потому одному, что въ эпоху созданія его романа этотъ типъ далеко еще не развѣнчала и сама жизнь. Напротивъ, Рудинъ въ то время имѣлъ еще несомнѣнное героическое значеніе и возвышался цѣлой головой надъ окружающей его дѣйствительностью. Пускай его тревоги были по сущности своей эгоистичны, но, во всякомъ случаѣ, тотъ эгоизмъ, который царилъ въ тогдашнемъ обществѣ, былъ въ тысячу разъ хуже эгоизма Рудина, ибо въ рудинскомъ эгоизмѣ выступало сознаніе личности, а въ эгоизмѣ тогдашняго общественнаго большинства сказывались только полуживотные инстинкты. Пускай его тревоги были безплодны, выражались лишь въ изящномъ краснорѣчьи, въ словесной пропагандѣ, въ увлекательной діалектикѣ; но у тогдашняго соннаго общества не было никакихъ, даже безплодныхъ тревогъ: оно предпочитало всякимъ тревогамъ лѣнивый сонъ, лѣнивую апатію. Краснорѣчивая проповѣдь Рудиныхъ была нужна, была въ свое время полезна: она нарушала этотъ сонъ, она давала толчокъ застоившемуся жизненному строю, дремавшимъ силамъ, осо-

бенно силамъ юнымъ, въ которыхъ она поднимала духъ, возбуждала благородныя и пылкія стремленія къ развитію. (Въ романѣ Тургенева эта сторона нравственнаго вліянія Рудина показана очень ярко на Натальѣ, на Басистовѣ). И къ тому же, развѣ та „простая“ среда, передъ которою, по замыслу Тургенева, долженъ былъ оказаться несостоятельнымъ его эгоистъ-теоретикъ, „кипящій въ дѣйствиіи пустомъ“ — развѣ эта среда въ лицѣ благодушныхъ помѣщиковъ, въ родѣ Лежнева и Волинцева, даже въ лицѣ Натальи, обнаруживала какую-нибудь настоящую дѣятельность, развѣ она не взлелѣивала, какъ и Рудинъ, только личныя стремленія, не услаждаясь эгоизмомъ, обеспеченнымъ чужимъ трудомъ? Рудинъ жилъ на чужой счетъ, на счетъ тогдашней интеллигенціи не совсѣмъ даромъ; онъ платилъ за свое далеко не обеспеченное, бродячее существованіе возбуждающимъ краснорѣчіемъ, блестящими фейерверками своихъ фразъ; ну, а тѣ благодушные дворяне средней руки, которые осуждали Рудина за „нечестность“, займы безъ отдачи и проживаніе на чужой счетъ, — вѣдь они жили же мирно и спокойно на счетъ крѣпостныхъ мужичковъ и при этомъ даже и не прозрѣвали, что благодушествуютъ очень и очень эгоистически. Рудинъ-то хоть, по крайней мѣрѣ, мучился тѣмъ, что у него „слова, одни слова, дѣлъ не было“; а этихъ мирныхъ и благодушныхъ людей какія же такія „дѣла“ были, кромѣ услажденія себя и своихъ домочадцевъ сельскою обеспеченною жизнью? Выставляютъ обыкновенно въ укоръ Рудину, что онъ чуть не погубилъ Натальи, которая, по выраженію Лежнева, ставила на карту душу, тогда какъ Рудинъ волоска не ставилъ, и холодно игралъ съ нею въ игру развиванія. Чуть-чуть не погубилъ! Но, вѣдь, однакоже не погубилъ въ концѣ-то концовъ и даже пользу принесъ молодой дѣвушкѣ: помогъ ей образоваться, доработать ея натуру, ея характеръ. Тургеневъ очень хорошо взвѣсилъ все это въ своемъ романѣ и „развѣнчалъ“ рудинскій типъ въ мѣру, совсѣмъ не такъ, какъ потомъ развѣнчивала и принижала его наша либеральная критика. Эта критика, въ лицѣ Добролюбова, примѣняла Рудина къ всероссійскому байбаку и лежебоку Ильѣ Ильичу Обломову, а въ лицѣ Евгенія Маркова изображала его чуть ли не пошлымъ и лживымъ болтуномъ и бездѣльникомъ, будто бы изображеннымъ Тургеневымъ для того,

чтобъ принизить его передъ людьми полей и даже вывести такую мѣщанскую мораль: „не уповай на свои собственныя дарованія, смирись передъ жизнью, и не будешь скитаться въ кибиткахъ и носить старые скуртуки“. Мало этого: на „старомъ скуртукѣ“ Рудина Марковъ построилъ такое заключеніе, что будто бы послѣднюю страницу эпилога Тургеневъ написалъ съ цѣлью выставить смерть Рудина въ жалкомъ и позорномъ видѣ. „Рудинъ, — съ изумительнымъ апломбомъ разсуждаетъ Марковъ, — погибаетъ безвѣстною и бессмысленною смертію на баррикадѣ чуждаго ему города, защищая чуждые ему интересы, въ старомъ скуртучишкѣ, съ тупою, бесполезною саблею, неряшливымъ сѣдымъ старичкомъ съ обезсилившимъ голосомъ“. Вѣроятно, по мнѣнію критика, Тургеневу для настоящаго апофеоза смерти Рудина слѣдовало представить его погибающимъ на баррикадѣ или въ эффектномъ испанскомъ плащѣ и „въ шляпѣ съ перомъ“, какъ поетъ Мефистофель въ оперѣ Гуно; или, еще лучше, въ новомъ генеральскомъ мундирѣ съ блестящими пуговицами, аксельбантами и эполетами, съ великолѣпно отточенной шпагой, — словомъ, такимъ героемъ, какіе обыкновенно изображаются на плохихъ литографіяхъ. Для того же, чтобы шпага Рудина не оказалась „бесполезной“, онъ, конечно, долженъ былъ бы ею, прежде чѣмъ его пронзила пуля, проколоть, по крайней мѣрѣ, десятка два солдатъ. Вотъ это была бы картина „героической“ смерти! А то, помилуйте, Рудинъ описывается у Тургенева такъ просто: „появился высокій человѣкъ въ старомъ скуртукѣ, подпоясанномъ краснымъ шарфомъ, и соломенной шляпѣ на сѣдыхъ, растрепанныхъ волосахъ. Въ одной рукѣ онъ держалъ красное знамя, въ другой — кривую и тупую саблю, и кричалъ что-то напряженнымъ тонкимъ голосомъ, карабкаясь кверху и помахивая знаменемъ и саблей. Венсенскій стрѣлокъ прицѣлился въ него — выстрѣлилъ... Высокій человѣкъ выронилъ знамя — и, какъ мѣшокъ, повалился лицомъ внизъ, точно въ ноги кому поклонился... Пуля прошла ему сквозь самое сердце“. По мнѣнію Маркова, въ этомъ описаніи Тургеневъ хотѣлъ изобразить неряшливаго старичка въ старомъ скуртучишкѣ — никакъ не болѣе этого. По мнѣнію Маркова, вообще оцѣнивая отношеніе Тургенева къ его герою, нельзя не сознаться, что для автора не было никакой художественной необходимости

сочетать теоретичность съ такими пошлыми чертами характера и такою презрѣнно-жалостною судьбою, какія выпали на долю Рудина.

Я привелъ здѣсь это удивительное „мнѣніе“ Маркова ради того, чтобы показать, какъ либеральная критика искажала значеніе рудинскаго типа и правдивое отношеніе къ нему Тургенева. Надѣюсь, что упомянутая причина извинить въ глазахъ читателей нѣкоторую неумѣстность въ моемъ этюдѣ критической полемики. „Мнѣнія“, подобныя приведенному, совершенно произвольны, и оцѣнка судьбы Рудина въ качествѣ „презрѣнно-жалостной“, оцѣнка рудинскаго типа, какъ типа пошлаго, совсѣмъ не согласуется съ тѣми данными, какія находимъ мы въ произведеніи Тургенева. Тургеневъ, повторяю еще разъ, безъ сомнѣнія задавался тенденціей развѣнчать рудинскій типъ, разоблачить его моральную и общественную несостоятельность, бесплодную теоретичность его стремленій, но у Тургенева не было ни малѣйшаго намѣренія принижать этотъ, во всякомъ случаѣ, выдающійся типъ передъ окружающею его средою, а напротивъ, было невольное сочувствіе этому типу, была невольная душевная симпатія. И это сочувствіе, эта невольная душевная симпатія сдѣлали то, что одностороннее тенденціозное „развѣнчаніе“ типа не удалось художнику, и, онъ, вопреки извѣстной поговоркѣ, начавъ за упокой, свелъ за здравіе Рудина. Инстинктивное сочувствіе художника помогло Тургеневу въ этомъ романѣ правильно освѣтить фигуру его героя и выставить его отношенія къ развитію русской жизни совершенно вѣрно и правдиво въ художественномъ и въ историческомъ смыслѣ. Въ этотъ моментъ нашего общественнаго роста, который захватываетъ Тургеневъ въ своемъ романѣ, его герой несомнѣнно игралъ не пошлую роль и далеко не презрѣнно-жалкую по сущности, какъ увѣряла либеральная критика, хотя печальная судьба Рудина и могла возбуждать жалость, какъ возбуждаетъ ее судьба всякаго неудачника, пришедшагося „не ко времени“ и терпящаго жестокіе удары жизни вслѣдствіе этого. Жалкую роль и, можетъ-быть, даже презрѣнную люди рудинскаго типа стали играть уже впослѣдствіи, гораздо позже, когда жизнь развилась вокругъ нихъ въ ширь и въ высъ, а они съ естественнымъ угасаніемъ своихъ умственныхъ и нравственныхъ силъ начали все больше и больше терять ея

пониманіе и продолжали пребывать въ своемъ узкомъ кружковомъ доктринерствѣ, въ своей мнимолиберальной теоретичности, продолжали не признавать народной жизни, витая праздною и одряхлѣвшей мыслью въ облакахъ излюбленныхъ эстетическихъ и политическихъ принциповъ, навѣянныхъ любезнымъ имъ Западомъ, почерпнутыхъ изъ старыхъ доктринерскихъ французскихъ и нѣмецкихъ книжекъ. Этотъ новый фазисъ въ положеніи и значеніи людей рудинскаго типа, какъ я упоминалъ выше, нарисованъ въ „Бѣсахъ“ Достоевскаго — произведеніи удивительномъ по силѣ и глубинѣ художественнаго захвата не менѣе тургеневскаго романа. Но „развѣнчаніе“ рудинскаго типа, сдѣланное Тургеньевымъ имѣетъ, мало общаго съ развѣнчаніемъ, сдѣланнымъ Достоевскимъ: послѣдній, дѣйствительно, жестоко казнить своего героя, а Тургеньевъ своего только душевно сожалеетъ и сочувственно грустить о его оторванности отъ жизни, но отнюдь не принижаетъ его предъ сомнительною простотою и эгоистическимъ благодушіемъ среды, его окружающей. Да и странно было бы, если бы Тургеньевъ принизилъ Рудина хоть, напримѣръ, передъ Волинцевымъ, который, положимъ, хорошій человѣкъ, но пороку однако не выдумаетъ и, во всякомъ случаѣ, представляетъ собою не болѣе, какъ только олицетвореніе буржуазныхъ достоинствъ. Въ эпилогѣ романа, написанномъ необыкновенно тепло, Тургеньевъ, устами Лежнева, очень ясно разбираетъ сущность своего героя и очень вѣрно опредѣляетъ его значеніе. „Отчего ты, — спрашиваетъ Лежневъ Рудина, — съ какими бы помыслами ни начиналъ дѣло, всякій разъ непременно кончалъ его тѣмъ, что жертвовалъ своими личными выгодами, не пускалъ корней въ не добрую почву, какъ бы жирна она ни была? И онъ самъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ: это происходило оттого, что „не духъ празднаго безпокойства живетъ въ тебѣ; огонь любви къ истинѣ въ тебѣ горитъ и, видно, несмотря на всѣ твои дразги, онъ горитъ въ тебѣ сильнѣе, чѣмъ во многихъ, которые даже не считаютъ себя эгоистами, а тебя, пожалуй, называютъ интриганомъ“. Вотъ справедливый приговоръ Рудину и, конечно, это приговоръ самаго автора, и онъ очень далекъ отъ той оцѣнки либеральной критики, которая напрасно силилась выставить Рудина то байбакомъ, то презрѣннымъ балтуномъ и даже пошлякомъ. „Огонь любви къ истинѣ“ горѣлъ и

въ Тургеневѣ, когда онъ разоблачалъ моральную несостоятельность людей рудинскаго типа, когда онъ желалъ показать, что эгоистическіе порывы личности, отрывающейся во имя теоріи отъ жизни, отъ почвы,

Ненужны намъ, затѣмъ, что всё они
Такъ хороши, такъ ярки, такъ красивы!

Огонь любви къ истинѣ горѣлъ въ нашемъ художникѣ, когда, рисуя грустную судьбу Рудина, онъ какъ бы хотѣлъ сказать вмѣстѣ съ тѣмъ же суровымъ поэтомъ-идеалистомъ, изъ котораго цитированы мною два предыдущіе стиха, что для дѣятельности русскаго человѣка, кромѣ блестящаго пути теоретическихъ порывовъ и мнимо-великихъ подвиговъ,

Есть путь иной, гдѣ вѣра не легка:
Сгораешь въ немъ порыва скорый пламень,
Есть долгій трудъ, есть подвигъ червяка:
Онъ точитъ дубъ, долбитъ и капля камень.

Но Тургеневъ погрѣшилъ бы, какъ художникъ и какъ мыслитель, противъ истины если бы, сводя съ пьедестала своего героя, онъ низвелъ его въ грязь пошлости. И только либеральная близорукость можетъ видѣть въ заключительной страницѣ эпилога, изображающей смерть Рудина, намѣреніе художника прибавить его герою послѣднюю жалкую и презрѣнную черту. Нѣтъ, не съ такимъ намѣреніемъ написана эта страница: ею Тургеневъ хотѣлъ еще разъ подтвердить, что его Рудинъ, при всемъ отсутствіи натуры, при всемъ безсиліи характера и шаткости воли, могъ подъ вліяніемъ идейнаго порыва пойти даже на смерть, хотя бы и за чуждое, но, по его мнѣнію, великое дѣло; Тургеневъ наглядно хотѣлъ объяснить, что

Тотъ, чья жизнь бесполезно разбилася,
Можетъ смертью еще доказать,
Что въ немъ сердце не робкое билось,
Что умѣлъ онъ любить...

Таково значеніе этой заключительной страницы эпилога, и въ ней Рудинъ представленъ вовсе не жалкимъ старичишкой, а напротивъ, немножко даже театрално-аффектнымъ инсургентомъ. Сцена смерти Рудина, быть можетъ, невѣрна въ историческомъ отношеніи, потому что, сколько известно,

никто изъ русскихъ идеалистовъ сороковыхъ годовъ, по крайней мѣрѣ, изъ идеалистовъ выдающихся, на баррикадахъ парижскихъ не погибалъ. Иные изъ нихъ, какъ на примѣръ, Герценъ, любовались въ качествѣ политическихъ артистовъ уличными парижскими мятежами, бродили около баррикадъ, но, должно быть, бродили съ осторожностью стороннихъ наблюдателей, какъ, впрочемъ, и подобало имъ. Но будучи невѣрной исторически, смерть Рудина въ художественномъ смыслѣ не представляется наяткой: напротивъ, какъ послѣдній аккордъ надорванной струны, какъ послѣдній порывъ бесполезнаго великодушія, бесполезнаго напряженія разбитыхъ жизнью силъ идеалиста-теоретика, эта космополитическая смерть за чужое дѣло заканчиваетъ очень хорошо обрисовку рудинскаго типа, пополняетъ ее послѣдней рѣзкой и яркой чертой.

Буренинъ.

Среда и люди въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“.


Послѣ Пушкина рѣдко кто изъ нашихъ писателей пользовался такой любовью публики, какъ Тургеневъ. Романъ его „Дворянское гнѣздо“ (1859) вызвалъ необыкновенный общій восторгъ. Причина его необычайнаго успѣха таится въ особенностяхъ дарованія Тургенева. Онъ умѣетъ въ неиспорченной природѣ человѣка открыть то поэтическое начало, ту божественную искру, которая — по выраженію Гоголя — хоть разъ, какъ „блистающая радость“, промчится въ жизни человѣка, чтобы согрѣть ее на все остальное время. Тургеневъ владѣетъ даромъ подмѣтить это поэтическое начало въ жизни человѣка и выразить его въ живомъ образѣ. Оттого-то онъ болѣе, чѣмъ кто-либо изъ новѣйшихъ писателей, очаровывалъ своихъ читателей или — по выраженію того же Гоголя — „окуривалъ уноительнымъ куревомъ людскія очи“.

Тургеневъ вообще мастеръ рисовать русскую природу и русскихъ людей; но ни въ одномъ изъ его произведеній не видно столько свѣтлыхъ картинъ природы и ни въ одномъ съ такой любовью не раскрыта душа его героевъ, какъ въ романѣ „Дворянское гнѣздо“. Содержаніе для этого романа взято изъ жизни дворянскаго сословія. Мѣсто дѣйствія, вся обстановка, главные лица — все изъ той же самой среды.

Повѣсть развѣртывается свободно, широко и увлекательно. Не только главные лица, но и второстепенныя, чрезвычайно занимательны сами по себѣ. Кромѣ того, эти лица служатъ или для того, чтобы посредствомъ ихъ яснѣе обрисовывались главные характеры, или же для того, чтобы выступили тѣ или другія черты нравовъ изображаемаго общества. Мѣстами повѣсть раступается, чтобы дать мѣсто вставкамъ, настолько существеннымъ, что при помощи ихъ становится виднѣе смыслъ какъ отдѣльныхъ частей романа, такъ и всего сочиненія. Вотъ, напримѣръ, два большіе, эпизода. Гл. VIII—XVI широкими рѣзкими чертами рисуютъ нравы и обычаи въ дворянскомъ родѣ Лаврецкихъ, потомъ — исторію дѣтства, воспитанія и студенческихъ годовъ Ѳедора Лаврецкаго, наконецъ — его же неудачную женитьбу и всѣ тѣ душевныя и семейныя потрясенія, которыя онъ пережилъ и отъ которыхъ пріѣхалъ искать спасенія на родинѣ. Второй эпизодъ: глава XXV — неожиданный пріѣздъ къ Лаврецкому стараго его товарища Михалевича, нескончаемый, горячій споръ о предметахъ самыхъ отвлеченныхъ, а затѣмъ — о своей молодости, разочарованіяхъ, тяжелыхъ урокахъ дѣйствительности и лучшихъ идеалахъ человѣка образованнаго и благороднаго. Въ спорѣ этомъ выясняются многія стороны какъ обоихъ друзей, такъ и того времени, подъ вліяніемъ котораго они провели свои университетскіе годы. Въ другихъ мѣстахъ, живописная, согрѣтая чувствомъ, повѣсть смѣняется сценами, цѣлымъ рядомъ разговоровъ. Сцены идутъ быстро, съ необыкновеннымъ оживленіемъ и полнотой. Само собою разумѣется, что тутъ-то съ особенной выразительностью и раскрываются характеры дѣйствующихъ лицъ, черты нравовъ изображаемаго времени и общества. Тонъ повѣствованія вездѣ проникнутъ искреннимъ чувствомъ, мѣстами юмористиченъ, напримѣръ въ изображеніи сентиментальной Марьи Дмитриевны: мѣстами переходитъ въ явную насмѣшку, напримѣръ, въ изобличеніи щепетильнаго тщеславнаго Паншина; мѣстами кипитъ глубокимъ негодованіемъ и презрѣніемъ, напримѣръ въ изображеніи Варвары Павловны; но зато мѣстами звучитъ высокимъ лиризмомъ, напримѣръ, при изображеніи душевныхъ движеній и особенно Лаврецкаго. Всѣ эти элементы изложенія, взятые вмѣстѣ, составляютъ силу, красоту и увлекательность тургеневскаго романа.

Основная идея этого произведенія подсказывается авторомъ во многихъ мѣстахъ романа, напримѣръ: въ исторіи воспитанія Лаврецкихъ вообще, а Федора Ивановича въ частности; въ томъ мѣстѣ спора съ Михалевичемъ, гдѣ послѣдній клеймить друга своего названіемъ эгоиста и, не слушая оправданія Лаврецкаго, что его *съ дѣтства вывихнули*, громить его кличкой *злостнаго начитаннаго байбака*, который сознательно лежитъ, не принимается за дѣло и это — въ такое время, когда въ Россіи, по словамъ Михалевича „на каждой отдѣльной личности лежитъ долгъ, отвѣтственность великая передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собой!“ Еще — въ томъ мѣстѣ, гдѣ авторъ позволяетъ читать въ душѣ Лаврецкаго новыя, живительныя впечатлѣнія деревни, сельскаго труда, сельской природы. „Вотъ когда я на днѣ рѣки“, — думалъ Лаврецкій по возвращеніи въ деревню: — „и всегда, во всякое время тиха и неспѣшна здѣсь жизнь. Кто входитъ въ ея кругъ, покоряйся: здѣсь не зачѣмъ волноваться, нечего мутить; здѣсь только тому и удача, кто прокладываетъ свою тропинку не торопясь, какъ пахарь борозду плугомъ. И какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой бездѣйственной тиши!— На женскую любовь ушли мои лучшіе годы: пусть же вытрезвить меня здѣсь скука, пусть успокоитъ меня, приготовить къ тому, чтобы и я умѣлъ не спѣша дѣлать дѣло“. Окончательно же и сполна Тургеневъ высказываетъ идею романа въ эпилогѣ. Вотъ это мѣсто: „Лаврецкій самъ бы себя не узналъ, если бы могъ такъ взглянуть на себя, какъ онъ мысленно взглянулъ на Лизу. Въ теченіе этихъ восьми лѣтъ совершился, наконецъ, переломъ въ его жизни, тотъ переломъ, котораго многіе не испытываютъ, но безъ котораго нельзя остаться порядочнымъ человѣкомъ до конца: онъ дѣйствительно *пересталъ думать о собственномъ счастьи*, о своекорыстныхъ цѣляхъ. Онъ утихъ и — къ чему таить правду? — постарѣлъ не однимъ лицомъ и тѣломъ, постарѣлъ душою; сохранить до старости сердце молодымъ, какъ говорятъ иные, и трудно и почти смѣшно; тотъ уже можетъ быть доволенъ, кто не утратилъ вѣры въ добро, постоянства воли, охоты къ дѣятельности. Лаврецкій имѣлъ право быть довольнымъ; онъ сдѣлался дѣйствительно хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился *пахать землю* и трудился не для одного себя; онъ, насколько

могъ, обезпечилъ и упрочилъ быть своихъ крестьянъ“. И далѣе, при взглядѣ на свою прошлую жизнь: „грустно стало ему на сердцѣ, по не тяжело и не прискорбно: сожалѣть ему было о чемъ, стыдиться — нечего. Наконецъ, въ привѣтъ молодому поколѣнію: „играйте, веселитесь, растите, молодыя силы! жизнь у васъ впереди, и вамъ легче будетъ жить: вамъ не придется, какъ намъ, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о томъ, какъ бы уцѣлѣть — и сколько изъ насъ не уцѣлѣло! а вамъ надобно дѣло дѣлать, работать, — и благословеніе нашего брата старика будетъ съ вами!“ — Послѣ всѣхъ этихъ разъясненій не трудно читателю вывести слѣдующія основныя мысли изъ этого романа. Во-первыхъ, что жажда наслажденій, жажда личнаго счастья обманчива: она не только не даетъ счастья, но, вообще, не можетъ дать прочнаго содержанія для жизни. Эта мысль развита и въ романѣ Гончарова, именно въ характерѣ Ольги Ильинской и въ характерѣ Обломова. Во-вторыхъ, что-то поверхностное, одностороннее воспитаніе и образованіе, которое давалось въ былое время въ дворянской средѣ, не могло развить въ человѣкѣ полного, дѣятельнаго и нравственнаго характера, а служило скорѣе душевнымъ „вывихомъ“, какъ выразился Лаврецкій; и для выправки такого вывиха требовалось много силъ, а представлялось мало вѣроятности, успѣха. Наконецъ, въ-третьихъ, что, благодаря могучимъ преобразованіямъ, сдѣланнымъ державною рукою въ русской жизни, — и въ дворянской средѣ водворился новый, животворный духъ, исчезли тѣ условія, при которыхъ прежде уже съ дѣтства воспитаніе человѣка шло вкривь и вкось; поколѣніе, слѣдующее за Лаврецами, можетъ развиваться правильно, жить жизнью полною, общественною, счастливою.



Значительнѣйшія лица этого романа: Лизавета Михайловна Калитина, Лаврецкій, жена его — Варвара Павловна, Лизина бабушка — Марѳа Тимоѣевна Пестова и Паншинъ. На трехъ первыхъ преимущественно построена вся драма отношеній, съ которыми соприкасаются остальные лица романа.

Лиза — въ высшей степени симпатичный и замѣчательный типъ современной образованной дѣвушки (провинціальной барышни). Она напоминаетъ Татьяну Пушкина, но гораздо выше ея въ нравственномъ отношеніи. Лиза не могла

получить отъ своей пустой, сентиментальной матери никакого солиднаго воспитанія. Училась она усидчиво: „безъ труда ей ничего не давалось“, говоритъ авторъ. Какъ и Татьяна, —

Она въ семьѣ своей родной
Казадась дѣвочкой чужой.

Существо сосредоточенное, свѣтлое, отчасти восторженное, Лиза выросла подъ сильнымъ вліяніемъ своей няни. Разсказы няни о мученикахъ и сподвижникахъ глубоко запали ей въ душу и воспитали въ ней глубокое религіозное чувство. Оно-то проникло собою всѣ ея стремленія и поступки. Вотъ какъ авторъ рисуетъ свою героиню въ началѣ романа: „у ней не было *своихъ словъ*, но были *свои мысли*, и шла она своей дорогой, не спрашивая у другихъ, что ей дѣлать. Она была мила, сама того не зная. Въ каждомъ ея движеніи высказывалась невольная, нѣсколько неловкая, грація. Голосъ ея звучалъ серебромъ юности. Малѣйшее ощущеніе удовольствія вызывало привлекательную улыбку на ея губы, придавало глубокій блескъ и какую-то тайную ласковость ея засвѣтившимся глазамъ. *Вся проникнутая чувствомъ дома*, боязнь оскорбить кого бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, она любила всѣхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога восторженно, робко, нѣжно“. Въ своей замкнутой семьѣ Лиза, конечно, не могла получить ни малѣйшаго знанія людей. Ея нравственное чувство служило ей единственнымъ руководителемъ и оберегателемъ во всѣхъ сношеніяхъ съ людьми. Благодаря этому чувству, она не потерялась въ пустотѣ окружающей жизни. Среди этой пустоты она какъ будто предчувствовала, или угадывала иной, лучшій порядокъ вещей и удивительно строго и твердо прошла своимъ путемъ между людьми, чужими ей по мыслямъ и по развитію. Въ самыхъ трудныхъ положеніяхъ жизни Лиза руководствуется все тѣмъ же нравственнымъ чувствомъ: оно подсказываетъ ей, что дѣлать. Когда Варвара Павловна разрушила ея надежду на счастье, Лиза говоритъ Лаврецу: „теперь вы видите сами, что счастье зависитъ не отъ насъ, а отъ Бога“. Тутъ, правда, не видно рѣшимости сопротивляться враждебнымъ вліяніемъ и стараться побѣдить *ихъ*; но недостатокъ энергіи вознаграждается глубокимъ само-

отверженіемъ Лизы. Она любитъ, страдаетъ, переноситъ нравственныя потрясенія съ истиннымъ геройствомъ, не входитъ ни въ какія сдѣлки съ совѣстью. Ея счастье разбито, и вотъ какъ она говоритъ о томъ своей бабушкѣ: „Все кончено; кончена моя жизнь съ вами. Такой урокъ не даромъ; да я ужъ не въ первый разъ объ этомъ думаю. Счастье ко мнѣ не шло. Даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю: и свои грѣхи, и чужіе, и какъ папенька богатство нажилъ; я знаю все. Все это отомолить, отомолить надо“. И затѣмъ Лиза разрываетъ связь съ жизнью дѣйствительной, съ которою, впрочемъ, никогда не могла и не хотѣла сдружиться, и устраиваетъ себѣ жизнь другую, по своей собственной идеѣ, которую усвоила давно. Такая рѣшимость со стороны молодой дѣвушки есть, конечно, своего рода героизмъ. Нравственный образъ Лизы Тургенева далеко оставляетъ за собою личность Пушкинской Татьяны, а ихъ раздѣляютъ всего 20—30 лѣтъ. Свѣтлою является Лиза въ началѣ романа, свѣтлою проходитъ передъ зрителемъ, черезъ всѣ степени развивающейся драмы, и такую же свѣтлою скрывается въ монастырскую келью.

Характеръ Лаврецакаго разработанъ Тургеневымъ съ необычайною тонкостью, умѣньемъ и любовью. Выше было сказано, что для того, чтобы сдѣлать читателю понятнымъ плохое воспитаніе Лаврецакаго, а также для того, чтобы объяснить, какъ умный, серіозный Лаврецкій могъ ошибиться въ выборѣ жены, авторъ рассказываетъ намъ исторію всего семейства Лаврецкихъ. Исторія начинается съ ихъ жестокаго прадѣда, а оканчивается отцомъ - англоманомъ. Этотъ англоманъ задумалъ дать своему сыну (т.-е. герою романа) такое воспитаніе, чтобы юноша вышелъ совершеннѣйшимъ спартанцемъ, былъ бы чуждъ слабостей человѣческой природы. И для этого, между прочимъ, англоманъ держалъ своего сына вдали отъ всякаго женскаго вліянія и даже — знакомства. Въ мастерской, живой и вѣрной картинѣ фамиліи Лаврецкихъ видно, какъ въ зеркалѣ, ужасное состояніе образованныхъ поколѣній въ XVIII столѣтія и въ первой четверти нынѣшняго. Видны крупныя, рѣзкіе очерки лицъ жестокихъ, самоуправныхъ. Легко себѣ представить, какъ подъ вліяніемъ такихъ лицъ замирала жизнь въ трепетѣ и безъ сопротивленія. По этой исторіи Лаврецкихъ видно, что дворянскіе

того времени вступалъ въ жизнь безъ всякой подготовки: круглымъ невѣждою въ наукахъ и безъ малѣйшаго порядочнаго воспитанія. Если бы Тургеневъ не вставилъ въ романъ длиннаго эпизода о фамиліи Лаврецкихъ (главы VIII — XV), то было бы непонятно, какимъ образомъ 23-лѣтній *спартанецъ* принялъ первую красивую женщину за олицетвореніе всего нравственнаго, прекраснаго, благороднаго въ мірѣ. Варвара Павловна разрушила это представленіе. Но несчастье было полезно Лаврецкому. Оно смягчило и обработало его душу. Оно сдѣлало его снисходительнымъ къ людямъ; отъ неопредѣленныхъ стремленій и безцѣльныхъ трудовъ оно привлекло его къ роднымъ степямъ, къ нуждамъ и печалямъ ближнихъ. Лаврецкій у себя въ деревнѣ совсѣмъ не тотъ, какимъ былъ въ Москвѣ и Парижѣ. Онъ сталъ добръ, симпатиченъ: онъ радуется успѣхамъ людей, какъ своему собственному счастью; онъ какъ будто вновь родился для новой, лучшей жизни. Такимъ является онъ въ то время, когда между нимъ и Лизой установились дружескія отношенія, и незамѣтно для нихъ самихъ росли и развивались въ другія, болѣе нѣжныя чувства. „Никто не знаетъ, — говоритъ авторъ, — никто не видѣлъ и не увидитъ, какъ призванное къ жизни и расцвѣтанію, наливается и зрѣетъ зерно въ лонѣ жизни“. Съ особеннымъ вниманіемъ и любовью Тургеневъ раскрываетъ читателю тѣ состоянія души, которыя переживалъ его герой, когда между нимъ и Лизой отношенія устроились-было такъ хорошо и — во второй разъ Варвара Павловна разрушила ихъ счастье: Авторъ, незамѣтно для читателя, учитъ его сочувствовать Лаврецкому, уважать его страданія. Эти страданія, дѣйствительно, дорисовываютъ его нравственный образъ. Состояніе души его особенно отчетливо видно въ двухъ совершенно не сходныхъ положеніяхъ Лаврецкаго: *первое* когда съ разбитымъ навѣкъ счастьемъ бѣднякъ старается взять себя въ руки и, стиснувъ зубы, велѣтъ душѣ своей молчать; *второе* — въ самомъ концѣ романа. Здѣсь поразительная картина: съ одной стороны молодое поколѣніе съ звонкимъ смѣхомъ и довѣрчивымъ взглядомъ на будущее, а рядомъ съ нимъ: драгоцѣнныя, хотя томительныя, воспоминанія Лаврецкаго объ исчезнувшей молодости, о мелькнувшемъ счастьи; кроткій искренній его привѣтъ молодежи; тихое *полное безвыходной тоски, обращеніе къ самому себѣ: „здравствуй, одинокая старость; догорай, бесполезная жизнь!“*

Варвара Павловна Лаврецкая — совершенная противоположность Лизы въ нравственномъ отношеніи. Это типъ другого рода. Трудно представить себѣ существо съ болѣе заманчивой внѣшностью и съ бѣльшимъ нравственнымъ безобразіемъ. Въ ней и молодость, и красота, и грація, и остроуміе, и нѣкоторый блескъ образованія; но все это — одинъ шелгильской покровъ величайшаго духовнаго убожества. Подъ изящной внѣшностью la belle madame de Lavrètzku, какъ ее величали въ модномъ парижскомъ свѣтѣ, скрываются самыя низкія страсти. Для нея всякія благородныя человѣческія стремленія: трудъ, честь, наука, поэзія, искусство, семья, общество, — все это одни пустыя слова безъ значенія. Она живетъ единственно для удовлетворенія своихъ личныхъ страстей и прихотей. Наглость, лицемеріе, самый сухой эгоизмъ, — все это она считаетъ средствами дозволенными, когда они ей нужны: въ ней не воспитано *никакихъ* добрыхъ, честныхъ правилъ жизни. Поэтому она ничѣмъ нравственно и не стѣсняется; силы ее не имѣютъ нравственнаго руководителя; она ими пользуется смѣло и рѣшительно для достиженія своихъ корыстныхъ цѣлей и — въ неизвѣстномъ кругу людей — всегда дѣйствуетъ открыто и побѣдоносно. Въ этомъ-то именно кругу, въ Парижѣ, она заслужила себѣ характеристику: *cette grande dame russe si distinguée* и еще другую, для окончательной и самой *высокой* похвалы: *une vraie française par l'esprit*. Эта нравственно-убогая особа изображена въ романѣ съ безпощадной строгостью: нигдѣ, ни на одну минуту, ни одной привлекательной въ характерѣ черты. Даже въ отношеніи къ своей маленькой дочкѣ, Адѣ, Варвара Павловна не обнаруживаетъ истиннаго, нѣжнаго материнскаго чувства: мать заботится только, чтобы ребенокъ былъ одѣтъ всегда въ кружевахъ, какъ кукла. При всей строгости, съ какою Тургеневъ изобразилъ этотъ типъ модной барыни (львицы) *si distinguée*, Варвара Павловна заслуживаетъ однако же сожалѣнія. Съ одной стороны, это — жертва извѣстной обстановки и собственной невоспитанности; съ другой стороны, это — живой урокъ для тѣхъ людей, которые ошибочно полагаютъ, будто довольно имѣть отъ природы достаточно душевныхъ качествъ, чтобы и безъ воспитанія сдѣлаться хорошимъ человѣкомъ, или — что никакимъ воспитаніемъ не разработаешь въ человѣкѣ нравствен-

Романъ

наго характера, если человекъ ужъ отъ природы не хорошъ.

Паншинъ — тоже живой и въ своемъ родѣ замѣчательный русскій типъ. Тургеневъ не пожалѣлъ красокъ для изображенія этого героя. Паншинъ — совершеннѣйшій представитель той полуобразованности, той внѣшней отдѣлки, которая иногда такъ пріятно бросается въ глаза; у него всевозможные таланты: онъ живописецъ, музыкантъ, чиновникъ, ораторъ, береиторъ, свѣтскій человекъ; но все это въ такой лишь степени, сколько нужно, чтобы занимать, тѣшить людей и никогда не приносить имъ ни духовной ни вещественной пользы. Чтобы приносить пользу, нужно дѣло, призваніе къ дѣлу. Всякое дѣло требуетъ участія души, а всѣ душевныя силы Паншина обращены исключительно къ самому себѣ. Впрочемъ, Паншинъ можетъ, пожалуй, играть даже и хорошаго человека; но игра эта будетъ натуральна только до тѣхъ поръ, покуда ничто не затронетъ его мелкихъ страстей. Тогда тотчасъ выступить наружу его пустая, безсердечная натура отполированная только снаружи. Для людей ограниченныхъ Паншинъ кажется героемъ, представителемъ столичнаго просвѣщенія. Передъ нимъ, напримѣръ, чуть не благоговѣетъ мать Лизы и считаетъ его прекрасной партіей для своей дочери. Честный старикъ Леммъ думаетъ о немъ иначе: „Лизавета Михайловна — дѣвица справедливая, серьезная, съ возвышенными чувствами; она можетъ любить одно прекрасное, а онъ не прекрасенъ, т.-е. душа его не прекрасна... онъ... онъ дил-ле-тантъ, однимъ словомъ“. Это значить: человекъ, который всего нахваталъ изъ книгъ, обо всемъ толкуетъ заносчиво и рѣзко; но ни къ чему души не прилагаетъ, ни въ чемъ искренно не убѣжденъ. Когда Лаврецкій спокойно и благородно разбилъ его въ спорѣ на всѣхъ пунктахъ и обличилъ свѣтскаго болтуна, старушка Марѳа Тимофеевна украдкой потрепала своего Федю по щекѣ, лукаво прищурилась и нѣсколько разъ покачала головой, приговаривая: „отдѣлалъ умника, спасибо!“ Вообще авторъ не скупится на острые и сердитыя изобличенія напускной важности, тщеславія и самодовольства этого героя. Не безъ умысла Тургеневъ поручаетъ именно Марѣ Дмитріевнѣ, т.-е. самой пустой госпожѣ, выразить похвалу достоинствамъ Паншина: „вотъ какой умный человекъ у меня бесѣдуетъ“. Въ этой же

главѣ, именно XXXIII, авторъ, какъ будто подъ вліяніемъ негодованія на изображаемый типъ, самъ прерываетъ сцену разговора дѣйствующихъ лицъ и уже отъ своего собственнаго лица дорисовываетъ характеръ Паншина. И въ этой дорисовкѣ авторъ торопливъ и самъ какъ будто раздраженъ. Тутъ попадаются о Паншинѣ такія слова: „говорилъ красиво, но съ тайнымъ озлобленіемъ“, — „возражалъ раздражительно и рѣзко, — „занесся, наконецъ, до того, что, забывъ свое камеръ-юнкерское званіе и чиновничью карьеру, назвалъ Лаврецакаго“ и т. д. Подъ конецъ же сцены, опять устами Марьи Дмитріевны, авторъ произноситъ „une nature roétique, конечно, не можетъ пахать... et puis, вы призваны, Владимиръ Николаевичъ, дѣлать все en grand“. Этимъ сарказмомъ авторъ совершенно уничтожаетъ заносчиваго говоруна.

Мареа Тимоѣевна — превосходный типъ простосердечной, умной барыни-старушки. Она, по природѣ, любитъ въ человѣкѣ молодость и достоинство. У ней нравъ независимый. Всѣмъ она говоритъ правду въ глаза, за что и слыветъ „чудачкой“. Лизина мать не любитъ ее, но побаивается ея насмѣшекъ. Зато Лиза только съ бабушкой одной въ семьѣ и сходится до нѣкоторой степени. Она сошлась бы съ нею еще больше, если бъ въ простосердечной бабушкѣ тоже не было кое-какихъ проявленій барскаго своеволія. Рѣчь Марены Тимоѣевны суха и рѣзка; но такъ искусно выдержана эта личность авторомъ, что читатель не обращаетъ вниманія на эту внѣшнюю глубину: ему по душѣ откровенное, честное, сердечное слово старушки.

По содержанію своему и по обработкѣ характеровъ романъ „Дворянское гнѣздо“ естественно примыкаетъ къ замѣчательнѣйшимъ русскимъ романамъ съ общественнымъ значеніемъ, т.-е. къ „Евгенію Онегину“, „Герою нашего времени“, „Мертвымъ душамъ“ и „Обломову“. Въ этой немногочисленной семьѣ „Дворянскому гнѣзду“ принадлежитъ почетное мѣсто, задачи Тургеневскаго романа родственны задачамъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Гончарова въ названныхъ сочиненіяхъ. Но „Дворянское гнѣздо“ имѣетъ на своей сторонѣ многія преимущества. Напримѣръ: здѣсь съ особенной полнотой охарактеризована та среда (т.-е. дворянская), изъ которой наши романисты брали своихъ героевъ; лицъ больше,

лица разнообразіе; анализъ причинъ умственной или нравственной несостоятельности дѣйствующихъ лицъ сдѣланъ полный и отчетливый; герой романа, т.-е. Лаврецкій, представляетъ характеръ, гораздо болѣе разработанный и законченный, нежели Онѣгины, Печорины, Тентетниковы, Обломовы и Штольцы. Мало того, что Лаврецкій не „москвичъ въ гарольдовомъ плащѣ“, что онъ не кичится „необъятными силами“ и вообще не довольствуется однѣми мечтами о дѣятельности, но онъ разбираетъ причину своей несостоятельности, доискивается, въ чемъ заключается его „вывихъ“, нравственнымъ страданіемъ искупаетъ этотъ недостатокъ, въ которомъ, впрочемъ, не самъ виновенъ, и въ продолженіе многихъ лѣтъ дѣйствительно „вправляетъ“ себя (какъ требовалъ Михалевичъ), дѣлаетъ дѣло, а подъ конецъ жизни и сожалѣть есть о чемъ, но „стыдиться нечего“. Такимъ образомъ, романъ этотъ выставляетъ такого рода героя, который естественнѣе, понятнѣе и привлекательнѣе предыдущихъ и въ которомъ съ большею отчетливостью представленъ идеалъ правильного воспитанія, семейнаго счастья и общественной дѣятельности. *Евстафьевъ.*

„Дворянское гнѣздо“, какъ чуткое отраженіе дѣйствительности.

Трудно сказать, начиная разборъ произведенія Тургенева, что болѣе заслуживаетъ вниманія: само ли оно со всѣми своими достоинствами, или необычайный успѣхъ, который встрѣтилъ его во всѣхъ слояхъ нашего общества. Во всякомъ случаѣ, стоитъ серіозно подумать о причинахъ того единогласнаго сочувствія и одобренія, того восторга и увлеченія, которые вызваны были появленіемъ „Дворянскаго гнѣзда“. На новомъ романѣ автора сошлись люди противоположныхъ партій въ одномъ общемъ приговорѣ; представители разнородныхъ системъ и возрѣній подали другъ другу руку и выразили одно и то же мнѣніе. Романъ былъ сигналомъ повсемѣстнаго примѣренія, и образовалъ родъ какого-то литературнаго „trêve de Dieu“, гдѣ каждый *позабылъ* на время свои любимыя мнѣнія, чтобы вмѣстѣ

съ другими спокойно насладиться произведеніемъ и присоединить голосъ свой къ общей единодушной похвалѣ. Конечно, тутъ можно видѣть торжество поэзіи и художественнаго таланта, самовластно подчиняющихъ себѣ разнороднѣйшіе оттѣнки общественной мысли, но съ нѣкоторою основательностію тутъ можно предполагать также, что не каждая изъ рукоплещущихъ сторонъ одинаково понимаетъ внутреннее значеніе произведенія, и не каждая въ приговорѣ своемъ подразумѣваетъ именно то, что другая.

Разбирать причины и, такъ сказать, составныя части громаднаго успѣха, встрѣченнаго романомъ Тургенева — не наше дѣло. Скажемъ только, что явленіе это, по нашему мнѣнію, принадлежитъ къ числу очень замѣчательныхъ явленій послѣдняго времени. Мы хорошо понимаемъ единодушіе въ приговорѣ, когда дѣло заходитъ объ общей идеѣ, въ которой каждый человѣкъ порознь или цѣлый народъ вмѣстѣ узнаютъ свою неотъемлемую собственность, свое отраженіе и цѣль для своихъ стремленій; но единодушіе передъ свободнымъ проявленіемъ авторской фантазіи, передъ вопросомъ искусства, передъ фигурами и образами, которые вызваны потребностію отдѣльнаго, частнаго лица, или его художественною прихотью — такое единодушіе представляетъ уже хорошую тему для изслѣдованія. Достаточно вспомнить, что для образованія подобнаго факта нужно было каждому изъ многочисленныхъ судей позабыть на время всѣ нажитыя имъ теоретическія отношенія къ другимъ людямъ (иначе онъ бы никогда съ ними не сошелся), и это вообще довольно рѣдко случается во всѣхъ литературахъ. При подобныхъ явленіяхъ уму наблюдателя неизбѣжно представляется одно изъ двухъ: или счастливое произведеніе вдругъ отвѣтило эстетическимъ и моральнымъ потребностямъ, жившимъ скрытною, затаенною жизнію въ умахъ большей части современниковъ, или при оцѣнкѣ произведенія существуетъ какого-либо рода недоразумѣніе, имѣющее право на раскрытіе и объясненіе. Мы можемъ сказать откровенно, что, по искреннему нашему убѣжденію, въ составленіи успѣха новому произведенію Тургенева участвовали въ извѣстной мѣрѣ и то и другое изъ этихъ условій.

Когда-то довольно давно, печатно было замѣчено, что для автора „Записокъ охотника“ періодъ поэтическихъ анекдо-

товъ съ тонкими чертами изъ народнаго быта, съ мастерски-заостреннымъ юмористическимъ словомъ, съ легкими, по-видимому, но глубоко задуманными и сильно выработанными картинками и положеніями, прошелъ безвозвратно. Послѣ „Записокъ охотника“ автору не оставалось ничего болѣе, какъ пуститься въ открытое море полной, многосторонней народной жизни, если онъ не хотѣлъ укорениться въ одномъ родѣ и вѣчно плавать у береговъ народнаго быта, въ этихъ, анекдотахъ, похожихъ на изящныя, щеголеватыя лодочки, неоцѣнимыя для прогулокъ, для полусеріозныхъ и полупутливыхъ бесѣдъ, но мало пригодныя къ большому, долгову и серіозному плаванію за богатствами русскаго духа и русскаго поэзіи. Кромѣ сельскихъ подробностей, помѣщичьихъ и чиновничьихъ нравовъ, на очереди художественнаго воспроизведенія стояло еще тогда цѣлое такъ называемое образованное общество наше со всѣми разнообразными своими явленіями, которыя возникали, двигались, цвѣли и умирали безъ всякаго свидѣтеля, на подобіе невидимокъ, рѣдко-рѣдко оскорбляемыя любопытнымъ взоромъ наблюдателя. Изъ этого страннаго терема, созданнаго, какъ и всѣ терема, пренебреженіемъ, лѣнностію мысли и самодовольствомъ писателей, Тургеневъ пытался съ самаго начала освободить нѣсколько образовъ, но онъ относился еще къ новому міру, куда вступалъ, очень горделиво; онъ какъ бы сомнѣвался, способенъ ли этотъ міръ къ независимой жизни въ искусствѣ, сумѣетъ ли онъ держать себя, какъ слѣдуетъ, принесетъ ли онъ честь и похвалу своему покровителю. Въмѣсто того, чтобы попытаться уразумѣть черты открывшагося ему міра, авторъ сталъ *выбирать* между ними и, какъ бываетъ всегда въ такихъ случаяхъ, выносилъ на свѣтъ не то, что дѣйствительно имѣло силу и значеніе въ обществѣ, а то, что походило на самого искателя, на собственные его идеалы. Но явленія жизни неумолимы, какъ древніе боги. Ихъ не вызовешь презрѣніемъ или укоромъ, ихъ не дождешься, сложя горделиво руки на груди, и вдобавокъ ничѣмъ ихъ не замѣнишь: ими надо овладѣть открыто и честно, какъ овладѣваютъ сердцемъ гордой и благородной женщины, для чего очищаютъ и исправляютъ собственную свою мысль и собственную свою жизнь. Не всякій способенъ къ такому смѣлому приступу, который одинъ даетъ побѣду и облада-

ніе: вотъ почему большая часть изящныхъ произведеній, содержаніе которыхъ касалось исторіи нашего общества, отличалось въ то время выдумываніемъ явленій, подлогомъ и подставкой изобрѣтенныхъ мотивовъ, вмѣсто настоящихъ и жизненныхъ. Покуда само общество хранило суровое, равнодушное молчаніе, — ложные слухи, произвольныя догадки и сплетни ходили о немъ по литературѣ безъ малѣйшаго препятствія. Даже Гоголь не могъ измѣнить литературную привычку къ выдумкѣ, лишь только основная интрига произведенія помѣщалась въ средѣ тѣхъ слоевъ общества, которые непосредственно слѣдуютъ за мелкимъ чиновничествомъ, сельскимъ дворянствомъ и городскимъ провинціальнымъ населеніемъ. Самые странные литературные букеты, не имѣющіе ни формы, ни цвѣта, ни запаха, набирались именно на той почвѣ, которая принадлежала классамъ, заявляющимъ претензію на образованность, на умѣнье лучше понимать жизнь, и разумнѣе, богаче и художественнѣе устроить ее. Великій примѣръ Гоголя принесъ одну только пользу: онъ обратилъ писателей въ чуткихъ сторожей, которые на порогъ этого особеннаго и разнообразнѣйшаго общества проводили дни и ночи, ожидая, не покажется ли кто случайно изъ вѣчно замкнутыхъ и недоступныхъ дверей. Когда сама тѣснота и обиліе жизни, тамъ царствующей, выбрасывали какое-либо явленіе наружу, подобно тому какъ нѣкоторыя многолюдныя страны выбрасываютъ излишекъ своего населенія въ Америку, неусыпные стражи устремлялись на жертву съ поспѣшностію и рвеніемъ людей, прожившихъ многія сутки безъ сна и дѣла или съ пустымъ дѣломъ въ рукахъ. Такимъ образомъ получили мы нѣсколько настоящихъ типовъ, разработанныхъ, надо признаться, очень удовлетворительно, и множествомъ несомнѣнныхъ талантовъ, потому что таланты у насъ находятся въ обратной пропорціи со *знаніемъ*: знанія мало, дарованій много. Впрочемъ, мы все-таки должны быть благодарны этого рода литературному захвату, какъ ни мало требовалъ онъ доблести, усилій мысли и наблюденія. По милости его, мы пріобрѣли, какъ уже сказали, нѣсколько законченныхъ типовъ, напримѣръ типъ *широкой натуры*, освободившей себя отъ всякой отвѣтственности передъ совѣстью, типъ *ничтожнаго характера* съ сильными претензіями и развитой головой, типъ *благо-*

намыренного бюрократа, загоняющего людей къ порядку и добродѣтели, какъ стадо и т. д. Мы подстерегали жизненныя явленія изъ-за угла не даромъ!

Немного ранѣе „Рудина“, и особенно съ этого романа, мы видимъ Тургенева уже въ серединѣ того круга, по внѣшней окраинѣ котораго ходила вся наша литература, и не только въ серединѣ, но въ прямомъ, открытомъ и свободномъ общеніи со всѣмъ его поэтическимъ, комическимъ и подъ часъ трагическимъ населеніемъ. Нажитыя понятія, предубѣжденія и предрассудки остались у него за порогомъ новаго міра, да и въ этомъ новомъ мірѣ онъ уже ищетъ не *исключительныхъ* явленій, которыми можно было бы поразить простыхъ людей, а ищетъ человѣка съ отношеніями, опредѣляющими и направляющими его. Какъ ни отрывчаты его рассказы, какъ ни слышится въ нихъ еще тайная робость за себя и за внутреннее достоинство выводимыхъ имъ лицъ, говоръ публики вокругъ новыхъ его произведеній показалъ, что онъ уже близокъ къ настоящему дѣлу, что ему остается превратить свои намеки въ ясные, положительные факты, договорить свои полуоткровенія, додѣлать фигуры, брошенные наполовинѣ, и получить затѣмъ право на названіе лѣтописца современной жизни. Черезъ рядъ болѣе или менѣе удачныхъ опытовъ, Тургеневъ дошелъ, наконецъ, до простой многозначительной драмы, какая является въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, и какихъ тысячи втихомолку разыгрываются по разнымъ угламъ нашего отечества, дошелъ до лицъ и характеровъ, нисколько не запятанныхъ грубымъ авторскимъ произволомъ, и взятыхъ изъ неисчисленной движущейся толпы такъ называемаго образованнаго общества, гдѣ они укрываются отъ лѣниваго наблюденія; словомъ, онъ изобразилъ такое событіе, которое оказалось связаннымъ тончайшими нитями съ нашею современностію, съ сердцами всего настоящаго или, лучше, всего *отживающаго* поколѣнія. Таковъ былъ результатъ смѣлаго и вмѣстѣ дружелюбнаго отношенія къ жизни. Мудрено ли, что общество, узнавъ, наконецъ, въ яркой картинѣ одну изъ тайнъ собственнаго существованія, встрѣтило картину съ увлеченіемъ и восторгомъ, которыми оно обыкновенно награждаетъ людей, открывающихъ ему дорогу къ самосознанію, къ оцѣнкѣ себя и къ суду надъ собою?

Но мы сказали также, что въ составленіи огромнаго большинства хвалителей новаго произведенія Тургенева участвовало и участвуетъ, почти равною частію съ основательными и вполнѣ законными причинами, простое недоразумѣніе. Не трудно будетъ доказать это, если потрудимся разобрать, хотя отчасти, толки и сужденія публики по поводу главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа, и особенно по поводу самаго поэтическаго и самаго привлекательнаго изъ нихъ — барышни провинціального города, благородной Лизаветы Михайловны.

Дѣло вотъ въ чемъ. Изъ среды патріархальнаго, но уже суетнаго и испорченнаго семейнаго быта Тургеневъ вывелъ образъ молодого существа, которое съ первыхъ шаговъ на поприщѣ жизни замѣчаетъ, что оно не вторитъ общимъ интересамъ окружающихъ, ихъ понятіямъ, радостямъ и заботамъ. Въ душѣ Лизаветы Михайловны созрѣлъ и выросъ религіозно-нравственный идеалъ существованія, который не можетъ сдружиться съ тѣмъ, что представляется дѣвушкѣ въ настоящемъ и чего можетъ она ожидать въ будущемъ. Послѣ первыхъ неудачныхъ усилій помириться на чемъ-нибудь въ текущей жизни, она быстро разрываетъ съ ней всѣ связи и заключается въ монастырь.

Общее выраженіе участія и умиленія со стороны публики проводило ее въ это послѣднее убѣжище; но нельзя сказать, чтобы характеръ дѣвушки и сущность ея жизни были оцѣнены и поняты удовлетворительно большинствомъ ея поклонниковъ: иначе послѣдніе не стали бы такъ много соболѣзновать о судьбѣ ея и, можетъ статься, вмѣстѣ со слезами состраданія явилось бы у нихъ и какое-нибудь другое чувство. Намъ кажется, что внѣшняя сторона ея существованія много участвовала въ привлеченіи къ ней тѣхъ симпатій, которыми она теперь пользуется. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ дѣвушка, мечтающая исключительно о моральныхъ обязанностяхъ своихъ, когда въ ея годы и въ ея положеніи думается о свѣтлой поэзіи и радостяхъ жизни; вотъ первые проблески любви и счастья, падающіе на ея сердце не живительной росой, а каплями яда и огорченій; вотъ отступаетъ она передъ грубою дѣйствительностью, начинаетъ чувствовать святое отвращеніе къ земнымъ искушеніямъ и торопится унести дѣвственную чистоту ума и сердца въ суровую монастырскую келью. Не для жизни даны ей были молодость, красота

напряженного бюрократа, загоняющего людей къ порядку и добродѣтели, какъ стадо и т. д. Мы подстерегали жизненныя явленія изъ-за угла не даромъ!

Немного ранѣе „Рудина“, и особенно съ этого романа, мы видимъ Тургенева уже въ серединѣ того круга, по внѣшней окраинѣ котораго ходила вся наша литература, и не только въ серединѣ, но въ прямомъ, открытомъ и свободномъ общеніи со всѣмъ его поэтическимъ, комическимъ и подъ часъ трагическимъ населеніемъ. Нажитыя понятія, предубѣжденія и предрасудки остались у него за порогомъ новаго міра, да и въ этомъ новомъ мірѣ онъ уже ищетъ не *исключительныхъ* явленій, которыми можно было бы поразить простыхъ людей, а ищетъ человѣка съ отношеніями, опредѣляющими и направляющими его. Какъ ни отрывчаты его рассказы, какъ ни слышится въ нихъ еще тайная робость за себя и за внутреннее достоинство выводимыхъ имъ лицъ, говоръ публики вокругъ новыхъ его произведеній показалъ, что онъ уже близокъ къ настоящему дѣлу, что ему остается превратить свои намеки въ ясныя, положительные факты, договорить свои полукровенія, додѣлать фигуры, брошенные наполовинѣ, и получить затѣмъ право на названіе лѣтописца современной жизни. Черезъ рядъ болѣе или менѣе удачныхъ опытовъ, Тургеневъ дошелъ, наконецъ, до простой многозначительной драмы, какая является въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, и какихъ тысячи втихомолку разыгрываются по разнымъ угламъ нашего отечества, дошелъ до лицъ и характеровъ, нисколько не запятанныхъ грубымъ авторскимъ произволомъ, и взятыхъ изъ неисчисленной движущейся толпы такъ называемаго образованнаго общества, гдѣ они укрываются отъ лѣниваго наблюденія; словомъ, онъ изобразилъ такое событіе, которое оказалось связаннымъ тончайшими нитями съ нашею современностію, съ сердцами всего настоящаго или, лучше, всего *отживающаго* поколѣнія. Таковъ былъ результатъ смѣлаго и вмѣстѣ дружелюбнаго отношенія къ жизни. Мудрено ли, что общество, узнавъ, наконецъ, въ яркой картинѣ одну изъ тайнъ собственнаго существованія, встрѣтило картину съ увлеченіемъ и восторгомъ, которыми оно обыкновенно награждаетъ людей, открывающихъ ему дорогу къ самосознанію, къ оцѣнкѣ себя и къ суду надъ собою?

Но мы сказали также, что въ составленіи огромнаго большинства хвалителей новаго произведенія Тургенева участвовало и участвуетъ, почти равною частію съ основательными и вполне законными причинами, простое недоразумѣніе. Не трудно будетъ доказать это, если потрудимся разобрать, хотя отчасти, толки и сужденія публики по поводу главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа, и особенно по поводу самаго поэтическаго и самаго привлекательнаго изъ нихъ — барышни провинціального города, благородной Лизаветы Михайловны.

Дѣло вотъ въ чемъ. Изъ среды патріархальнаго, но уже суетнаго и испорченнаго семейнаго быта Тургеневъ вывелъ образъ молодого существа, которое съ первыхъ шаговъ на поприщѣ жизни замѣчаетъ, что оно не вторитъ общимъ интересамъ окружающихъ, ихъ понятіямъ, радостямъ и заботамъ. Въ душѣ Лизаветы Михайловны созрѣлъ и выросъ религіозно-нравственный идеалъ существованія, который не можетъ сдружиться съ тѣмъ, что представляется дѣвушкѣ въ настоящемъ и чего можетъ она ожидать въ будущемъ. Послѣ первыхъ неудачныхъ усилій помириться на чемъ-нибудь въ текущей жизни, она быстро разрываетъ съ ней всѣ связи и заключается въ монастырь.

Общее выраженіе участія и умиленія со стороны публики проводило ее въ это послѣднее убѣжище; но нельзя сказать, чтобы характеръ дѣвушки и сущность ея жизни были оцѣнены и поняты удовлетворительно большинствомъ ея поклонниковъ: иначе послѣдніе не стали бы такъ много соболѣзновать о судьбѣ ея и, можетъ статься, вмѣстѣ со слезами состраданія явилось бы у нихъ и какое-нибудь другое чувство. Намъ кажется, что внѣшняя сторона ея существованія много участвовала въ привлеченіи къ ней тѣхъ симпатій, которыми она теперь пользуется. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ дѣвушка, мечтающая исключительно о моральныхъ обязанностяхъ своихъ, когда въ ея годы и въ ея положеніи думается о свѣтлой поэзіи и радостяхъ жизни; вотъ первые проблески любви и счастья, падающіе на ея сердце не живительной росой, а каплями яда и огорченій; вотъ отступаетъ она передъ грубою дѣйствительностью, начинаетъ чувствовать святое отвращеніе къ земнымъ искушеніямъ и торопится унести дѣвственную чистоту ума и сердца въ суровую монастырскую келью. Не для жизни даны ей были молодость, красота

высокія предчувствія истины и блага—все погибло въ цвѣтѣ, застигнутое неожиданнымъ морозомъ среди весны, и притомъ той чудной весны, какая возстаетъ всегда подъ перомъ Тургенева. Inde... отсюда слезы! Но если бы судить о лицѣ этомъ по выраженію горя и жалобъ, возбужденныхъ имъ въ читателяхъ, то пришлось бы отнести его къ числу тѣхъ слабыхъ, хотя и интересныхъ организмовъ, которые страдаютъ потому, что неспособны къ здоровому человѣческому существованію. Кто изъ поклонниковъ Лизаветы Михайловны замѣтилъ, что въ нѣжную, граціозную, обаятельную форму ея облеклась такая строгая идея, какая часто бываетъ не подъ силу и болѣе развитымъ и болѣе крѣпкимъ мышцамъ? Лизавета Михайловна способна тронуть и вызвать слезу у самаго хладнокровнаго читателя—это правда, но одной слезой и сожалѣніемъ она не можетъ довольствоваться: она имѣетъ право на нѣчто большее, нежели слеза и сожалѣніе, чѣмъ, какъ извѣстно, вполне оцѣниваются и достаточно вознаграждаются многія героини трогательныхъ романовъ, испытавшія горе и несчастіе.

А затѣмъ еще въ общемъ хорѣ поклонниковъ нашей повѣсти сильную долю голосовъ образуетъ новая и особенная раса „искателей идеаловъ“. Удивительно иногда становится, когда подумаешь, къ какому употребленію и къ какому злоупотребленію способны бываютъ слова! Чего не вводится иногда подъ покрывало слова, весьма опредѣленнаго сначала, но затѣмъ потерявшаго, отъ общаго употребленія, какъ старая монета, первоначальный штемпель и подпись свою? Чего не стараются тогда схоронить въ его нѣдрахъ, и подчасъ какимъ страннымъ требованіямъ и цѣлямъ принуждено оно бываетъ служить и отвѣчать? Идеаломъ, на языкѣ эстетики, означается всякій образъ, соединяющій въ себѣ всю ту сумму нравственныхъ и поэтическихъ чертъ, какая ему свойственна по природѣ его. Это очень просто и, пожалуй, можетъ быть выражено еще въ другой формулѣ, именно: всякій нравственный и поэтический образъ, вѣрный дѣйствительности и самому себѣ, есть идеаль. На основаніи этого опредѣленія, и комическое лицо, подъ перомъ художника-писателя, можетъ оказаться идеаломъ, точно такъ же, какъ, на основаніи того же опредѣленія, самая благонамѣренная фигура, снабженная многими добродѣтелями и прекрасными мнѣніями, но безъ

Но мы сказали также, что въ составленіи огромнаго большинства хвалителей новаго произведенія Тургенева участвовало и участвуетъ, почти равною частію съ основательными и вполне законными причинами, простое недоразумѣніе. Не трудно будетъ доказать это, если потрудимся разобрать, хотя отчасти, толки и сужденія публики по поводу главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа, и особенно по поводу самаго поэтического и самаго привлекательнаго изъ нихъ — барышни провинціального города, благородной Лизаветы Михайловны.

Дѣло вотъ въ чемъ. Изъ среды патриархальнаго, но уже суетнаго и испорченнаго семейнаго быта Тургеневъ вывелъ образъ молодого существа, которое съ первыхъ шаговъ на поприщѣ жизни замѣчаетъ, что оно не вторитъ общимъ интересамъ окружающихъ, ихъ понятіямъ, радостямъ и заботамъ. Въ душѣ Лизаветы Михайловны созрѣлъ и выросъ религіозно-нравственный идеалъ существованія, который не можетъ сдружиться съ тѣмъ, чтò представляется дѣвушкѣ въ настоящемъ и чего можетъ она ожидать въ будущемъ. Послѣ первыхъ неудачныхъ усилій помириться на чемъ-нибудь въ текущей жизни, она быстро разрываетъ съ ней всѣ связи и заключается въ монастырь.

Общее выраженіе участія и умиленія со стороны публики проводило ее въ это послѣднее убѣжище; но нельзя сказать, чтобы характеръ дѣвушки и сущность ея жизни были оцѣнены и поняты удовлетворительно большинствомъ ея поклонниковъ: иначе послѣдніе не стали бы такъ много соболѣзновать о судьбѣ ея и, можетъ статься, вмѣстѣ со слезами состраданія явилось бы у нихъ и какое-нибудь другое чувство. Намъ кажется, что внѣшняя сторона ея существованія много участвовала въ привлеченіи къ ней тѣхъ симпатій, которыми она теперь пользуется. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ дѣвушка, мечтающая исключительно о моральныхъ обязанностяхъ своихъ, когда въ ея годы и въ ея положеніи думается о свѣтлой поэзіи и радостяхъ жизни; вотъ первые проблески любви и счастья, падающіе на ея сердце не живительной росой, а каплями яда и огорченій; вотъ отступаетъ она передъ грубою дѣйствительностью, начинаетъ чувствовать святое отвращеніе къ земнымъ искушеніямъ и торопится унести дѣвственную чистоту ума и сердца въ суровую монастырскую келью. Не для жизни даны ей были молодость, красота

которыхъ она безъ жалобы скрывается въ монастырской кельѣ, вся эта раса новѣйшихъ искателей идеаловъ въ одинъ голосъ причислила ее къ сонму своихъ любимцевъ и увѣнчала автора за созданіе такого безкорыстнаго, скромнаго и похвального существа.

Но такъ ли все это?

Есть афоризмъ, не подлежащій сомнѣнію: „поэты родятся“, но можно прибавить къ нему, что и высоконравственные характеры тоже „родятся“, по крайней мѣрѣ, возникновеніе ихъ часто бываетъ необъяснимо. Они образуются иногда безъ помощи воспитанія, примѣра, правилъ и указаній, сохраняемыхъ семействомъ отъ старины или отъ господствующаго ученія; они могутъ явиться (и часто являются) въ години полной духовной тьмы, въ нѣдрахъ самаго испорченнаго круга, при совершенномъ отсутствіи моральныхъ убѣжденій, еще не добытыхъ или уже потерянныхъ окружающимъ ихъ міромъ. Этими характерами доказывается только высокое достоинство человѣческой природы, способной всегда творить нравственные типы, ее выражающіе. Иногда нѣтъ никакой возможности указать, гдѣ началась работа ихъ благодатной мысли, когда и чѣмъ пробудилась ихъ душа, по какому поводу они разошлись съ общими понятіями и создали себѣ особенную мѣрку для опредѣленія добра и правды. Достоверно одно, что иногда достаточно одной самой скудной духовной пищи для развитія ихъ моральнаго существованія въ изумительномъ блескѣ; какая-нибудь книжка, какое-нибудь ничтожное событіе въ домашнемъ быту дѣлаются неожиданно крѣпкими основами ихъ будущаго развитія. Для Лизаветы Михайловны достаточно было няни Агаѣи съ ея пламеннымъ разсказомъ о мученикахъ и подвижникахъ, съ ея народно-мистическимъ настроеніемъ, чтобъ обратить молодой умъ совсѣмъ въ противоположную сторону, именно къ строгому пониманію моральной идеи, заключающейся въ религіи. Часто даже глубоко нравственные характеры обходятся и безъ этихъ толковъ, безъ этой подмоги на первыхъ шагахъ своихъ въ жизни. Учителями ихъ дѣлаются просто всѣ безобразныя, темныя, неразумныя и тупыя проявленія страстей и обычаевъ окружающаго ихъ быта: они учатся правдѣ въ виду господствующаго произвола, сознанію обязанностей своихъ — на духовномъ и тѣлесномъ растлѣніи близкихъ людей, порядку, справедливости.

вості и снисхожденію — на общей распушенности и на дикихъ порывахъ животнаго существованія. Можно сказать даже, что чѣмъ заразительнѣе всѣ примѣры, окружающіе ихъ, тѣмъ они тверже укореняются и смѣлѣе идутъ въ правомъ пути. Кто впервые указалъ его, кому обязаны они первымъ извѣстіемъ объ его существованіи, — неизвѣстно. Можетъ-быть, это — неизбежное дѣйствіе пріспѣвшаго времени обновленія для всѣхъ, или, можетъ-быть, это — дѣйствіе точно такой же благодати, какъ, напримѣръ, поэтическій даръ: какъ бы то ни было, Лизавета Михайловна принадлежитъ къ семейству этихъ самородныхъ нравственныхъ характеровъ.

Великое достоинство этого лица состоитъ особенно въ томъ, что авторъ не лишилъ его вмѣстѣ съ тѣмъ существенныхъ правъ и качествъ молодости. Этого и надо было ожидать. Не такой писатель Тургеневъ, чтобы могъ остановиться на отвлеченномъ образѣ, заняться сухимъ или одностороннимъ педантическимъ идеаломъ. Лизавета Михайловна является намъ въ полной красѣ дѣвичьяго развитія, дѣло только въ томъ, что фантазія дѣвушки, работа ея головы и ея сердца, самая игра жизненныхъ силъ — все уже окрашено врожденнымъ нравственнымъ чувствомъ, отъ котораго она ни убѣжать ни освободиться не можетъ, которое составляетъ ея величіе и ея кару среди людей. Да и проявляется оно особеннымъ, весьма тонкимъ образомъ. Ни разу не встрѣтишь у нея рѣзкаго слова, крикливаго осужденія или враждебнаго поступка противъ опредѣленій и занятій большинства (а вѣдь подобные грубые порывы мысли и нужны многимъ людямъ для уразумѣнія характера); нравственное чувство ея выражается только постоянною боязнію жизни, постояннымъ къ ней недоувѣріемъ и какимъ-то испугомъ передъ новыми, еще незнакомыми ей явленіями, точно въ молодой душѣ Лизаветы Михайловны уже поселилось убѣжденіе, что отсюда ждать нечего. Никто изъ самыхъ близкихъ людей не владѣетъ ея сердцемъ, ея довѣренностью: привязанностью племянницы не можетъ даже похвастаться сама Марѳа Тимоѣевна, превосходный типъ умной добросердечной старухи, по природѣ любящей въ человѣкѣ молодость и достоинство. Марѳа Тимоѣевна однакоже слишкомъ бойка. У Марѳы Тимоѣевны сохраняется еще отгѣнокъ барскаго своеволія, даже въ самомъ добрѣ, какое она дѣлаетъ: этого уже достаточно, чтобы испугать ея чле-

мянницу, Лизу, на которой всякій оттънокъ, лишенный нравственнаго смысла, отражается болѣзненно, замыкая ей уста и сердце. Еще тоньше, можетъ-быть, поступилъ авторъ, выбравъ Паншина, пустого свѣтскаго болтуна, первымъ предметомъ, на которомъ сосредоточиваются у Лизы пробужденныя ея наклонности къ любви и взаимности. Тутъ выказываетъ она очень мало проницательности, знанія и пониманія людей: нравственное чувство остается единственнымъ руководителемъ и единственнымъ оберегателемъ молодой дѣвушки. Отношеніями Лизы къ Паншину начинается и самая повѣсть Тургенева.

Паншинъ этотъ, по выдѣлкѣ, по обилію и роскоши второстепенныхъ подробностей, можетъ-быть, уступаетъ въ романѣ только изображенію „львицы“ Варвары Павловны, обработанному авторомъ съ изумительною тщательностью. Паншинъ вступаетъ въ семейство Лизы почти какъ побѣдитель, еще прежде какой-нибудь побѣды. Пустѣйшая мать героини — бывшая институтка — за него горой. Удивительный представитель русской полубообразованности и русскаго фальшиваго развитія, который такъ изумляютъ иностранцевъ, онъ надѣленъ всѣми возможными талантами: талантомъ живописца, музыкальнымъ, чиновничьимъ, но въ той степени, какая нужна, чтобы занимать, тѣшить людей, и никогда не приносить имъ ни духовной ни вещественной пользы. Онъ и ораторъ, и берейторъ, и свѣтскій человѣкъ — и все это въ мѣру, такъ чтобы ничто не походило на настоящее дѣло или призваніе. Всякое дѣло или призваніе требуетъ участія души и мысли, а душа и мысль у Паншина обращены только къ самому себѣ. Лизавета Михайловна находитъ, что онъ и добрый человѣкъ: онъ можетъ играть, пожалуй, и добраго человѣка очень натурально, покуда мелкія страсти, единственно доступныя ему, спятъ спокойно въ нѣдрахъ его пустой груди. Это совершеннѣйшій типъ выправки, которымъ наполнены канцеляріи и салоны Петербурга, смѣшной и позорный въ одно время, если разсмотрѣть его ближе, но очень годный на выставку, когда нужно обмануть глаза образованнаго міра, чего, какъ извѣстно, всѣ мы вѣрноп добиваемся. Въ провинціи онъ еще и представитель столичнаго прогресса, высокаго моральнаго и общественнаго развитія, которое тамъ совершилось или совершается.

Такой-то человекъ принялся со всѣмъ усердіемъ и со всѣмъ кокетствомъ, къ какому только способенъ, разрабатывать сердце Лизаветы Михайловны въ свою пользу, и это не изъ одной потѣхи: она успѣла тронуть даже его черствую душу. Мы застаемъ ее въ ту минуту, когда она начинаетъ поддаваться его усиліямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ читатель пораженъ въ ней признаками какого-то невольнаго страха, подозрѣнія и нерѣшительности: это и есть именно обычная работа нравственнаго чувства, замѣняющаго ей опытность и бодрствующаго надъ ней во всякое время. За блестящей наружностью Паншина, за радужной игрой его артистическихъ притязаній, свѣтскихъ пріемовъ и полупризнаній, не видится благородной дѣвушкѣ моральнаго образа, смутно живущаго въ ея душѣ, не слышится голоса, отвѣчающаго ея предчувствіямъ и вопросамъ. „Подъ конецъ она даже расположена считать свои неопредѣленные требованія, неумолкающіе призывы сердца и нравственной природы, за особенность или уродство своей организаціи, которая должно таить отъ людей, потому что они никѣмъ не признаются, никѣмъ не угадываются, равны чужды матери, Паншину, Марѣ Тимоѣевнѣ и всему семейству. Она рѣшается отдать свою руку Паншину на одномъ условіи — лишь бы не мѣшала онъ ей сдѣлаться доброй женщиной, лишь бы позволилъ прожить вѣкъ наединѣ съ собственною ея мыслию. Почти передъ самымъ рѣшеніемъ этой безразсудной жертвы является изъ-за границы усталый и сильно пораженный домашнимъ несчастіемъ Лаврецкій. Онъ обращаетъ на себя вниманіе Лизы и окончательно отводитъ ее отъ соперника своего, Паншина.

Чѣмъ же дѣлается для нея Лаврецкій? Спустя немного, она опять стоитъ и передъ нимъ въ недоумѣніи, въ раздумьи, опять съ ношей неразрѣшимыхъ вопросовъ и неисполнимыхъ требованій своихъ!

Многимъ показалось страннымъ одно мѣсто въ романѣ. Вскорѣ послѣ того, когда между Лаврецкимъ и Лизой завязались тихія, дружелюбныя отношенія, начинавшія перерождаться, подъ покровомъ взаимной передачи чувствъ и мыслей, въ настоящую любовь, Лизавета Михайловна сказала ему разъ въ неописанномъ волненіи: „вы должны простить вашу жену“. Воскличаніе Лизы было такъ ново для слуха публики, что многіе приняли его за грубую ошибку, за случай-

ную гримасу, исказившую ее физиономию. Для насъ открытое слово Лизаветы Михайловны имѣетъ другое значеніе: имъ высказала она ясное пониманіе своего собственнаго положенія, имъ выразила ужасъ къ своей любви, зарождающейся на краю пропасти, и положила ей предѣлъ, да имъ же намѣтила и все, что остается еще дѣлать Лаврецкому въ теченіе его жизни, какъ мы сейчасъ разберемъ подробнѣе.

Во всемъ этомъ, кажется, намъ, трудно усмотрѣть какое-либо потворство быту или извѣстной средѣ жизни, которое оправдывало бы надежды, возложенныя новѣйшими искателями идеаловъ на лицо Лизаветы Михайловны. Совсѣмъ наоборотъ: глубокая, поучительная, но нисколько не сентиментальная драма связана, такъ сказать, со всѣмъ ее существованіемъ. Драма есть уже въ ее появленіи между людьми того круга, которые намъ представлены авторомъ, драма затѣмъ сопровождаетъ каждый ее шагъ, не кончаясь даже и тамъ, гдѣ авторъ кончаетъ повѣсть. Куда скроется Лизавета Михайловна отъ требованій своей мысли? Гдѣ она найдетъ тотъ кровъ, подъ которымъ пугливая совѣсть не можетъ быть потревожена? Есть ли, въ самомъ дѣлѣ, убѣжище для нея? Не выдумана ли тутъ келья, какъ старый, романтическій мотивъ, пригодный къ тому, чтобы завершить романъ чѣмъ-нибудь поприличнѣе?

Постараемся однакожъ уяснить самую мысль, которая теплится въ безсвязныхъ словахъ Лизаветы Михайловны, когда она вызываетъ Лаврецаго на примиреніе съ женой фразами: „Надо будетъ покориться... Я не умѣю говорить, но если мы не будемъ покоряться...“ и прочее. Слѣдуетъ замѣтить вообще, что Лиза никогда не выражается у автора полною и опредѣленною мыслию, но вся состоитъ только изъ побужденій, предчувствій и намековъ, и это по причинамъ, о которыхъ скажемъ послѣ. Мысль ее оставляется на разборъ и догадку читателя, и мы съ своей стороны разбираемъ ее такъ: въ большей части семейныхъ бурь и катастрофъ люди столько же наказываются неизмѣнными опредѣленіями закона, установленія, сколько и тайною моралью, которая неизмѣнно присутствуетъ въ самой жизни. Это сбылось именно съ Лаврецкимъ. Чего искалъ онъ въ женѣ своей? Онъ плѣнился, рассказываетъ намъ авторъ, красотой ее формъ, роскошными линіями тѣла, свободой и граціей ее

движеній, наконецъ умомъ, способнымъ чувствовать и понимать разнообразныя эстетическія наслажденія. Самой обаятельной чертой въ ея характерѣ была именно эта склонность искать эстетическія наслажденія всюду вокругъ себя, въ обстановкѣ жизни и обязанностяхъ, налагаемыхъ ею. Въ эпоху молодости Лаврецкаго, лицо, отличное подобными стремленіями, приобрѣтало общее уваженіе и подчасъ общее удивленіе, какъ за особенный даръ, ниспосланный ему небомъ. Чувство изящнаго, а иногда просто навыкъ въ щегольствѣ и нѣкоторые признаки вкуса, при внѣшнихъ преимуществахъ, ставили лицо или избранницу на недосыгаемый пьедесталь въ общественномъ мнѣніи. Говорить тутъ о необходимости какихъ-либо жизненныхъ правилъ и основаній считалось пошлостью, педантизмомъ, „нестерпимой рефлексіей“; пониманіе красоты и эстетическихъ приличій казалось символомъ пониманія всего остального на свѣтѣ. Но чувство изящнаго, особенно у поверхностныхъ, неглубокихъ натуръ, къ числу которыхъ принадлежитъ большая часть нашихъ любителей и любительницъ изящнаго, служитъ только чѣмъ-то въ родѣ красиваго кокетливаго мостика, сокращающаго и облегчающаго имъ дорогу къ страстямъ и чисто-животнымъ упражненіямъ. Надо, впрочемъ сказать, что Варвара Павловна щедро заплатила мужу за его выборъ. „Не даромъ, — говоритъ авторъ, — вѣяло прелестью отъ всего существа его молодой жены, не даромъ сулила она чувству тайную роскошь неизвѣданныхъ наслажденій: она сдержала больше, чѣмъ сулила“. Оставалось удержать Варвару Павловну при себѣ навсегда, но удержать ее иначе нельзя было, какъ исчерпавъ до послѣдняго оболъ все то добро, которое она принесла съ собою въ домъ, именно красоту и способность наслаждаться; съ послѣднимъ оболомъ она уже становилась безпомощною нищей и ничѣмъ не могла замѣнить потерь своихъ. Но Лаврецкій поступаетъ не такъ. Покуда роскошная парижская жизнь гремитъ въ собственномъ его салонѣ, подъ руководствомъ жены, онъ сидитъ у себя въ кабинетѣ и страстно, лихорадочно, неусыпно учится. Чему именно, зачѣмъ, для какой опредѣленной цѣли — это ему самому неизвѣстно, это только характеристическая черта его эпохи. Безвыходное занятіе, судорожная любознательность, бросающаяся во всѣ стороны, плаваніе въ море науки безъ ком-

паса, безъ пристани въ виду, — вотъ его дѣло, какъ и любимое дѣло всего поколѣнія современниковъ его. А между тѣмъ Варвара Павловна не ждетъ. Въ характеръ ея нѣтъ нисколько нравственной бережливости: она скушаетъ богатствомъ красоты, когда нѣтъ возможности тратить его. Не видя близкой руки помогающей, она весело проживаетъ достояніе свое, она принимается бросать его по сторонамъ. Варвара Павловна дѣлаетъ только то, на что призвана, для чего воспитывалась дома и въ казенномъ заведеніи, чего ожидала отъ своей красоты и своего ума. Лаврецкій вывелъ ее на сцену дѣйствія, открылъ ей арену для подвиговъ и за то своевременно получилъ узаконенную плату. Чего онъ могъ ожидать болѣе, выбирая такую жену, что онъ сдѣлалъ для укрѣпленія связи своей, кромѣ предоставленія женѣ полной свободы располагать собою? Онъ виноватъ передъ ней и передъ своею совѣстью почти столько же, сколько преступная жена его виновата передъ закономъ, и приговоръ, изреченный Лизой, по вдохновенію нравственнаго чувства, становится неотразимъ: „надо покориться... надо простить“. Больше ничего не остается дѣлать!

Авторъ не оставилъ безъ разрѣшенія и вопроса, почему умный, серьезный Лаврецкій могъ такъ ошибиться въ выборѣ жены. Для поясненія этого обстоятельства, Тургеневъ рассказываетъ намъ исторію всего семейства Лаврецкихъ, начиная отъ прадѣда ихъ, разбойника, грабящаго и злодѣйствующаго съ вѣдома, почти съ позволенія общества, до отца, англомана, преобразователя, женившагося случайно на крѣпостной дѣвушкѣ и сдѣлавшагося трусомъ и тряпкой, по выраженію Гоголя, какъ только жизнь немного серьезнѣе заглянула ему въ лицо. Первый билъ сосѣдей, вѣшалъ „мужиковъ за ребра“, послѣдній заводилъ англійское хозяйство и старался образовать изъ сына своего спартанца, незнакомаго со слабостями человѣческой природы. Такъ было до 1825 года, когда „близкіе, знакомые и пріятели Ивана Петровича (отца нашего героя), подверглись тяжкимъ испытаніямъ“, и самъ онъ вдругъ притихъ и сжался до глубочайшаго ничтожества, до невыразимой пошлости. Всѣ эти страницы у Тургенева, съ ихъ быстрыми, но крупными очерками лицъ, гдѣ проходятъ, почти какъ видѣнія, разоренныя и истасканныя графини о бокъ съ любовниками своими, бѣдныя

дворовыя дѣвушки, попавшія въ госпожи, дикіе помѣщики, подъ взглядомъ которыхъ замираетъ всякая жизнь въ нѣмомъ трепетѣ и безъ сопротивленія, принадлежать къ числу мастерскихъ страницъ романа. Это вѣрная, оживленная картина русскихъ образованныхъ поколѣній въ XVIII столѣтіи и въ первой четверти настоящаго. Нужно ли говорить, что она далеко оставляетъ за собою недавнія безобразныя попытки изобразить близкую намъ старину посредствомъ голыхъ выписокъ изъ „записокъ“ и „памфлетовъ“, скрѣпляя ихъ только циническими намеками? Нѣтъ ничего общаго въ картинѣ Тургенева съ этою возмутительною игрой на почвѣ исторіи, — игрой, которую еще вдобавокъ хотѣли намъ выдать за свободное, творческое созданіе, какъ будто изъ подобранныхъ цитатъ, изъ коллекціи скандальезныхъ анекдотовъ, можетъ выйти что-либо, кромѣ смѣшенія, поясняющаго только малую совѣстливость писателя передъ собой и передъ публикой. Изъ картины Тургенева оказывается, что нашъ Лаврецкій нѣсколько разъ уже былъ надорванъ въ жизни, прежде чѣмъ послѣдняя штука жены подкосила его существованіе. Такъ или иначе, но и тутъ все поколѣніе, къ которому онъ принадлежитъ, раздѣляетъ его участь. Почти каждый изъ его членовъ и разными способами былъ обезсиленъ, прежде чѣмъ явился къ жизни и дѣятельности; жизнь и дѣятельность свалили его только окончательно съ ногъ на землю. На школьныхъ скамьяхъ, на первыхъ порывахъ молодости или дома передъ требованіями воспитателей, начиналась для каждого нравственная діета, направленная къ укрощенію, извращенію или къ отмигнѣ природныхъ силъ человѣка. ~~Двадцати трехъ лѣтъ старости~~ ~~нецъ былъ круглый невѣжда въ наукахъ, а еще болѣе~~ ~~въ жизни.~~ Барвара Павловна явилась первымъ существомъ, которое приняло съ улыбкой и доброжелательствомъ этого юнаго „Алкида“, какъ называетъ его авторъ, описывая его мужественную наружность, скрывавшую младенческое сердце и невѣдѣніе. Алкидъ ничего не разбиралъ. Въ одномъ имени женщины, въ одномъ ея образѣ заключалось для него полное представленіе всего нравственнаго, благороднаго и чистаго въ мірѣ. Когда Барвара Павловна нарушила это представленіе, то она разрушила не одну идею, а цѣликомъ всю жизнь человѣка. Несчастіе, однакожь, было полезно Лав-

рецкому. Оно смягчило и обработало его душу, надѣливъ ее тѣмъ мудрымъ снисхожденіемъ, о которомъ говоритъ поэтъ, дало пониманіе русской жизни и, подобно спасительному балласту, привлекло его изъ обширныхъ, но неопредѣленныхъ стремленій, къ землѣ, къ роднымъ степямъ, къ нуждамъ, печалямъ и волненіямъ ближнихъ. Все существо его сдѣлалось чрезвычайно добрымъ, симпатическимъ: сердца окружающихъ покоряются ему невольно, увлеченныя его общимъ благорасположеніемъ. Онъ радуется успѣхамъ людей, ихъ радостямъ, какъ собственному счастью, и только, обращаясь на себя, желалъ бы себѣ еще разъ молодости, еще разъ любви и еще разъ жизни. Какъ ни странны и мало разумны подобныя желанія, но они почти сбываются, когда сильный ударъ жениной руки разрушаетъ его воздушный замокъ... Таковъ Лаврецкій, замѣнившій Паншина въ сердцѣ Лизаветы Михайловны.

Послѣ этого длиннаго комментарія читатель нашъ можетъ подумать, что затѣмъ все просто и очевидно въ романѣ, что всѣ цѣли и намѣренія его открыты, что завязка его должна быстро развиться въ яркую картину и быстро склониться къ неизбѣжной катастрофѣ, уже предугадываемой всѣми. Нѣсколько иначе однакожь происходитъ дѣло въ самой повѣсти, показывая еще разъ, что ясность комментарія бываетъ, большею частію, кажущаяся, фальшивая ясность, и что онъ рѣдко можетъ дать понятіе о тайной, невидимой сторонѣ, какую имѣетъ всякое замѣчательное произведеніе искусства, и какую сухая критическая передача никогда не исчерпаетъ сразу. Благодаря этому свойству, многое выходитъ иначе, чѣмъ мы ожидаемъ; напр. образы главныхъ дѣйствующихъ лицъ написаны авторомъ далеко не съ тою грубою выразительностью, которая совершенно освобождаетъ зрителя отъ труда составлять о нихъ мнѣніе, на что мѣтитъ обыкновенно комментарий; отношенія между лицами далеко не такъ просты, чтобы достаточно было нѣсколькихъ размышленій и намековъ для полнаго опредѣленія ихъ, и, наконецъ, интрига романа, задержанная въ своемъ теченіи созерцательнымъ настроеніемъ и автора, и героевъ, возникшихъ изъ самаго хода повѣствованія, совсѣмъ не такъ бурно несется къ концу, какъ можно было бы предполагать, а *напротивъ*, задумчиво и роскошно тянется, прежде чѣмъ по-

вернуть ей къ естественному и уже давно открывшемуся истоку. Займемся комментариемъ и этой второй оборотной стороны романа, какъ сдѣлали уже для болѣе очевидной и яркой его стороны. Особенный смыслъ, о которомъ мы говорили, кажется намъ, сообщенъ роману слѣдующимъ, весьма важнымъ обстоятельствомъ: герои его, Лиза и Лаврецкій, лишены всякой возможности существовать въ мірѣ на тѣхъ основаніяхъ, какія выпали имъ на долю или какія они избрали себѣ. Бѣдственная, роковая невозможность эта оказывается съ перваго появленія ихъ на сцену отсутствіемъ свободнаго движенія, мертвенностью воли и безсиліемъ передъ гнетомъ внѣшняго міра, то-есть всѣми призраками зловѣщей агоніи, поэтический характеръ который не спасаетъ однакожъ человѣка отъ гибели. Они стоятъ передъ читателемъ, открытые для всѣхъ житейскихъ бурь и не имѣя ничего въ рукахъ, чѣмъ бы защититься. Со всѣми ихъ качествами, какъ нельзя болѣе походятъ они на тѣхъ страдальцевъ романической школы живописи, которыхъ мы видимъ на картинахъ о бокъ съ орудіями ихъ страданій, покорно принимающихъ всѣ удары враговъ, посылая только утѣшающій взоръ къ звѣздамъ и ласковому небу. Все ихъ значеніе заключается въ достоинствѣ характера и въ удивительно глубококомъ выраженіи фізіономій, но существенный признакъ жизни — движеніе — такъ чуждо имъ, что, кажется, съ первымъ шагомъ навстрѣчу обстоятельствъ или на борьбу съ ними они лишились бы всего своего величія. Вотъ почему фигуры Лизы и Лаврецкаго написаны авторомъ въ легкомъ полупрозрачномъ тонѣ, который не даетъ усмотрѣть и распознать тотчасъ же ихъ лица и свойственное имъ выраженіе. Мѣсто сильныхъ красокъ жизни замѣнено тутъ безчисленными и тончайшими чертами; каждая изъ нихъ отвѣчаетъ какой-либо тайной сторонѣ ихъ существованія, и каждая будитъ въ душѣ читателя множество личныхъ воспоминаній, множество знакомыхъ и родныхъ уму ощущеній. Удивительное обаяніе, производимое героями, зиждется именно на обилии, выразительности и значеніи этихъ подробностей, бросающихся въ глаза съ перваго же раза, между тѣмъ какъ полный образъ героевъ возстаетъ уже гораздо позже и требуетъ уже нѣкотораго размышленія. Оно и понятно. Единственная сила, сосредоточивающая человѣка, мгновенно объ-

ясняющая его для всѣхъ взоровъ, опредѣляющая и обна-
жающая его, есть опять-таки движеніе или, другими словами,
употребленіе воли, борьбы за себя и свои основанія. Но
Лиза и Лаврецкій не борются, не отстаиваютъ своей жизни,
а только заняты мыслью, какъ бы благороднѣе, достойнѣе и
великодушнѣе подчиниться всему, чего потребуютъ и къ чему
принудятъ ихъ обстоятельства. Страдательное положеніе
есть ихъ удѣлъ на землѣ, и притомъ удѣлъ, столько же
данный имъ извнѣ, сколько и взятый на себя по охотѣ, не-
смотря на нѣкоторыя попытки Лизы и Лаврецкаго освободиться
отъ него, противорѣчація основному ихъ характеру
и потому всегда неудачныя, какъ бываетъ безслѣдна всякая
вспышка. Гдѣ же причина, спрашивается, этого нравствен-
наго паралича, поразившаго ихъ въ серединѣ жизни? Прежде
чѣмъ дѣйствовать на внѣшній міръ, всякому человѣку не-
обходимо позаботиться объ устройствѣ и организаціи своего
собственного личнаго и внутренняго міра. Для того, чтобы
вести какую-либо борьбу, необходима твердая точка опоры,
которая нигдѣ не найдется, кромѣ насъ же самихъ. У иныхъ,
болѣе счастливыхъ поколѣній, первые зачатки нравственнаго
капитала, столь нужнаго для развитія природныхъ силъ
въ человѣкѣ, достаются, такъ сказать, по наслѣдству и да-
ромъ. Лизѣ и Лаврецкому ничего не было оставлено. Вдох-
новеніе часто приходило на помощь первой, но не освобождало
ее совершенно отъ необходимости внутренней работы,
а еще менѣе освобожденъ былъ отъ нея Лаврецкій. Они
должны были сами наживать всякую общечеловѣческую мысль,
всякое свѣтлое, коренное правило жизни, и притомъ еще
безпрестанно повѣрять на самихъ себѣ всякій моральный
принципъ, чтобы удостовѣриться, не фальшиваго ли онъ
чекана и достоинства. Такъ мало достовѣрности представляли
имъ тѣ признанные и законные авторитеты, которымъ другіе
народы слѣпо и охотно подчиняются. Но заниматься устрой-
ствомъ своихъ домашнихъ, такъ сказать, душевныхъ дѣлъ и
въ то же время принимать всѣ вызовы обстоятельствъ и
храбро выдерживать безконечныя дуэли съ случайностями
жизни — работа вообще очень тяжелая. Лиза и Лаврецкій
ограничились одною половиною ея и обратили всю энергію
воли исключительно на самихъ себя. Можетъ-быть, пока-
жется страннымъ, что мы говоримъ объ энергіи и волѣ

нашей четы послѣ того, какъ признали удѣломъ ихъ на землѣ страдательное положеніе по преимуществу. Оно и точно странно, если глядѣть на нихъ со стороны дѣйствующаго или, по крайней мѣрѣ, волнующагося міра, гдѣ обыкновенно стоитъ читатель, и гдѣ они неохотно, да и весьма неловко, показываются; но если посмотрѣть на нихъ въ ихъ душевномъ ульѣ, въ тайной ихъ работѣ надъ собою, дѣло принимаетъ совсѣмъ другой оборотъ. Со словъ нашего автора мы сказали, что Лаврецкій былъ безсиленъ, прежде чѣмъ наступила пора обнаруженія силъ, и это, кажется намъ, несомнѣнно въ отношеніи той стороны его существованія, которая соприкасается съ живымъ и дѣйствующимъ міромъ; со словъ же нашего автора можемъ сказать наоборотъ, что Лаврецкій потратилъ огромное количество труда и силы на другую, нравственную силу своего существованія. Между нимъ и отцомъ его, англоманомъ, лежитъ, на примѣръ, цѣлая бездна развитія, но кто же вырылъ ее, какъ не Лаврецкій-сынъ? Въ превосходныхъ сценахъ, изображающихъ намъ психическое состояніе Лаврецкаго, по полученіи въ Парижѣ несомнѣннаго доказательства измѣны жены и собственнаго позора, мы видимъ, какъ пробуждаются въ немъ мрачныя силы его родоначальниковъ, отцовъ и дѣдовъ его, и какъ твердо побѣждаетъ онъ ихъ въ себѣ. Страшныя испытанія, которымъ подвергаетъ его Варвара Павловна, по возвращеніи въ Россію, никогда не застаютъ его врасплохъ, а находятъ его также насторожѣ противъ грубыхъ инстинктовъ и увлеченія: онъ страстно бережетъ человѣческое гуманное чувство свое, добытое съ такимъ трудомъ, даже передъ коварствомъ и низостью. Плебейская кровь, которая отчасти течетъ въ его жилахъ, помогаетъ его усиліямъ, но не создала ихъ, какъ намекаетъ авторъ не вполне основательно, по нашему мнѣнію: плебейская кровь также нуждается въ обузданіи ея духовнымъ началомъ, можетъ-быть, даже болѣе, чѣмъ какая-либо другая. Энергическое управленіе своимъ внутреннимъ міромъ — вотъ гдѣ единственная доблесть Лаврецкаго, не имѣющаго иной доблести. Этимъ онъ отличается отъ всѣхъ литературныхъ типовъ 20-хъ и 30-хъ годовъ нашего столѣтія, отъ Чацкихъ, Онѣгиныхъ и Печоринныхъ. Чацкій, Онѣгинъ и Печоринъ, свободно презираютъ всю окружающую ихъ современность, совсѣмъ не

подозрѣвая, что презрѣніе надо бы начать съ самихъ себя, и что они составляютъ первое звено той самой современности, которую такъ охотно осмѣиваютъ. Они выдѣляютъ себя изъ толпы безъ малѣйшаго права на то или по праву въ родѣ „вольности дворянской“, и ни разу не пришлось имъ подумать, что измѣненіе порядка вещей, который тяготитъ ихъ, должно не предшествовать измѣненію ихъ собственной жизни, а слѣдовать за нимъ. Лаврецкій менѣе заносчивъ и развязенъ, но онъ серіознѣе ихъ. Не пужно прибавлять, кажется, что мы отдаемъ ему преимущество только за обиліе содержанія, произведенное самимъ ходомъ жизни и времени, а не за выразительность и яркость образа, чѣмъ первые, конечно, далеко превосходятъ его.

Всѣ замѣчанія эти еще въ большей степени прилагаются къ Лизаветѣ Михайловнѣ. Мы сейчасъ говорили о ея врожденномъ нравственномъ чувствѣ, которое есть тоже произведение естественнаго хода времени и развитія самой жизни. Лиза постоянно отступаетъ передъ событіями и требованіями дѣйствительнаго міра, ея окружающаго, это правда; но также правда и то, что безъ особенной внутренней энергіи она никогда бы не могла защитить себя такъ полно отъ его условій, притязаній и понятій! Съ своимъ врожденнымъ даромъ пониманія или, лучше, предчувствіемъ высшаго порядка вещей, она проходитъ между людьми удивительно строго и твердо, между тѣмъ какъ внѣшнее ея существованіе колеблется, безъ малѣйшаго сопротивленія, дуновеніемъ всѣхъ случайностей жизни. Сила ея только въ ея мысли. Но характеръ Лизы, какъ типа современной образованной дѣвушки, лучше всего объясняется сравненіемъ его съ другимъ типомъ того же рода, первымъ по времени и по достоинству, именно съ Татьяной Пушкина.

Между Татьяной Пушкина и вторымъ типомъ русской провинціальной барышни, достойнымъ этого названія, Лизой Тургенева, лежитъ промежутокъ тридцати годовъ, но онъ еще ничего не значитъ въ сравненіи съ бездной, которая раздѣляетъ ихъ въ нравственномъ смыслѣ. Можно ли было въ тридцатыхъ годахъ нашихъ вообразить себѣ русскую дѣвушку съ тѣми чертами и свойствами, какія замѣчаемъ нынѣ у героини новаго романа Тургенева? Необычайно длинное путешествіе совершилъ этотъ образъ съ того времени,

какъ впервые показался въ литературѣ нашей. Для того чтобы Татьяна Пушкина могла превратиться въ знакомую намъ Лизу, ей нужно было убѣдиться въ бѣдности и тишетѣ всего, что прежде такъ томило, волновало и занимало ее. Прежняя Татьяна занята исключительно исторіей своей любви, и ни о чемъ другомъ, кромѣ орудія и проводника этой любви, Онѣгина, понятія не имѣетъ, да еще и о немъ понятія ея весьма ограниченны и скудны. Зато она исполнена женственности, граціи и страсти, которыя заступаютъ ей мѣсто всѣхъ правилъ и образа мыслей. Еще и до сихъ поръ, по остатку стараго романтизма, любовь понимается многими какъ идея, исключающая всѣ другія идеи, и съ появленіемъ которой человѣкъ освобождается отъ всѣхъ обязанностей, житейскихъ и нравственныхъ. Влюбленная женщина, по одному тому, что она влюбленная женщина, представляется и теперь существомъ, исполнившимъ на землѣ все, что слѣдовало ему исполнить, изъятымъ отъ суда и мелкихъ ожиданій своихъ собратій по крови и отечеству. Что же было въ тридцатыхъ годахъ? Любовь, какъ священная отмѣтка, положенная на избранника или избранницу чьею-то невидимою рукою, тотчасъ же выводила ихъ изъ толпы, каковы бы, впрочемъ, ни были ихъ душевныя качества и умственное настроеніе, и вѣчно свѣжая поэзія Пушкина воплотила это понятіе общества въ живомъ типѣ, который останется перломъ его творческой дѣятельности. Блестящая, ослѣпительная красота этого типа не можетъ, однакоже, помѣшать намъ всмотрѣться пристально во всѣ черты его. Татьяна подъ конецъ обнаруживаетъ еще и способность къ сдѣлкамъ со своею совѣстью, какія обыкновенно зарождаются въ обществѣ, еще не имѣющемъ твердыхъ основаній, когда нужно обойти препятствіе или установленіе, слишкомъ строго повелѣвающее. Тогда является тайный кодексъ самовольныхъ правилъ и исключеній, который и дѣйствуетъ рядомъ съ нравственными законами, въ ущербъ имъ и оскорбляя ихъ однимъ своимъ присутствіемъ. Татьяна замужемъ за генераломъ, къ которому ласковъ дворъ и которому она остается, безъ любви, вѣрна навѣкъ. Это уже способно возбудить подозрѣніе, но она еще любитъ втайнѣ Онѣгина и находится замужемъ — вотъ что положительно дурно, если не съ точки зрѣнія тѣхъ годовъ, когда говорилъ поэтъ, то съ точки

зрѣнія нашей современности, когда многое уразумѣлось проще и правильнѣе. Вѣдь Татьяна обманываетъ тутъ не только свою совѣсть, но и вѣру другого человѣка, хотя все чисто и безукоризненно въ ней по наружности. Далеко не такъ полно и ослѣпительно, какъ Татьяна, выразила себя Лиза въ романѣ Тургенева (да и кому же у насъ подъ силу мѣряться съ Пушкинымъ въ выраженіи!), но она сдѣлала огромное приобрѣтеніе съ тѣхъ поръ, какъ показала впервые Татьяной. Лиза имѣетъ строгія нравственныя основанія; сдѣлки съ совѣстью ей противны; благоговѣніе къ свѣту и къ условнымъ приличіямъ замѣнилось неудержимымъ стремленіемъ направить все свое домашнее, обыденное существованіе въ смыслъ одной религіозно-моральной идеи, врожденной ей или прибрѣтенной ею. Это уже своего рода героизмъ, а понятіе о необходимости возводить до героизма благородныя побужденія и такъ называемыя добродѣтели не существовало еще во времена Пушкина, да и теперь оно далеко не привычный и далеко не вполне знакомый намъ гость.

Какъ бы то ни было, но покамѣстъ Лизавета Михайловна и Лаврецыи покорно выжидаютъ приговора жизни и обстоятельствъ, не дѣлая ничего, чтобъ обратить его въ свою пользу, смягчить или избѣжать его. Это круглыя сироты извѣстнаго общественнаго быта, и выраженіе тихой и грустной поэзіи, свойственной людямъ, обреченнымъ на жертву съ самаго рожденія, принадлежитъ имъ по праву. Поэзія этого рода создала вокругъ нихъ ровный, свѣтозарный ореолъ, и отъ нихъ разошлась по всему роману. Въ ея кроткой, задумчивой атмосферѣ движется даже большая часть второстепенныхъ лицъ, какъ, на примѣръ, дворовый человѣкъ, старикъ Антонъ, дошедшій, путемъ привычки, до благоговѣнія къ удручавшей его власти, приживалка въ комнатѣ Мары Тимоѣевны, музыкантъ Леммъ съ его постоянною благодарностью и вспышками вдохновенія (лицо, впрочемъ, сильно отзывающееся воспоминаніями стараго романтизма) и прочее. Всего болѣе присутствуетъ она въ описаніяхъ, и кто ѣхалъ вмѣстѣ съ Лаврецыимъ въ деревню, послѣ его долгой заграничной жизни, кто жилъ съ нимъ въ глуши его помѣстья передъ степями, получившими для него внятную и знаменательную рѣчь, ходилъ съ нимъ по опустѣлому, тяжелому дому умершей тетки, смотрѣлъ свободно и смѣло разросшійся садъ помѣстья,

при тишинѣ едва движущейся и какъ бы замершей жизни, кто, наконецъ, провожалъ съ нимъ верхомъ Лизу, посѣтившую его уединенное жилище, и возвращался съ нимъ опять домой, лунной ночью, переживая въ себѣ сладкое чувство новой привязанности, имъ овладѣвшее, тотъ уже не позабудетъ этихъ впечатлѣній. Томительно и отрадно ложатся они на сердце читателя, наполняя его въ одно и то же время грустью и наслажденіемъ. Есть мгновеніе въ романѣ, когда поэзія, окружающая образы Лизы и Лаврецкаго, достигаетъ своего апогея. Неожиданно разросшійся слухъ о смерти жены Лаврецкаго открываетъ вдругъ и впервые нашей четѣ виды на счастье. Съ обычной боязнію, съ непобѣдимымъ сомнѣніемъ въ возможности его, съ тайными упреками совѣсти, поминутно возстающими въ душѣ ея отъ каждаго самаго незначительнаго обстоятельства, начинается Лиза привыкать къ этой мысли. Она еще вся поглощена борьбой между надеждой и опасеніями, не понимаетъ сама, что съ ней дѣлается, когда разъ застаетъ ее чудная лѣтняя ночь, Лаврецкій, прокрадвшійся въ садъ, неожиданное свиданіе съ нимъ и первый единственный поцѣлуй любви, сорванный съ ея устъ въ тишинѣ ночи, который отдается въ другомъ мѣстѣ города, у бѣднаго Лемма, вѣроятно, предчувствовавшаго свиданіе, юною и вдохновенною сонатой. Надо читать это описаніе въ романѣ, чтобы испытать его обаятельное и потрясающее дѣйствіе; но поцѣлуй, какъ и всѣ надежды четы, длится одно мгновеніе. Онъ какъ будто вызвалъ изъ гроба львицу Варвару Павловну, потому что вслѣдъ за тѣмъ она является въ маленькій городской домикъ Лаврецкаго и умоляетъ его о пощадѣ и прощеніи, въ которыхъ, видимо, нисколько не нуждается. Тогда всѣ расчеты съ жизнію кончаются для Лизы, она рѣшительно порываетъ связь съ людьми, обществомъ, и убѣгаетъ въ монастырь, Лаврецкій тоже пропадаетъ, Богъ вѣсть куда, на долгое время. Чистая поэзія самоотреченія, омывавшая ихъ съ самаго появленія на сцену до того, что лишила воли, простора и движенія, теперь окончательно слилась въ безмятежную рѣку надъ ихъ головами. Мудрено ли, что новѣйшіе искатели идеаловъ рукоплещутъ этому покорному отреченію отъ радостей жизни и желали бы сдѣлать его даже закономъ для всѣхъ людей? Мы лучше хотимъ присоединиться къ тѣмъ чувствительнымъ, которые оплакиваютъ виѣшнюю судьбу и

участь четы, хотя слезы наши будутъ пролиты столько же надъ несчастіями Лизы и Лаврецаго, сколько надъ тѣмъ обстоятельствомъ, что только такою поэзіею и можно было автору освѣтить ихъ симпатическіе образы.

Весьма замѣчательно, что и самъ авторъ, кажется, раздѣляетъ это сожалѣніе. Онъ относится къ главнымъ лицамъ своей повѣсти, по нашему мнѣнію, такъ свободно, какъ только можно писателю относиться къ своему собственному произведенію. Конечно, онъ сочувствуетъ страданіямъ своихъ героевъ, болѣетъ вмѣстѣ съ ними всѣми ихъ болѣзнями, но при этомъ онъ не увлеченъ ими и постоянно берегаетъ для себя право суда надъ ними. Это двойное отношеніе къ героямъ выражается у него мимолетными, едва уловимыми чертами, но вы чувствуете, что подъ роскошными поэтическими описаніями его течетъ еще какой-то другой источникъ, который не даетъ имъ переродиться въ болѣзненные, идиллическія произрастенія распущенной фантазіи. Этотъ крѣпящій источникъ есть критическая способность автора, и она одинъ только разъ выступаетъ вполне наружу, именно въ концѣ романа, когда Лаврецкій, съ лирическимъ воодушевленіемъ, благословляетъ молодое, свѣжее поколѣніе, поселившееся въ домъ отсутствующей Лизы, на новую и лучшую жизнь. Для тѣхъ, которые умѣютъ понимать неписанное, источникъ этотъ былъ слышенъ гораздо ранѣе, чуть ли не съ самаго начала романа. Упреки, какіе можно сдѣлать главнымъ дѣйствующимъ лицамъ романа, уже всѣ сдѣланы авторомъ, прежде читателя, въ собственной своей совѣсти. Стоить только внимательнѣе посмотрѣть, чтобы открыть во множествѣ слѣды повѣряющей и обсуждающей мысли его. Иногда кажется даже, будто романъ написанъ съ цѣлью подтвердить старое замѣчаніе, что великія жертвы, приносимыя отдѣльными лицами ежедневно и по своему произволу, точно такъ же свидѣлствуютъ о болѣзни общества, какъ и великія преступленія, слишкомъ часто повторяющіяся въ немъ. Могло ли это случиться, если бы авторъ не имѣлъ ничего въ виду, кромѣ простой передачи образовъ, представшихъ его воображенію? На фізіономіяхъ Лизы и Лаврецаго также, по временамъ играютъ лучи какой-то другой мысли, чѣмъ ихъ собственная. Какъ ни обаятельно изображена Лиза, какимъ вниманіемъ, участіемъ и любовью ни

окружаетъ ее авторъ, но чрезвычайная осторожность въ созданіи этого характера уже показываетъ заботливость автора не проговориться, и видимыя усилія его удержаться на одной съ нимъ высотѣ тоже родились не безъ причины. Отъ превосходнаго образа Лизы, даже и теперь, послѣ тщательной обработки его, все-таки отдѣляется мысль, что зародышъ настоящей поэзіи, питающій сердце, заключается въ свободномъ обмѣнѣ чувствъ, подобно тому какъ условія общественнаго просвѣщенія заключается въ обмѣнѣ мыслей. Авторъ глубоко сочувствуетъ Лизѣ, но какъ будто боится ея стремленій. Само собою разумѣется, что въ отношеніи Лаврецакаго онъ могъ высказаться опредѣленно. Вотъ почему столько разъ проходитъ у него по всему разсказу о нашемъ героѣ легкое выраженіе осужденія и состраданія, столько разъ наводится читатель, тихо и незамѣтно, на строгій тонъ и приговоръ. При самомъ искреннемъ участіи къ лицу, въ умѣ читателя возникаютъ безпрестанно вопросы, и это именно потому, что самъ авторъ приступалъ къ изображенію лица съ такими же точно вопросами на душѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ и оберегаетъ своего Лаврецакаго, его, видимо, томить опасеніе, чтобы кто-нибудь не поднялъ голоса и не сказалъ: „довольно уже надумались мы о прошломъ, и выговорили всѣ свои жалобы, и оплакали его тлетворное дѣйствіе на себя и другихъ: пора или умирать вмѣстѣ съ нимъ, или оттолкнуть его отъ себя, какъ нѣкогда кіевляне отталкивали, на середину Днѣпра, въ быстрину рѣки, стараго бога своего, столько вѣковъ тупо и грозно стоявшаго передъ ними“. Онъ торопится предупредить замѣчаніе, ослабить его дѣйствіе всѣми возможными поясненіями, и заботливость, съ которою придумываетъ извиненія для Лаврецакаго, впадая даже въ преувеличеніе (вспомнимъ похвалбу Лаврецакаго собой и своимъ поколѣніемъ, въ концѣ романа), свидѣтельствуетъ, несомнѣнно, что возраженіями нельзя удивить его, и что они заранѣе чувствуемы были имъ въ глубинѣ собственной его мысли. Это двойственное отношеніе къ лицамъ, къ которому, впрочемъ, авторъ приведенъ былъ неизбежно свойствомъ выводимыхъ характеровъ и сущностью самого повѣствованія, отразилось въ заглавіи романа. „Дворянское гнѣздо“ звучитъ, кажется намъ, весьма иронически и заставляетъ ожидать если не сатиры, то, по крайней мѣрѣ,

горькой драмы, взятой изъ нѣдръ извѣстнаго общественнаго круга, а между тѣмъ романъ, носящій такое зловѣщее названіе, весь исполненъ снисхожденія, нѣжной поэзіи и тихой жалобы. Въ простыя эпохи творчества этого бы не могло никогда случиться, но не въ такой эпохѣ живетъ авторъ нашъ, и особенно, не изъ простого и яснаго настроенія, какъ было у предшественниковъ нашихъ, вышли люди, подпавшіе теперь художнической кисти его.

Остается еще третье важное лицо романа, и притомъ единственное, живущее всей полнотой жизни, смѣло идущее ко всѣмъ цѣлямъ своимъ, свободно и мастерски управляющее событіями, именно — „львица“ Варвара Павловна. Мы уже говорили о ней, но не можемъ удержаться еще отъ нѣсколькихъ словъ. Торжествующій образъ Варвары Павловны нарисованъ такъ ярко у автора, что почти выходитъ изъ рамы повѣствованія и противорѣчитъ общему его колориту, выдержанному въ томномъ, нѣжномъ полу-свѣтѣ. Существо, болѣе безобразное въ нравственномъ отношеніи и болѣе искушающее и раздражающее въ физическомъ смыслѣ — трудно представить себѣ. Это порожденіе особеннаго рода сборной, такъ сказать, цивилизаціи, которая по частямъ наплываетъ съ разныхъ сторонъ на человѣка, нисколько не заботясь о томъ, гдѣ она ляжетъ, на чемъ ляжетъ и какъ ляжетъ. Она только равно удаляетъ человѣка отъ народныхъ убѣжденій и народныхъ предразсудковъ, отъ духовныхъ стремленій времени и отъ его заблужденій, отъ хорошихъ и дурныхъ сторонъ общаго отечества, замѣщая все это понятіемъ о служеніи самому себѣ или даже потребностямъ своего организма, какъ у нашей львицы, подѣ тѣмъ покровомъ щегольства и приличія, какія только нужны не для обузданія чужихъ страстей, а для лучшаго ихъ возбужденія, прикрытія и направленія. Эта цивилизація намъ хорошо извѣстна: мы почасту различаемъ ея признаки у себя дома, преимущественно въ такъ называемыхъ избранныхъ кругахъ общества, и можно полагать, есть не малое количество читателейъ, публично негодующихъ на львицу Варвару Павловну, и втайнѣ, можетъ-быть, безсознательно завидующихъ ея уму и способности наслаждаться жизнью, опрокидывая всѣ препятствія на пути своемъ. Одно лицемеріе еще связываетъ львицу Варвару Павловну съ гра-

жданскимъ обществомъ; не будь лицемѣрія, она была бы такъ гола, такъ отвратительно свободна, какъ отаитянка или жительница Сандвичевыхъ острововъ. Чему ей покоряться? Во всемъ мѣръ не существуетъ для нея какого-либо обязательнаго правила, такъ внутри ея не существуетъ и признака какого-либо противорѣчія — все ясно и просто для нея, все побѣждено и покорено ею. Оттого силы для борьбы съ людьми въ пользу своихъ интересовъ, неистраченные на воспитаніе себя, у нея всегда налицо и дѣйствуютъ всегда открыто, неотразимо и побѣдоносно. Моралистъ и этнографъ одинаково задумаются надъ этимъ образомъ, который такъ полно представляетъ Тургеневъ. Но для львицы, подобныхъ Варварѣ Павловнѣ, недостаточно родной почвы и отечества, гдѣ, по условіямъ жизни и образованія, сцена дѣйствія еще узка и должна довольствоваться партеромъ изъ небольшого числа знатоковъ и цѣнителей этого рода талантовъ. Вотъ почему „львицы“ наши охотно бѣгутъ за границу, гдѣ арена для подвиговъ ихъ значительно расширяется и гдѣ въ самыхъ разнородныхъ кругахъ могутъ онѣ найти полное пониманіе и полное признаніе всѣхъ своихъ доблестей. Столицы Европы наполнены этими героинями, увидѣвшими свѣтъ на родныхъ нашихъ берегахъ Клязьмы, Суры, Камы, иногда и далѣе, иногда въ бѣдномъ, нуждающемся семействѣ. Однакожь и столицы Европы не въ силахъ подчасъ отказать имъ въ удивленіи. Оно и понятно. Явленіе туземныхъ лицъ, европейскихъ Варваръ Павловнъ, возникаетъ отъ заблужденія страстей, отъ извращенія мысли, отъ дѣйствія различныхъ ученій, обуревающихъ общество, наконецъ, просто отъ жажды шума и извѣстности. Онѣ имѣютъ, если не оправданіе, то, по крайней мѣрѣ, своего рода опредѣленіе. Ничего подобнаго нѣтъ въ настоящей, родной нашей Варварѣ Павловнѣ. Она можетъ похвастать, что никогда не поддавалась „гибельнымъ впечатлѣніямъ“ отъ чего бы то ни было, что ни вредное чтеніе, ни опасное размышленіе не участвовали въ образованіи ея вкусовъ, что она такъ же мало обязана своимъ величіемъ увлеченію страсти, какъ и превратному понятію о независимости. Какъ же тутъ не удивляться? Варвара Павловна сама создала себя. Она есть точно такое же самородное, оригинальное явленіе русской жизни, какъ и антиподъ ея, благородная Лизавета Михайловна: ими выражаются

два противоположные полюса одного и того же общественнаго развитія.

Ничто такъ не утверждаетъ въ этомъ убѣжденіи, какъ одно обстоятельство, равно приложимое къ обоимъ лицамъ: Варвара Павловна тоже не имѣла никакой подпоры внѣ себя для своего бѣднорожденнаго, хилаго нравственнаго чувства, какъ другая — для строгаго своего идеала. Есть на свѣтѣ множество характеровъ, которые нуждаются болѣе чѣмъ въ обоихъ правилахъ, составляющихъ достояніе всего человѣчества, для того чтобы сберечь свое достоинство и укрѣпить въ себѣ нетвердыя понятія о чести. Имъ нужны еще бываютъ частныя правила разумнаго существованія, требованія, узаконенныя обычаемъ, примѣры, вошедшіе въ силу закона, словомъ — весь тотъ написанный уставъ общежитія, какой обыкновенно вырабатывается самими народами въ своихъ нѣдрахъ, служить имъ лучшею характеристикой и составляетъ, можетъ-быть, высшее ихъ произведеніе: въ немъ различныя національности сознаютъ себя какъ нравственные лица. Подобные кодексы есть у англичанъ, нѣмцевъ, французовъ, но особенно у первыхъ; благодаря этимъ кодексамъ, всѣ личности, кромѣ гражданской и религіозной связи, связываются еще воедино и общимъ преставленіемъ житейской морали, составляя, такимъ образомъ, великое, духовное братство. Никто не можетъ нарушить его, подъ опасеніемъ сильнаго нареканія, и каждый членъ безсознательно стремится возвратить къ нему всякаго ослушника. На эти готовые указанія долга и порядка именно опираются люди, имѣвшіе несчастье родиться безъ внутренней потребности къ воспитанію себя, и, дѣйствительно, при бѣдности натуры, тутъ заключается единственное спасеніе для человѣка. Ничего подобнаго у насъ нѣтъ. Каждый человѣкъ у насъ есть единственный руководитель, оцѣнщикъ и судья своихъ поступковъ. Мы не можемъ согласиться другъ съ другомъ ни въ одномъ, самомъ простомъ и самомъ очевидномъ нравственномъ правилѣ, мы разнимся во взглядахъ на первоначальныя понятія, на азбуку, такъ сказать, ученія о человѣкѣ. Представленія о дозволенномъ и недозволенномъ, въ различныхъ кругахъ нашего общества, до такой степени разнородны и противорѣчивы, что поступокъ, выставляемый на позоръ одною стороною, даетъ поводъ наивно похва-

статься имъ другой сторонѣ. Все это называется свободой жизни. Многіе даже смотрятъ на самое явленіе какъ на весьма выгодное для общественнаго положенія, не связаннаго никакими путями, никакими узкими и тираническими опредѣленіями обычая, и потому способнаго широко развиваться во всѣ стороны. Не знаемъ, такъ ли это, но, по крайней мѣрѣ, умноженіе лицъ, подобныхъ Варварѣ Павловнѣ, въ послѣднее время, и наглые примѣры откровеннаго заявленія своего безумія, безпрестанно встрѣчающіеся, несомнѣнно, свидѣтельствуютъ, кажется, что намъ покамѣстъ еще нечего гордиться этой свободой.

Какъ ни длинна статья наша, но рѣшаемся сдѣлать еще одно послѣдніе замѣчаніе.

Говорятъ, что мы молодой народъ, и это правда, если принять въ соображеніе недостаточное развитіе многихъ сторонъ общественнаго быта; но если судить по свойству нашихъ пороковъ и даже добродѣтелей, то мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, и очень старый народъ. Возьмите, напримѣръ, жизнь того класса, который выведенъ передъ нами въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“. Развѣ порокъ не пріобрѣлъ тутъ изящества, тонины и замысловатости, совершенно чуждыхъ народамъ, дѣйствительно, юнымъ? Но оставимъ отрицательную сторону и присмотримся только внимательнѣе къ лучшей, положительной сторонѣ нашего быта. Спрашивается: какое общество, только что начинающее свое поприще, только что вышедшее изъ дѣтства, способно чувствовать и переживать то горе, которымъ страдаютъ герои „Дворянскаго гнѣзда“? Мы сомнѣваемся даже, чтобъ оно могло просто слѣдить за хитрою сѣтью разнородныхъ нравственныхъ требованій, которою опутаны мысль и воля честнѣйшихъ и лучшихъ людей, выведенныхъ передъ нами авторомъ. Нужно было обществу многое пережить на свѣтѣ, прежде чѣмъ успѣла образоваться въ немъ это неугомонная повѣрка своихъ стремленій, это тяжелое созданіе идеаловъ жизни на развалинахъ другихъ идеаловъ, данныхъ исторіей, это духовное скитанье, смѣемъ выразиться, изъ одного нравственнаго представленія въ другое, которое обнаруживается отчасти въ Лизѣ и уже такъ развилось въ Лаврецкомъ. Конечно, позволено будетъ сказать, что кругъ, гдѣ они родились, старъ если не годами, то раннею, преждевременною

опытностью: даже доблести его и самый героизмъ далеко не юношескіе, а скорѣе того круга, который находится въ порѣ зрѣлости, уже граничащей съ утомленіемъ. Добродѣтели молодости всегда и проще, и менѣе подготовляются, и обнаруживаются свободнѣе. Исторія воспитанія Лаврецакаго, рассказанная авторомъ, поясняетъ намъ, отчего на молодыхъ фізіономіяхъ могутъ показываться черты и признаки старчества. Если это такъ, то, во-первыхъ, ироническое названіе „Дворянскаго гнѣзда“, данное кругу, изъ котораго вышелъ Лаврецкій, само собою оправдывается, а во-вторыхъ необходимость обновленія, упрощенія и освѣженія этого круга становится очевидна. Пророчествомъ близкаго обновленія кончается и самый романъ Тургенева: послѣднее слово его есть воззваніе къ молодому поколѣнію, являющемуся на смѣну старому и съ новою жизнью и новыми понятіями. Такъ и должно было кончить все это повѣствованіе: иначе оно вышло бы апоѳеозой немощи и страданія, подтвержденіемъ того антиобщественнаго правила, по которому нравственное достоинство никогда не должно имѣть въ жизни гордаго и смѣлаго шага, а всегда или падать, или влачиться за другими, какъ калѣка.

Да и не одному кругу Лизы, Лаврецакаго, Варвары Павловны необходимо, кажется, обновленіе, а всѣмъ классамъ общества, безъ исключенія котораго-либо изъ нихъ, и если мысль эта имѣетъ какую-либо долю истины, то писателямъ нашимъ предстоитъ важная роль въ обществѣ, потому что всякое дѣло нравственнаго свойства всегда было предчувствуемо ими ранѣе, чѣмъ другими, и въ минуту своего свершенія всегда находило ихъ за себя и въ переднихъ рядахъ. Невольно припоминается это теперь, когда встрѣчаются изъ писателей софисты, испытывающіе странное наслажденіе публично бичевать себя, взывая съ сокрушеннымъ сердцемъ: „мы ничего не сдѣлали, мы ни на что неспособны, и благодать приходитъ къ намъ отъ тѣхъ, кто мало мыслить, ничему не учится и плохо видитъ!“ Особенно въ отношеніи къ нашему автору требованія публики могутъ и должны быть чрезвычайно строги и взыскательны.

Тургеневъ уступаетъ другимъ современнымъ нашимъ повѣствователямъ, пользующимся извѣстностью, въ нѣкоторыхъ качествахъ, а особенно въ качествѣ непосредственнаго не-

вольнаго творчества, овладѣвающаго предметами описанія сразу, по инстинкту и, такъ сказать, по естественной потребности своей. Онъ долженъ думать и много думать, прежде чѣмъ обнаружится въ немъ какая-либо сторона создающей силы: такъ, по крайней мѣрѣ, намъ кажется изъ тщательнаго изученія его произведеній. Но взаимѣнъ ни у одного изъ нашихъ повѣствователей нѣтъ такого чутья къ тончайшимъ поэтическимъ оттѣнкамъ жизни, такого остраго психическаго анализа и такого пониманія невидимыхъ струй и теченій общественной мысли, которыя пересѣкаютъ въ разныхъ направленіяхъ современный бытъ нашъ. Вотъ почему всегда отъ него можно ожидать именно того слова, которое на очереди, или которымъ занято большинство умовъ. Преимущество это, кромѣ таланта, условливается и обширностью горизонта; какими пользуется его мысль: оно отличаетъ даже многіе изъ прежнихъ его разсказовъ, стоящіе, по исполненію, ниже задачъ, набросанныхъ имъ для разрѣшенія. При такихъ качествахъ невозможно писателю смотрѣть на предметы постоянно съ одной точки зрѣнія или не видѣть, какъ приближается время ихъ измѣненія, и какъ возстаютъ за ними рядъ новыхъ явленій, имѣющихъ право требовать, чтобы поэтъ-этнографъ обратился къ нимъ лицомъ. До сихъ поръ Тургеневъ былъ избранный и непревосходимый лѣтописецъ безвыходныхъ положеній. Какъ ни удобны, для развязки потрясающей драмы, такъ называемыя „безвыходныя положенія“ вообще, но и для нихъ наступила пора преобразованія. Можно требовать теперь, по крайней мѣрѣ, чтобы „безвыходныя положенія“ рождались изъ естественнаго теченія и развитія обстоятельствъ, изъ свободной воли самихъ лицъ, выбравшихъ себѣ дорогу посреди множества дорогъ, и не походили на стѣну, поставленную какою-то невидимой рукой поперекъ пути, на которую неизбѣжно наталкиваются всѣ проѣзжающіе и проходящіе, и подъ тѣнью которой умираютъ, не зная, что имъ дѣлать. Настроеніе, родившее всѣ прежніе романы Тургенева, истощено послѣднимъ „Дворянскимъ гнѣздомъ“, кажется намъ, до капли. „Дворянскимъ гнѣздомъ“ авторъ завершилъ всѣ старыя свои представленія, всѣ образы, тревожившіе душу его въ теченіе многихъ лѣтъ: онъ возвелъ ихъ, наконецъ, до полнаго выраженія и тѣмъ самымъ простился съ ними

навсегда. Таково обычное дѣйствіе мастерскихъ произведеній на самого писателя. Мастерскимъ своимъ произведеніемъ авторъ окончательно снимаетъ съ себя многолѣтнюю работу и отгоняетъ прочь цѣпь мыслей и образовъ, деспотически владѣвшихъ его фантазіей до минуты ихъ всесторонняго осуществленія. Мастерское произведеніе есть желанный конецъ творческаго пути, съ которымъ забываются волненія и страданія дороги, вмѣстѣ со всѣми ея явленіями: память о нихъ есть уже достояніе исторіи и записокъ. Послѣ него, какъ послѣ мистическаго возрожденія, жизнь должна начинаться сызнова, и счастливъ тотъ художникъ, который, такимъ образомъ, можетъ становиться нѣсколько разъ духовно-юнымъ, чувствовать себя нѣсколько разъ безъ прошлаго и не замѣчать въ фантазіи своей ни малѣйшаго признака закоренѣлой привычки или застарѣлыхъ вкусовъ и наклонностей. Этого именно имѣемъ мы право и поводъ ожидать отъ Тургенева.

Анненковъ.

Личность Лизы въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“.

Прежде всего я попрошу читателя припомнить главу XXXV, гдѣ говорится о воспитаніи Лизы, о вліяніи на нее Агаѣи, этой въ своемъ родѣ необыкновенной женщины. Изъ этой же главы, однако, мы выносимъ убѣжденіе въ томъ, что вліяніе Агаѣи могло оказаться столь могущественнымъ только потому, что сама натура Лизы была отъ рожденія надѣлена задатками глубокой, всепоглощающей религіозности. Когда Агаѣя рассказывала ей „о Пречистой Дѣвѣ, о святыхъ угодникахъ, которые жили въ пустыняхъ, терпѣли голодъ и нужду и — царей не боялись, Христа исповѣдовали“, Лиза слушала и проникалась очарованіемъ этой религіозной эпопеи такъ, какъ это возможно только для натуры, одаренной исключительной глубиною и широтою религіознаго чувства. Она слушала, „и образъ вездѣсущаго, всезнающаго Бога съ какой-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу, а Христосъ становился ей чѣмъ-то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ“...

Какова же была религія Лизы?

Приведенныя выше слова („образъ вездѣсущаго, всезнающаго Бога съ какой-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу“... и т. д.) уже даютъ намъ точку опоры для сужденія о религіозномъ чувствѣ Лизы. Очевидно, въ этомъ чувствѣ *страхъ* Божества если не совсѣмъ отсутствовалъ, то, по крайней мѣрѣ, игралъ роль второстепенную; немного значенія имѣла также и философская (метафизическая) сторона идея Божества. На первомъ планѣ была у Лизы *мистическая любовь*, въ которой отразилась вся глубина, вся нѣжность, вся искренность и чистота ея натуры. „Вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, она любила всѣхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога восторженно, робко, нѣжно“.

Это религіозное настроеніе въ Лизѣ всегда на лицо, и религіозное чувство всегда бодрствуетъ. Для нея нѣтъ религіозныхъ будней. Она вся проникнута и просвѣтлена этимъ мистическимъ началомъ, которое образуетъ неотъемлемую часть ея существа. Оно всегда при ней, какъ при ней — ея чистота, ея доброта, ея нѣжность. Это кладетъ на Лизу особый отпечатокъ. Она является передъ нами озаренною какимъ-то внутреннимъ свѣтомъ, придающимъ ей несказанную прелесть. Самая обыкновенная, самая мелкая и прозаическая душа въ моментъ религіознаго умиленія преобразается и становится по-своему глубокой и значительной, и самое пошлое лицо — въ эту минуту экстаза — облагорожено вдохновеніемъ. Но пройдетъ это „чудное мгновеніе“, и мелкая душа опять станетъ мелкой, и пошлое лицо снова приметъ свое обычное выраженіе. Лиза родилась и живетъ — „преображенной“. Всѣ силы души у нея направлены на мистическую любовь къ Богу, а ея умъ занятъ проблемой смерти. „Христіаниномъ нужно быть“, говорить она Лаврецкому, „не для того, чтобы познавать небесное... тамъ... земное, а для того, чтобы каждый человѣкъ долженъ умереть“. По ея собственному признанію, она часто думаетъ о смерти гл. (XXVI). Почему же она часто думаетъ о смерти? Боятся ея? Очевидно, нѣтъ. Она не изъ числа тѣхъ малодушныхъ, которые такъ подвержены страху смерти. Она думаетъ о смерти потому, что больше всего любитъ Бога и притомъ — любить его своеобразно, по-женски, внося въ это чувство (которое, „ка

существо, должно быть въ извѣстномъ смыслѣ „отвлеченнымъ“, какъ любовь къ идеѣ, истинѣ, справедливости) много непосредственности, женской нѣжности, влюбленности, беззащитности. Вся проникнутая этимъ живымъ мистическимъ чувствомъ, она не можетъ быть такъ привязана къ радостямъ, къ счастью земной жизни, какъ другія женщины, и смерть, этотъ страшный и таинственный актъ, занимаетъ ея умъ, лишь какъ переходъ къ другому, высшему существованію. Оттуда и это равнодушіе къ жизни, и эта боязнь грѣха, дурного помысла, и способность съ легкимъ сердцемъ отречься отъ эгоистическаго земного счастья и, наконецъ, свобода отъ власти земной женской любви.

Ея основное чувство есть также альтруизмъ — очень широкій, всечеловѣческій, христіанскій въ настоящемъ, евангельскомъ смыслѣ: онъ подчиняется завету „любите враговъ вашихъ, дѣлайте добро ненавидящимъ васъ“. Онъ — одна чистая, безпримѣсная любовь, безъ вражды и ненависти, — любовь, являющаяся выраженіемъ того наивысшаго, этического начала, которое дано въ нагорной проповѣди. Лиза всѣхъ любитъ, жалѣетъ и прощаетъ, — даже Паншина и жену Лаврецкаго. Она органически неспособна ненавидѣть — напр., дурного, злого человѣка за то, что онъ золъ; она будетъ только скорбѣть и молиться о немъ. Такая любовь — не отъ міра сего, и душа, ея движимая, не призвана жить, трудиться и бороться въ этомъ грѣшномъ мірѣ.

Лиза стремится въ сущности „къ свободѣ и покою“, къ свободѣ отъ тягостныхъ ей связей съ людьми, отъ гнетущихъ ее противорѣчій жизни, отъ неизбѣжныхъ „въ мірѣ“ грѣховъ и компромиссовъ, — къ покою души, къ наполняющей ея душу несказаннымъ блаженствомъ близости къ Божеству въ монастырѣ, къ мистическимъ восторгамъ религіозной жизни. Но это высокое счастье она заслужила; она его купила цѣною огромной жертвы — она отказалась ради него отъ счастья съ любимымъ человѣкомъ. Это счастье было вполне возможно, и отъ нея зависѣло ея осуществленіе. Чтобы понять всю громадность этой жертвы, нужно вспомнить, что любовь Лизы и Лаврецкаго была любовь глубокая и могущественная, основанная не на скоропреходящемъ увлеченіи, а на внутреннемъ сродствѣ душъ, — это была любовь на всю жизнь, она сулила настоящее, прочное счастье,

то рѣдкое поэтическое счастье, ради котораго люди такъ легко отрекаются отъ высшихъ идей, отъ религіи, отъ идеаловъ, и только такія рѣдкія натуры, какъ Лиза, способны принести въ жертву высшимъ, неличнымъ стремленіямъ души.

Итакъ, это была жертва, это былъ подвигъ самоотреченія.

И это жертвоприношеніе было совершено силою мотивовъ *чисто нравственного* порядка. Вспомнимъ здѣсь сцену въ концѣ главы XLII.

„— Да, — сказала она глухо: — мы скоро были *наказаны*.

„— Наказаны, — повторилъ Лаврецкій... — За что же вы-то наказаны?

„Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя ни тревоги они не выражали...

„Сердце въ Лаврецкомъ дрогнуло отъ жалости и любви.

„— ...Все кончено, — прошепталъ онъ; — да, все кончено — прежде чѣмъ началось.

„— Это все надо забыть, — проговорила Лиза... — Намъ обоемъ остается исполнить нашъ долгъ. Вы, Ѳедоръ Ивановичъ, должны примириться съ вашей женой.

„— Лиза!

„— Я васъ прошу объ этомъ; этимъ однимъ можно загладить... все, что было...

„— ...Хорошо, — проговорилъ сквозь зубы Лаврецкій: — это я сдѣлаю, положимъ; этимъ я исполню свой долгъ. Ну, а вы — въ чемъ же вашъ долгъ состоитъ?

„— Про это я знаю.

„Лаврецкій вдругъ встрепенулся.

„— Ужъ не собираетесь ли вы выйти за Паншина? — спросилъ онъ.

„Лиза чуть замѣтно улыбнулась.

„— О, нѣтъ! промолвила она!

Не трудно видѣть, что Лизой движетъ мотивъ не какого-нибудь иного, какъ именно нравственного или точнѣе нравственно-религіознаго порядка. Она считаетъ дѣломъ грѣшнымъ, безнравственнымъ строить свое счастье на несчастьи другихъ. Отнять Лаврецкаго отъ его семьи, хотя бы и любимой имъ и чуждой ему, она признаетъ почти преступленіемъ, подлежащимъ наказанію. Для нея не подлежитъ сомнѣнію что, отнимая у семьи Лаврецкаго, она нарушитъ святость брака, лишитъ жену Лаврецкаго мужа, его дочь —

отца, его самого — возможности простить, а ее (madame Лаврецкую!) — возможности раскаяться и загладить свое прошлое. Свой чистый порывъ, свою любовь къ Лаврецкому она признаетъ поэтому грѣховными, себя считаетъ недостойной счастья, само счастье — невозможнымъ и нежелательнымъ, разъ оно сопряжено съ компромиссами, съ нарушеніемъ чьихъ-то, хотя бы фиктивныхъ, правъ. Возвращеніе жены Лаврецкаго ей представляется поэтому предостереженіемъ свыше и даже наказаніемъ за грѣховное, по ея мнѣнію, чувство. „Теперь вы сами видите, что счастье не отъ насъ, а отъ Бога“, говоритъ она Лаврецкому.

Но этого мало. Нравственныя основанія самоотреченія Лизы оказываются еще глубже:

Въ сценѣ, гдѣ Лиза объявляетъ тетускѣ, несравненной Марѣ Тимофеевнѣ, о своемъ рѣшеніи пойти въ монастырь, она говоритъ, между прочимъ: „...Я рѣшилась, я молилась, я просила совѣта у Бога, все кончено, кончена моя жизнь съ вами. Такой урокъ не даромъ: *да я ужъ не въ первый разъ объ этомъ думаю*. Счастье ко мнѣ не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все цемило. *Я все знаю, и свои грѣхи, и чужіе, и какъ папенька богатство нажилъ; я все знаю. Все это отмольтъ, отмольтъ надо...*“ (Гл. XLV). *Овсяннико-Куликовскій.*

Общественное значеніе романа „Наканунъ“.

Романъ „Наканунъ“ (1859 г.) служитъ новымъ доказательствомъ отличительной и симпатичной черты творчества Тургенева, а именно — способности быстро угадывать новыя идеи, новыя потребности, лишь только онѣ, еще смутно, начинаютъ волновать общество, и умѣнье отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство, какъ только начинаютъ они проникать въ сознаніе лучшихъ людей. По основной своей идеѣ этотъ романъ непосредственно граничитъ съ „Рудинымъ“ и съ „Дворянскимъ гнѣздомъ“ и въ то же время служитъ какъ бы слѣдующею ступенью въ ходѣ рѣшенія этой задачи, которую Тургеневъ рѣшаетъ или, по крайней мѣрѣ, послѣдовательно разъясняетъ, цѣлымъ рядомъ романовъ. Рудинъ — представитель высшихъ идей и теоре-

тических стремлений, которые необходимо внести въ грубую въ сонную дѣйствительность, расшевелить ее и подвинуть, къ развитію. Но способы дѣйствія Рудина заключаются только въ словѣ, правда, благородномъ и убѣжденномъ, да еще въ безплодныхъ усиліяхъ приняться за дѣло. „Боже мой! въ тридцать пять лѣтъ все еще *собирается* что-нибудь сдѣлать“! тоскливо восклицалъ онъ въ письмѣ къ Натальѣ. Лаврецкій идетъ дальше, даетъ больше: онъ не пропагандируетъ только, не пьется отъ дѣйствительной жизни, напротивъ, борется съ ея тяжелыми понятіями и нравами, а главное, подъ конецъ своей борьбы и своихъ разочарованій, убѣждается въ томъ, что нѣтъ счастья въ эгоистической мечтѣ о личномъ своемъ благополучіи. Этою идеей „Дворянское гнѣздо“ кончается, этою же идеей „Наканунъ“ начинается.

Общественное значеніе этого романа рукою художника замкнуто въ самомъ названіи его — „Наканунъ“. Въ идеяхъ и стремленіяхъ, которые одушевляютъ главныхъ дѣйствующихъ въ романѣ лицъ, поэтъ отразилъ то недавнее, *передразвѣтное* наше прошлое, когда свѣтлая заря новой жизни уже начала подыматься на горизонтѣ нашей общественности, при напорѣ свѣта стали раздвигаться густые потемки отъ старыхъ временъ и обычаевъ, виднѣе сдѣлались задачи жизни, яснѣе обрисовались правильные идеалы семьянина, гражданина, матери-воспитательницы, художника, ученаго и патріота, и потребность женскаго труда и женскаго образованія вошла въ сознаніе лучшихъ людей, принята обществомъ съ сочувствіемъ. Правда, Елена — пока лицо идеальное; но черты этого идеала уже и 20 лѣтъ назадъ стали намъ понятны и симпатичны. Желаніе дѣятельнаго добра, томительное исканіе того, кто бы показалъ, какъ дѣлать добро, — все это уже и тогда почувствовалось въ лучшей части общества и стало близиться къ осуществленію въ живыхъ русскихъ дѣятеляхъ семейной и общественной жизни. Когда пройдетъ канунъ, тогда настанетъ день.

Евстафьевъ.

Дѣйствующія лица въ романѣ „Наканунъ“.

Елена — главное лицо въ романѣ. На ней сосредоточивается интересъ разсказа, къ ней устремляются прочія лица, отъ нея идетъ тонъ дальнѣйшаго повѣствованія. Положеніе

ея въ родной семьѣ и обстоятельства ея дѣтства и юности сложились такъ, что и образованіе и воспитаніе ея совершились незауряднымъ, дворянскимъ того времени обычаемъ. Родители ея — люди ограниченные, но не злые, мать даже положительно отличалась добротою и мягкостью сердца. Съ самаго дѣтства Елена не знала надъ собой ни семейнаго деспотизма ни всякаго притупляющаго формализма. Она росла одна, безъ подругъ, совершенно свободно. Ребенокъ впечатлительный и умный, Елена къ тому же была очень рано поставлена въ такія условія жизни, что ей уже въ дѣтствѣ пришлось всматриваться въ домашнее житье-бытье, размышлять, волноваться и воображеніемъ и сердцемъ. Дѣло въ томъ, что Стаховъ женился на Аннѣ Васильевнѣ только ради ея приданаго, не питая къ ней никакого чувства, обходился съ нею почти съ пренебреженіемъ и предпочиталъ ей общество „вдовы нѣмецкаго происхожденія“, Августы Христіановны, которая его дурачила и обирала. Анна Васильевна кротко несла свой крестъ, но по болѣзненности и безхарактерности не могла не жаловаться на мужа всѣмъ въ домѣ, и, между прочимъ, даже дочери. Елена сдѣлалась повѣренной горестей своей матери, какъ бы судьей между ею и отцомъ. Это обстоятельство сообщило особенное направленіе впечатлительному уму Елены и рано приучило ее вдумываться во все окружающее и принимать къ сердцу тоску матери, а потомъ — вообще, всякое существо притѣсненное, страдающее. Боль о чужомъ страданіи давала ей себя чувствовать постоянно, сопровождала ее при каждомъ новомъ шагѣ ея развитія, придавала особенный, задумчиво-серіозный складъ ея мыслямъ, а въ послѣдствіи, мало-по-малу, вызвала въ ней дѣятельныя стремленія и направила ихъ къ страстному исканію добра и счастья — для всѣхъ. Случайное знакомство съ нищею дѣвочкой Катей, дружескіе разговоры съ нею, тайныя свиданія, во время которыхъ нищая передавала ей свои скорби, и какъ она убѣжитъ отъ своей злой тетки, чтобы жить на *всей Божьей волѣ*, наконецъ, смерть этой самой Кати оставили рѣзкіе слѣды въ характерѣ Елены. Сама воспитанная въ довольствѣ и богатствѣ, Елена, уже 10 лѣтъ отъ роду, узнаетъ, что есть горе на землѣ, что не всѣмъ одинаково хорошо живется. Елена естественно проникается любовью ко всему угнетенному, и не изъ пошлаго нѣжничанья,

а прямо по душевной добрѣ, ищетъ удовлетворить свое сострадательное сердце дѣлами милосердія, какія только возможны были тогда для нея. Не только нищіе, голодные, больные занимали ее, и она ихъ видѣла во снѣ, разспрашивала о нихъ всѣхъ своихъ знакомыхъ, но даже „всѣ притѣсненные животныя, худыя дворовыя собаки, осужденныя на смерть котята, выпавшіе изъ гнѣзда воробы, даже насѣкомыя и гады находили въ Еленѣ покровительство и защиту: она сама кормила ихъ, не гнушалась ими“ (стр. 29). Такъ, уже съ дѣтства, опредѣлилась въ Еленѣ потребность сердца — безъ пустыхъ ласкъ и нѣжностей проявить себя дѣломъ. Мать совсѣмъ не занималась этой частью; неудачно выбранная гувернантка, „очень чувствительное, доброе и лживое существо“, не имѣла на Елену замѣтнаго вліянія, только пріохотила ее къ чтенію. И Елена много съ участіемъ читала; но одно чтеніе, безъ правильнаго ученія, не могло удовлетворить ее. Оно только возбуждало умственную требовательность. Еленѣ никто не мѣшалъ дѣлать, что она хочетъ, да дѣлать было нечего. Одна готовая дѣйствительность ее не удовлетворяла. Ей нужно было чего-то больше, чего-то выше, но чего именно — она не знала. „А года шли да шли; быстро и неслышно, какъ подсиѣжныя воды, протекала молодость Елены, въ бездѣйствіи внѣшнемъ, во внутренней борьбѣ и тревогѣ. Ея душа и разгоралась и погасала одиноко; она билась, какъ птица въ клѣткѣ, а клѣтки не было; никто не стѣснялъ ея, никто не удерживалъ, а она рвалась и томила“ (стр. 33). Отъ этого и находилась она постоянно въ какомъ-то волненіи, всегда ждала и искала чего-то; и наружность ея приняла такой особенный характеръ. „Во всемъ ея существѣ“, говоритъ авторъ, „въ выраженіи лица, внимательномъ и немного пугливомъ, въ ясномъ, но измѣнчивомъ взорѣ, въ улыбкѣ, какъ будто напряженной, въ голосѣ тихомъ и неровномъ, было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое“. — „Двадцатилѣтней дѣвушкѣ иногда приходило въ голову, что она желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслитъ въ цѣлой Россіи. Потому она утихала, сжималась надъ собой, безмолвно проводила день за днемъ, но внезапно что-то сильное, безымянное, съ чѣмъ она совладѣть не умѣла, такъ и закипало въ ней, такъ и просилось вырваться наружу. Гроза

проходила, опускались усталыя, не взлетѣвшія крылья; но эти порывы не обходились ей даромъ. Какъ она ни старалась не выдать того, что въ ней происходило, тоска взволнованной души сказывалась въ самомъ наружномъ ея спокойствіи, и родные ея часто были вправѣ пожимать плечами, удивляться и не понимать ея *странностей*. Ключомъ къ этимъ странностямъ служить дневникъ Елены. Въ немъ, по волѣ художника-поэта, раскрыта душа Елены, а въ ней можно свободно прочесть быстрый, горячій ходъ дѣятельности ея ума, воображенія и сердца подъ вліяніемъ сближенія сначала съ Берсеневымъ, потомъ съ Инсаровымъ. Сначала Еленѣ нравился Берсеньевъ — своей скромностью, умомъ, порядочностью, теплотою чувства, чистотой его намѣреній; но какъ только началось знакомство съ Инсаровымъ, Берсеньевъ отошелъ на задній планъ. Елена быстро пережила всѣ степени развитія своего новаго чувства — отъ перваго, смутнаго его появленія въ душѣ до послѣдняго, яснаго сознанія, что Инсаровъ ей сталъ ближе и дороже всего на свѣтѣ. Первые замѣтки дневника свидѣтельствуютъ, что Елена упрекаетъ себя въ холодности къ дому, къ семьѣ. „Надо объ этомъ подумать“, пишетъ она, „я мало молюсь; надо молиться... А, кажется, я бы умѣла любить“. Потомъ быстро слѣдуютъ отмѣтки о тѣхъ живѣйшихъ впечатлѣніяхъ, которыя производитъ на нее Инсаровъ тѣми сторонами своего характера, какихъ она не нашла ни въ Шубинѣ ни въ Берсеньевѣ. Образъ Инсарова съ каждой минутой нравственно-растетъ въ мнѣніи Елены. „Вотъ, наконецъ, правдивый человѣкъ; вотъ на кого положиться можно. Этотъ не лжетъ; всѣ другіе лгутъ, все лжетъ“. Елена хочетъ этимъ сказать, что у другихъ слова расходятся съ дѣломъ, а у Инсарова — нѣтъ. Теперь, когда Елена приравниваетъ къ Инсарову прежній предметъ своей привязанности, т.-е. Берсенева, сравненіе оказывается для послѣдняго невыгоднымъ: Андрей Петровичъ, можетъ-быть, ученѣе его, можетъ-быть, даже умнѣе... Но я не знаю, онъ передъ нимъ такой маленькій. Когда *тотъ* говоритъ о своей родинѣ, онъ растетъ, растетъ, и лицо его хорошеетъ, и голосъ какъ сталь, и нѣтъ, кажется, на свѣтѣ такого человѣка, передъ кѣмъ бы онъ глаза опустилъ. И онъ не только говоритъ — онъ дѣлалъ, и будетъ дѣлать“ (стр. 82). А въ другомъ мѣстѣ: „Мнѣ кажется, что у Дми-

трія оттого такъ ясно на душѣ, что онъ весь отдался своему дѣлу, своей мечтѣ. Изъ чего ему волноваться? Кто отдался весь... весь... тому горя мало, тотъ уже ни за что не отвѣчаетъ. Не я хочу, *то* хочетъ". Слѣдующія замѣтки дневника показываютъ, что въ Инсаровѣ Елена нашла осуществленіе того идеала, котораго давно желала душа ея. „Мнѣ съ нимъ хорошо, какъ дома. Лучше, чѣмъ дома".— „И хорошо мнѣ, и почему-то жутко, и Бога благодарить хочется, и слезы недалеко. О, теплые, свѣтлые дни!"— „Кажется, что вокругъ меня и во мнѣ происходитъ что-то загадочное, что нужно найти слово"...— Наконецъ: „Слово найдено, свѣтъ озарилъ меня! Боже, сжался надо мною... Я влюблена!"— Во весь остальной путь свой въ романѣ Елена проходитъ передъ читателемъ во всемъ сіяніи своей глубокой, чистой привязанности къ своему избраннику,—отъ перваго между ними обмѣна признаній до смерти Инсарова и до послѣдняго рѣшенія Елены слѣпить на новую родину, идти въ сестры милосердія, служить больнымъ и раненымъ и такимъ образомъ остаться вѣрною памяти своего мужа, вѣрною „дѣлу всей его жизни".

Инсаровъ, родомъ болгаринъ, ни наружностью, ни умомъ, ни образованіемъ не выдѣляется изъ среды дѣйствующихъ лицъ романа, а при сравненіи съ Шубинымъ и Берсеновымъ, этими даровитыми и симпатичными русскими личностями, онъ представляется, въ иныхъ мѣстахъ повѣсти, даже нѣсколько сухимъ и педантичнымъ. Къ тому же — и опредѣляется онъ всего болѣе отрицательными качествами: никогда *не* лжетъ, *не* измѣняетъ своему долгу, *не* любитъ разговаривать о своихъ подвигахъ, *не* не откладываетъ принятаго рѣшенія, его слово *не* расходится съ дѣломъ и т. п. Но авторъ выдѣлилъ его цѣльностью, законченностью его нравственнаго характера. Еще до появленія Инсарова въ домъ Стаховыхъ, Берсеновъ на вопросъ Елены: „у него, должно-быть, много характера", рекумендуетъ его такими словами: „Да, это желѣзный человѣкъ. И въ то же время, вы увидите, въ немъ есть что-то дѣтское, искреннее, при всей его сосредоточенности и даже скрытности". И вотъ такимъ-то желѣзнымъ въ стремленіи къ разъ поставленной своей жизненной цѣли остается Инсаровъ все время. А цѣль его жизни: послужить освобожденію своей *униці*

(дѣйствіе повѣсти 1853 г.). Этой мысли онъ преданъ всѣми силами души. Въ стремленіи къ этой цѣли онъ видитъ свое личное спокойствіе, счастье всей своей жизни. Онъ даже никакъ не можетъ понять себя отдѣльно отъ родины. Для него нѣтъ ни довольства, ни отдыха, ни радости, пока его родина поработана. Такимъ образомъ онъ дѣлаетъ свое задушевное дѣло открыто, спокойно, безъ лихорадочнаго увлеченія и безъ натяжекъ. Пока обстоятельства велятъ ждать, онъ учится въ Московскомъ университетѣ, чтобы образоваться вполнѣ и сблизиться съ русскими, переводить болгарскія пѣсни на русскій языкъ, составляетъ болгарскую грамматику для русскихъ, русскую — для болгаръ; переписывается со своими земляками и собирается ѣхать на родину — готовить возстаніе, при первой вспышкѣ восточной войны.

А пока онъ живетъ *наканунъ* великаго дня освобожденія родины. Наступитъ этотъ день, — и все существо Инсарова озарится сознаніемъ счастья, жизнь наполнится и станетъ уже настоящею жизнью. Ни о силахъ своихъ, ни о мѣрѣ своего участія въ отечественной войнѣ, ни о степени своихъ заслугъ онъ и не думаетъ: все это опредѣлится потомъ обстоятельствами, и тогда же видно будетъ — гдѣ ему быть, до чего дойти, гдѣ остановиться; но главное — онъ пойдетъ, онъ не можетъ не пойти, не потому, чтобы боялся нарушить какой-нибудь долгъ, а потому, что онъ умеръ бы, если бъ ему вдругъ стало нельзя двинуться съ мѣста. У него только одна боязнь, одна тревога: какъ бы что-нибудь не разстроило, не отсрочило желанной минуты. У Инсарова любовь къ родинѣ, потребность видѣть ее свободно составляетъ преобладающую, исключительную черту характера. Всѣ прочія мысли, чувства и побужденія подчиняются ей, сливаются съ нею. Вотъ отчего, при заурядныхъ своихъ способностяхъ, при всемъ отсутствіи блеска въ своей натурѣ, Инсаровъ съ самаго начала знакомства производитъ на Елену впечатлѣніе полное, сильное, обаятельное. Передъ нимъ блѣднѣютъ и талантливый, остроумный Шубинъ и умный, образованный Берсенева. „Освободить свою родину! Эти слова даже выговорить страшно, такъ они велики?...“ Такъ выразилась Елена при первомъ разсказѣ Берсенева о мысляхъ и намѣреніяхъ Инсарова. Отличительная черта характера придаетъ ему особенное свѣтлое и сильное значеніе

во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ романа, гдѣ онъ, въ бесѣдѣ съ своими русскими друзьями, является какъ бы олицетвореніемъ чувствъ и намѣреній, одушевляющихъ весь болгарскій народъ. „Вы сейчасъ спрашивали меня, люблю ли я свою родину?“ говоритъ Инсаровъ Еленѣ. „Что же другого можно любить на землѣ? Что одно неизмѣнно, что выше всѣхъ сомнѣній? Чему нельзя не вѣрить, послѣ Бога? И когда эта родина нуждается въ тебѣ... замѣтите: послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и я,—мы желаемъ одного и того же. У всѣхъ у насъ одна цѣль. Поймите, какую это даетъ увѣренность и крѣпость!“ (стр. 66). И этой-то патріотической задачѣ своей жизни Инсаровъ остается неизмѣнно-преданнымъ и вѣрнымъ во всѣхъ обстоятельствахъ; даже искреннее, глубокое чувство любви, которымъ онъ отвѣчаетъ Еленѣ,—и то преклоняется подъ власть главнаго жизненнаго его мотива. Не разъ онъ прямо высказываетъ это Еленѣ и не скрываетъ отъ нея, что ей придется разорвать навѣки связь съ родиной и раздѣлить съ нимъ, Инсаровымъ, судьбу трудную, суровую, полную тяжелой работы, лишеній, опасностей, можетъ-быть униженій. Онъ какъ будто считаетъ своею обязанностью отклонить ее отъ рѣшимости слѣдовать за нимъ. А за двѣ недѣли передъ окончательнымъ выѣздомъ изъ Москвы въ Болгарію онъ еще разъ такъ выразилъ своей невѣстѣ ту же душевную мысль: „Не грѣшно ли мнѣ, не безумно ли мнѣ,—мнѣ, бездомному, одинокому, увлекать тебя съ собою... и куда же?“ (стр. 112). Такимъ цѣльнымъ, сильнымъ, желѣзнымъ характеромъ изображенъ Инсаровъ въ романѣ. Смерть застигла его у дверей отечества, на порогѣ той самой борьбы, къ которой онъ всѣми силами готовился. Очевидно, авторъ ограничился тѣмъ, чтобы дать понять читателямъ только то, что такое Инсаровъ, какъ личность, какъ идеалъ, въ какую среду попалъ онъ, какъ Инсаровъ любитъ и какъ его любятъ. Изобразить въ немъ подвиги гражданской, общественной доблести — не входило въ задачу автора. Только косвеннымъ образомъ художникъ-поэтъ, устами симпатичнаго и восторженнаго Шубина, произноситъ славу той дѣятельности, въ которую Инсаровъ приготовился вложить и свою жизнь на пользу отечества. Это — восклицаніе Шубина о предстоящей войнѣ за освобожденіе: „Да, молодое, славное, смѣлое дѣло! Смерть, жизнь, борьба, паденіе, торжество, любовь, свобода,

родина... Хорошо, хорошо. Дай Богъ всякому! Это не то, что сидѣть по горло въ болотѣ да стараться показывать видъ, что тебѣ все равно, когда тебѣ, дѣйствительно, въ сущности все равно. А тамъ — натянуты струны, звени на весь міръ или порвись!“

Евстафьевъ.

Берсенева, человѣкъ хорошо воспитанный, кандидатъ Московскаго университета, съ лицомъ, выражающимъ привычку мыслить и доброту. Онъ учится много, работаетъ усердно, но въ немъ нѣтъ этой пылкости Шубина, этой возможности отдаться на долго, страстно, съ забвеніемъ самого себя впечатлѣнію. Онъ чувствуетъ, что въ немъ зарождается любовь къ Еленѣ, онъ груститъ и страдаетъ; въ немъ уже есть зародыши той рефлексіи, которая губитъ жизнь, уничтожаетъ наслажденіе, не допускаетъ беззавѣтно отдаться чувству. Всего яснѣе контрасты обѣихъ натуръ выражаются во взглядѣ на природу у Шубина и у Берсенева. Когда первый радостно вдыхаетъ въ себя это дыханіе жизни, разлитой повсюду, Берсенева чувствуетъ безпокойство, тревогу, грусть; онъ силится размышленіемъ объяснить себѣ свое душевное состояніе. Когда подъ вліяніемъ вечера, проведеннаго съ Еленой, онъ возвращается домой, и сердце его настроено на любовь, онъ садится за фортепіано въ своей комнатѣ и подъ аккорды звуковъ, выражающихъ чувство, онъ плачетъ горькими слезами; да, онъ умѣетъ плакать. Но тотчасъ же, онъ умѣетъ подавить въ себѣ зарожденную тревогу, умѣетъ закрыть фортепіано, заглушить звуки, поющіе въ сердцѣ, и перейти къ тому, что, по его понятіямъ, составляетъ его призваніе къ жизни. Онъ можетъ раскрыть Раумерову „Исторію Гогенштауфеновъ“ именно на той страницѣ, на которой остановился по утру, и продолжать свое изученіе дальше, перейти отъ Раумера къ Гроту и т. д. Что-то есть порядочное, нѣмецкое, въ этомъ подчиненіи себя идеалу долга, призванію. Любимая мечта его, цѣль его жизни — сдѣлаться профессоромъ. „Какое же можетъ быть лучше призваніе, говоритъ онъ Еленѣ, — подумайте, пойти по слѣдамъ Тимоѣя Николаевича?“ Одна мысль о подобной дѣятельности наполняетъ его радостью и смущеніемъ. Онъ не гордъ и не самоувѣренъ, онъ сознаетъ все, чего не достаетъ ему, и мечтаетъ получить позволеніе съѣздить за границу года на три-че-

тыре и тамъ поучиться въ германскихъ университетахъ. Его идеаль—эта дѣятельность слова въ аудиторіи, этотъ совѣтъ мысли, постепенно пробивающій густую тьму, эта просвѣщенная борьба со зломъ, которой онъ хочетъ отдать всю свою жизнь, выбирая орудіемъ борьбы — науку. Онъ говоритъ прекрасно, сдержанно, съ сосредоточенною мыслью. Умъ и сердце слышатся въ словахъ его; Шубину объясняетъ онъ красоту, которую понимаетъ, какъ эстетически-развитой человѣкъ, а не какъ художникъ, и Елена слушаетъ его со вниманіемъ, не отводя взора отъ его поблѣднѣвшаго лица, отъ глазъ его, дружелюбныхъ и кроткихъ. При разговорѣ съ нимъ „душа ея раскрывалась, и что-то нѣжное, справедливое, хорошее, не то вливалось въ ея сердце, не то вырастало въ немъ“. Берсенева не эпикуреецъ. Онъ не жаждетъ счастья, подобно Шубину; онъ смотритъ на счастье, какъ на эгоизмъ! у него есть кое-что повыше этого личнаго счастья. Онъ говоритъ Шубину, что есть на свѣтѣ слова, соединяющія людей, заставляющія ихъ подавать другъ другу руки, что слова эти: искусство, родина, наука, свобода, справедливость — выше счастья; что любовь, которая для Шубина есть наслажденіе, по его понятію, должна быть жертвою; что все назначеніе нашей жизни — *поставить себя нумеромъ вторымъ* (въ противоположность эгоизму художника), и съ этой точки зрѣнія подчиненія себя общему благу, забвенія своей личности, онъ смотритъ на будущую свою дѣятельность. Берсенева — существо серьезное, но абстрактное, идеалистъ; его цѣль не близка; она далеко; за его словомъ не послѣдуетъ тотчасъ же примѣненія, дѣйствія. Берсенева сознательно добръ. Елена въ дневникѣ сравниваетъ его разъ съ Инсаровымъ и говоритъ, что Берсенева, можетъ-быть, ученіе его, можетъ-быть, умѣе, „но я не знаю, — прибавляетъ она, — *онъ передъ нимъ такой маленький*“. Самоотверженіе его тогда, когда узнаетъ онъ о любви Елены къ Инсарову, когда не идетъ ему въ голову Раумеръ, — трогательно. Заботы у постели больного Инсарова, роль посредника между нимъ и Еленой, которую любилъ онъ, — роль, вѣроятно, стоившая ему тяжелыхъ часовъ глухого страданія, вызываютъ къ нему участіе. Лучше всего выражается его характеръ въ слѣдующихъ словахъ его: „Не даромъ мнѣ говаривалъ отецъ: мы съ тобой, братъ, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и

природы, мы даже не мученики, — мы труженики, труженики и труженики. Надѣвай же свой кожаный фартукъ, труженикъ, да становись же за свой рабочій станокъ въ своей темной мастерской! А солнце пусть сіяетъ другимъ! И въ нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастье!“ Люди, подобные Берсеневу, носятъ въ груди своей клятву рыцарей Круглаго Стола; это такъ называемые *пiонеры будущаго*, и, конечно, мы не откажемъ имъ въ нашемъ глубокомъ, полномъ сочувствіи, если только призваніе свое выполняютъ они честно и искренно, если они не сворачиваютъ съ своей дороги и ни съ кѣмъ никогда не дѣлаютъ компромиссовъ. Въ служеніи абстрактному идеалу науки, въ этомъ ожиданіи отдаленныхъ плодовъ ея, въ этой медленной постройкѣ таинственнаго зданія — есть что-то масонское, мистическое. Молодая жизнь не терпитъ никакого мистицизма. Ея горячія слезы отираются дѣятельною любовью; ея раны залѣчиваются дѣйствительными хирургами, а не теоретиками съ художественно-изящными фразами на устахъ. *Ars longa, vita brevis* — пословица, и жизнь не ждетъ, какъ не дожидалась Елена, можетъ-быть, сначала чувствовавшая влеченіе къ Берсеневу, того времени, когда онъ кончитъ свое ученіе на казенный счетъ въ Парижѣ, Гейдельбергѣ, Берлинѣ и напечатаетъ статьи свои: *О нѣкоторыхъ особенностяхъ древнегерманскаго права въ дѣлѣ судебныхъ наказаній* и *О значеніи городского начала въ вопросъ цивилизаціи*, написанныя языкомъ нѣсколько тяжелымъ и испещреннымъ иностранными словами. Эти названія сочиненій Берсенева звучатъ какъ иронія: такъ далеки отъ жизни, такъ ясно показываютъ, въ какую отдаленную сферу кинулся авторъ ихъ. А Елена поѣхала туда, гдѣ бьется настоящая жизнь, гдѣ народъ подымается противъ своихъ вѣковыхъ притѣснителей — турокъ, гдѣ у каждаго на устахъ слова: родина, независимость...

Шубинъ — непосредственная, художественная, блестящая натура — представляется намъ въ лицѣ художника-скульптора. Здоровье и молодость, безпечность, самонадѣянность, избалованность невольно привлекаютъ къ нему. Какъ горячо, какъ страстно говоритъ онъ о любви, которую проситъ молодость, объ этой жаждѣ счастья, которою полна душа его. „Мы молоды, не уроды, не глупы, — говоритъ онъ Берсеневу, — мы завоюемъ себѣ счастье!“ „Какіе безмолвные

восторги пилъ бы я въ этихъ ночныхъ струяхъ, подъ этими звѣздами, подъ этими алмазами, если бъ я зналъ, что меня любить“, говорить онъ въ другомъ мѣстѣ. Дальше этого счастья, эгоистическаго, но классическаго, дальше этого греческаго идеала наслажденія не идетъ Шубинъ. Онъ какъ-то художественно, порывисто влюбленъ въ Елену и въ то же время гонится за красивой горничной Аннушкой, и отбиваетъ у отца Елены Августина Христіановну. Это типъ такъ называемой широкой натуры, доведенный здѣсь до изящества, до граціи, освобожденный отъ всего грубаго, дикаго, удалого, исполненный той сдержанной, законной гармоніи, которая проникаетъ все существо Шубина. Ему хочется свѣта, простора, Италіи, обѣтованной земли художниковъ. Это облаго-роженный эпикуреецъ, ревниво ограждающій свое счастье отъ всякаго облачка. Онъ не допускаетъ малѣйшей тѣни на этомъ свѣтломъ небѣ изящнаго наслажденія жизни, и когда Берсенева, въ ясный вечеръ, рассказываетъ Еленѣ исторію отца своего, послѣдователя Шеллинговой философіи, онъ проситъ говорить о соловьяхъ, о розахъ, о молодыхъ глазахъ и улыбкахъ. Онъ ничего еще не сдѣлалъ, но въ немъ множество задатковъ; геніальная натура его сказывается въ изящныхъ статуэткахъ, гдѣ мѣтко подмѣчены имъ выраженіе лица и внутренній міръ его знакомыхъ. Онъ и кончаетъ въ повѣсти не дурно. Мы прощаемся съ нимъ въ Римѣ, гдѣ онъ весь отдался своему искусству, работаетъ много и считается однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ ваятелей. Кромѣ изящной внѣшности, подвижности, блеска, у Шубина прекрасное сердце, прекрасная душа. Въ немъ такъ много любви ко всему окружающему; эту любовь, это человѣческое участіе онъ вноситъ въ домашнія ссоры семейства, гдѣ живетъ; онъ улыбкой прогоняетъ вздохъ, шуткой сглаживаетъ набѣжавшія морщины на лобъ близкаго ему человѣка; онъ шутитъ надъ грубыми выходками и пристыжаетъ; онъ является спасителемъ въ затруднительныя минуты. Онъ красиво уменъ, но ни во что не вѣритъ, потому что „въ самого себя вѣрить нельзя“, говоритъ Елена.

К.

природы, мы даже не мученики, — мы труженики, труженики и труженики. Надѣвай же свой кожаный фартукъ, труженикъ, да становись же за свой рабочій станокъ въ своей темной мастерской! А солнце пусть сіяетъ другимъ! И въ нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастье!“ Люди, подобные Берсеневу, носятъ въ груди своей клятву рыцарей Круглаго Стола; это такъ называемые *пiонеры будущаго*, и, конечно, мы не откажемъ имъ въ нашемъ глубокомъ, полномъ сочувствіи, если только призваніе свое выполняютъ они честно и искренно, если они не сворачиваютъ съ своей дороги и ни съ кѣмъ никогда не дѣлаютъ компромиссовъ. Въ служеніи абстрактному идеалу науки, въ этомъ ожиданіи отдаленныхъ плодовъ ея, въ этой медленной постройкѣ таинственного зданія — есть что-то масонское, мистическое. Молодая жизнь не терпитъ никакого мистицизма. Ея горячія слезы отираются дѣятельною любовью; ея раны залѣчиваются дѣйствительными хирургами, а не теоретиками съ художественно-изящными фразами на устахъ. *Arx longa, vita brevis* — пословица, и жизнь не ждетъ, какъ не дождалась Елена, можетъ-быть, сначала чувствовавшая влеченіе къ Берсеневу, того времени, когда онъ кончитъ свое ученіе на казенный счетъ въ Парижѣ, Гейдельбергѣ, Берлинѣ и напечатаетъ статьи свои: *О нѣкоторыхъ особенностяхъ древнегерманскаго права въ дѣлѣ судебныхъ наказаній* и *О значеніи городского начала въ вопросъ цивилизаціи*, написанныя языкомъ нѣсколько тяжелымъ и испещренныя иностранными словами. Эти названія сочиненій Берсенева звучатъ какъ пророчія: такъ далеки отъ жизни, такъ ясно показываютъ, въ какую отдаленную сферу кинулся авторъ ихъ. А Елена поѣхала туда, гдѣ бьется настоящая жизнь, гдѣ народъ подымается противъ своихъ вѣковыхъ притѣснителей — турокъ, гдѣ у каждаго на устахъ слова: родина, независимость...

Шубинъ — непосредственная, художественная, блестящая натура — представляется намъ въ лицѣ художника-скульптора. Здоровье и молодость, безпечность, самонадѣянность, избалованность невольно привлекаютъ къ нему. Какъ горячо, какъ страстно говоритъ онъ о любви, которую просить молодость, объ этой жаждѣ счастья, которою полна душа его. „Мы молоды, не уроды, не глупы, — говоритъ онъ Берсеневу, — мы завоюемъ себѣ счастье!“ „Какіе безмолвные

восторги пилъ бы я въ этихъ ночныхъ струяхъ, подъ этими звѣздами, подъ этими алмазами, если бъ я зналъ, что меня любить“, говорить онъ въ другомъ мѣстѣ. Дальше этого счастья, эгоистическаго, но классическаго, дальше этого греческаго идеала наслажденія не идетъ Шубинъ. Онъ какъ-то художественно, порывисто влюбленъ въ Елену и въ то же время гонится за красивой горничной Аннушкой, и отбиваетъ у отца Елены Августина Христіановну. Это типъ такъ называемой широкой натуры, доведенный здѣсь до изящества, до граціи, освобожденный отъ всего грубаго, дикаго, удалого, исполненный той сдержанной, законной гармоніи, которая проникаетъ все существо Шубина. Ему хочется свѣта, простора, Италіи, обѣтованной земли художниковъ. Это благо-рожденный эпикуреецъ, ревниво ограждающій свое счастье отъ всякаго облачка. Онъ не допускаетъ малѣйшей тѣни на этомъ свѣтломъ небѣ изящнаго наслажденія жизни, и когда Берсенева, въ ясный вечеръ, рассказываетъ Еленѣ исторію отца своего, послѣдователя Шеллинговой философіи, онъ проситъ говорить о соловьяхъ, о розахъ, о молодыхъ глазахъ и улыбкахъ. Опъ ничего еще не сдѣлалъ, но въ немъ множество задатковъ; геніальная натура его сказывается въ изящныхъ статуэткахъ, гдѣ мѣтко подмѣчены имъ выраженіе лица и внутренній міръ его знакомыхъ. Онъ и кончаетъ въ повѣсти не дурно. Мы прощаемся съ нимъ въ Римѣ, гдѣ онъ весь отдался своему искусству, работаетъ много и считается однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ ваятелей. Кромѣ изящной внѣшности, подвижности, блеска, у Шубина прекрасное сердце, прекрасная душа. Въ немъ такъ много любви ко всему окружающему; эту любовь, это человѣческое участіе онъ вноситъ въ домашнія ссоры семейства, гдѣ живетъ; онъ улыбкой прогоняетъ вздохъ, шуткой сглаживаетъ набѣжавшія морщины на лобъ близкаго ему человѣка; онъ шутитъ надъ грубыми выходами и пристыжаетъ; онъ является спасителемъ въ затруднительныя минуты. Онъ красиво уменъ, но ни во что не вѣрить, потому что „въ самого себя вѣрить нельзя“, говоритъ Елена.

К.

Культь женщины у Тургенева.

Тургеневъ, по преимуществу, пѣвецъ любви. Его женскіе образы достигаютъ неподражаемаго изящества и душевной прелести. Ихъ много; но всѣ они оригинальны: всякая имѣетъ свою собственную фizioномію, по-своему очаровательную. Я думаю, что рѣдкая литература Европы, рѣдкій романистъ Европы обладаетъ такимъ избраннымъ букетомъ прекрасныхъ женскихъ типовъ.

Граціозная легкость Грѣзы и теплая задушевность Ангелики Кауфманъ соединены въ женскихъ портретахъ Тургенева. Его женщины дѣйствуютъ мало, говорятъ мало, появляются мало; но всякое слово ихъ — глубокая поэзія, трогательная правда. Всякое движеніе ихъ — видится и помнится и доносится въ сердцѣ, какъ очертанія прекрасныхъ статуй Кановы, которыхъ нельзя забыть, увидѣвши разъ. Эта художественная умѣренность въ изображеніи женщины сообщаетъ изображенію еще болѣе благородства и достоинства. Ася, Лиза, Наташа, Зинаида, Вѣра, Елена — вотъ главные цвѣты этого букета.

Сравнивая эти типы съ героями Тургенева, нельзя не видѣть, что у Тургенева женщина всегда стоитъ выше мужчины. Изъ всѣхъ героевъ только Инсаровъ сколько-нибудь равняется съ Еленой стойкостью характера и серіозностью призванія. Рудинъ — жалкій трусъ и пустой болтунъ передъ героинею Наташею; герой Аси — малодушный резонеръ передъ этою пламенною и цѣльною натурою; Лиза постоянно является руководительницею Лаврецкаго, его разумомъ и совѣстію; она тверда и послѣдовательна до послѣдняго предѣла, а онъ мученикъ своей нерѣшительности, своихъ иллюзій. Зинаида — чистая царица, талантливая, могучая, рѣшительная, среди роя своихъ пылкихъ ухаживателей. Ни одна изъ тургеневскихъ женщинъ не нуждается въ помощи, въ поддержкѣ мужчины; вездѣ онѣ идутъ прямо и самостоятельно. Столкновеніе съ мужчиною губить нѣкоторыхъ изъ нихъ, но никого не спасаетъ.

Силы и искренность женскаго чувства, твердость женскаго долга свѣтятся въ каждомъ произведеніи Тургенева, какъ плодотворящіе и радующіе лучи солнца. Все опозорено, все измѣняется... во всемъ извѣриваешься въ произведеніяхъ Тур-

генева; только чистое и теплое женское сердце остается у него среди развалинъ житейской пошлости, житейскихъ тревоженій во всемъ своемъ величїи и святости, какъ истинное средоточіе жизни. Въ этой оцѣнкѣ женщины, по нашему мнѣнію, много объективной правды. Если есть средство, которымъ можетъ гордиться міръ, то это, конечно, женщина. Если есть на свѣтѣ правда, красота, любовь, добродѣтель, то, прежде всего, это — женщина. Тотъ, кто называлъ ее вѣнцомъ созданія, говорилъ не фразу, а моральную истину.

Но при всемъ томъ, въ культѣ женщины у Тургенева мы видимъ и историческую причину. Гуманизмъ ни въ чемъ не выражается такъ полно и характерно, какъ во взглядѣ на женщину. Женщина есть символъ утѣшенія, страданія, обдѣленія, отчасти слабости.

Всякое движеніе общественной совѣсти къ равноправію, всякое усиленіе въ обществѣ чувства человѣчности, прежде всего, должно сказаться возстановленіемъ правды относительно обиженнаго и наиболѣе достойнаго члена человѣческой семьи — женщины. Ничѣмъ такъ вѣрно нельзя измѣрить степень дикости народа, сословія, времени, отдѣльнаго лица, какъ его отношеніемъ къ женщинѣ. Опора общественнаго возрожденія Россіи точно такъ же необходимо должна начаться съ признанія нравственнаго величія, нравственной прелести женщины. Прежде, чѣмъ поднять вопросъ о женскихъ университетахъ и о расширеніи гражданскихъ правъ женщины, необходимо было утвердить въ обществѣ, въ которомъ еще были слишкомъ живы дѣдовскія преданія о плеткѣ попа Сильвестра, сочувственный и уважительный взглядъ на женщину.

Тургеневъ и его общество окружили женщину тѣмъ поэтически-нравственнымъ ореоломъ, которымъ она впоследствии могла смѣлѣе выступить на защиту своихъ поправныхъ правъ.

Марковъ.

Природа въ произведеніяхъ Тургенева.

Пейзажистомъ по преимуществу, между нашими романистами, безъ сомнѣнія, долженъ быть названъ Тургеневъ. Ни у кого описанія природы не играютъ такой выдающейся роли, ни у кого не отличаются они такимъ разнообразіемъ,

такую жизненностью, такую безукоризненностью формы. Все соединилось для того, чтобы сдѣлать Тургенева мастеромъ описательнаго жанра. Сроднившись еще въ дѣтствѣ съ великорусской деревней, горячо полюбивъ великорусскій пейзажъ, онъ рано познакомился съ другой природой, болѣе изящной, болѣе величественной и могучей; первое путешествіе его по Германіи, Швейцаріи и Италіи было для него тѣмъ, чѣмъ житіе на югѣ Россіи — для Пушкина, пребываніе на Кавказѣ — для Лермонтова. Подобно тому какъ погруженіе съ головою въ „Нѣмецкое море“ (см. предисловіе Тургенева къ полному собранію его сочиненій) сдѣлало его западникомъ, оставивъ его вмѣстѣ съ тѣмъ истинно русскимъ — красоты Рейна и Альповъ, расширивъ его художественный кругозоръ, не затмили въ его глазахъ скромной предели тульскихъ полей или орловскаго полѣсся. Не забылъ онъ ея и тогда, когда почти совѣмъ разстался съ Россіей; „старческія“ (senilia, какъ называлъ ихъ самъ Тургеневъ) „стихотворенія въ прозѣ“ (напр. „Деревня“) проникнуты такимъ же пониманіемъ русской природы, такимъ же сочувствіемъ къ ней, какъ и первыя страницы юношеской поэмы „Параша“. „Я шель домой, ни о чемъ не размышляя, — говоритъ герой „Аси“, — какъ вдругъ меня поразилъ сильный, знакомый, но въ Германіи рѣдкій запахъ. Я остановился, и увидалъ возлѣ дороги небольшую грядку конопли. Ея степной запахъ мгновенно напомнилъ мнѣ родину и возбудилъ въ душѣ страстную тоску по ней. Мнѣ захотѣлось дышать русскимъ воздухомъ, ходить по русской землѣ“. Устами рассказчика говорить здѣсь, очевидно, самъ Тургеневъ; самымъ Тургеневымъ пережиты, очевидно, и тѣ ощущенія, которыя испытываетъ Лаврецкій при возвращеніи въ родную деревню, „Лаврецкій глядѣлъ... и эта свѣжая, степная, тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги съ приземистыми дубовыми кустами, сѣрыя деревеньки, жидкія березы — вся эта, давно имъ не виданная, русская картина навѣвала на его душу сладкое и въ то же время почти скорбное чувство, давило грудь его какимъ-то пріятнымъ давленіемъ... Какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой бездѣйственной тиши! Вотъ тутъ, подъ окномъ коренастый лопухъ лѣзетъ изъ густой травы; надъ нимъ вытягиваетъ зоря свой сочный стебель; богородицины слезки еще выше выкидываютъ свои розовые кудри;

а тамъ, дальше въ поляхъ лоснится рожь, и овесъ уже пошелъ въ трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый листъ на каждомъ деревѣ, каждая травка на своемъ стеблѣ... Жизнь текла здѣсь неслышно, какъ вода по болотнымъ травамъ; до самаго вечера Лаврецкій не могъ оторваться отъ созерцанія этой уходящей, утекающей жизни — и никогда не было въ немъ такъ глубоко и сильно чувство родины“. Нигдѣ, можетъ-быть, любовь Тургенева къ родной природѣ не чувствуется такъ живо, какъ въ „Дневникѣ лишняго человѣка“. Это именно „любовь, вѣрная до смерти“. „Я бы хотѣлъ еще разъ надышаться горькою свѣжестью полни, сладкимъ запахомъ сжатой гречихи на поляхъ моей родины; я бы хотѣлъ еще разъ услышать издали скромное тыпанье надтреснутаго колокола въ приходской нашей церкви; еще разъ полежать въ прохладной тѣни подъ дубовымъ кустомъ на скатѣ знакомаго оврага; еще разъ проводить глазами подвижный слѣдъ вѣтра, темною струею бѣгущаго по золотистой травѣ нашего луга“. Прощаясь съ жизнью, „лишній человѣкъ“ прощается, въ то же время, съ своимъ садомъ, съ своими липами; ему утѣшительно думать, что наслажденіе, миновавшее для него, будетъ испытываться другими. „Пусть хорошо будетъ людямъ лежать въ вашей пахучей тѣни, на свѣжей травѣ, подъ лепечущій говоръ вашихъ листьевъ, слегка возмущенныхъ вѣтромъ“. Чтобы вложить такой завѣтъ въ уста умирающаго, нужно было глубоко сжиться съ природой, извѣдать всю полноту наслажденій, источникомъ которыхъ она служить.

„Природа, — читаемъ мы въ „Асѣ“, — дѣйствовала на меня чрезвычайно, но я не любилъ такъ называемыхъ ея красотъ, необыкновенныхъ горъ, утесовъ, водопадовъ; я не любилъ, чтобы она навязывалась мнѣ, чтобы она мнѣ мѣшала“. Буквально примѣнять эти слова къ автору „Аси“, разумѣется, нельзя; говоря о Сорренто или Неаполѣ, о Римѣ или Лаго-Маджоре, Тургеневъ достаточно доказалъ свою способность наслаждаться „такъ называемыми красотами природы“, но въ приведенной нами „бутадѣ“ ясно слышится насмѣшка надъ тѣми, для которыхъ внѣ экстраординарныхъ, всѣмъ міромъ признанныхъ красотъ природы какъ бы не существуетъ... Изучить и оцѣнить русскую природу, привязаться всѣмъ сердцемъ къ роднымъ, часто „невеселымъ“,

эта теплая, эта незаснувшая ночь? Звука ждала она; живого голоса ждала эта чуткая тишина — но все молчало. Соловьи давно перестали пѣть... а внезапное гудѣніе мимолетнаго жука, легкое чмоканье мелкой рыбы въ сажалкѣ за липами на концѣ сада, сонливый свистъ вострепенувшейся птички, далекій крикъ въ полѣ, до того далекій, что ухо не могло различить, человѣкъ ли то прокричалъ, или звѣрь, или птица, короткий, быстрый шорохъ по дорогѣ — всѣ эти слабые звуки, эти шелесты только усугубляли тишину"... Понятно впечатлѣніе, производимое, при такой обстановкѣ, внезапно раздавшимся звукомъ знакомой пѣсни... „Поѣздка въ Полѣсье“ заключаетъ въ себѣ цѣлый рядъ лѣсныхъ пейзажей, то удручающихъ своимъ суровымъ мракомъ, то убаюкивающимъ своей мирной тишиной. Природа здѣсь точно говоритъ съ человѣкомъ; ея жизнь, столь различная съ нашей и вмѣстѣ съ тѣмъ столь близкая къ ней, наводитъ на мысль о смерти — но самый образъ смерти является то грознымъ, то спокойнымъ. „Поѣздка въ Полѣсье“ не даромъ стоитъ на рубежѣ между двумя періодами въ жизни и творчествѣ Тургенева, къ наслажденію природой здѣсь присоединяется въ первый разъ мучительное сознаніе ея безучастія, ея равнодушія, съ наибольшей ясностью и силой выразившееся четверть вѣка спустя въ „Стихотвореніяхъ въ прозѣ“.

Въ романахъ и повѣстяхъ Тургенева описаніе природы встрѣчаются сравнительно рѣдко — и еще рѣже достигаютъ большихъ размѣровъ, выдвигаются изъ рамки разсказа. Иногда къ нимъ примѣнимо выраженіе, употребленное нами по отношенію къ описанію графа Толстого — они точно брошены „мимоходомъ“, слегка, немногими штрихами намѣчая обстановку дѣйствія, иногда они проникнуты субъективнымъ элементомъ, неразрывно связаны съ настроеніемъ дѣйствующаго лица. Описанія перваго рода всегда коротки и предпосылаются далеко не каждой сценѣ, не каждому моменту дѣйствія; въ большинствѣ случаевъ они необходимы для полноты впечатлѣнія, незамѣтно сливаясь въ одно цѣлое съ разсказомъ. „Владимиръ Сергѣевичъ подошелъ въ окну и приложился лбомъ къ холодному стеклу. Словно въ черную завѣсу уперлись его глаза, и только спустя немного времени могъ онъ различить на беззвѣздномъ небѣ

вѣтки деревьевъ, порывисто крутившіяся среди мрака“ („Затишье“). Этими немногими словами заранее обрисована передъ нами та темная, бурная ночь, которую Марья Павловна избрала для самоубійства... Берсенева („Наканунъ“) выходитъ изъ дома. Стаховыхъ послѣ первой продолжительной бесѣды съ Еленой. „Ужъ совсѣмъ стемнѣло, неполный мѣсяцъ стоялъ высоко на небѣ, млечный путь заблѣлъ, и звѣзды запестрѣли... Ночь была тепла и какъ-то особенно безмолвна, точно все кругомъ прислушивалось и караулило“. Такихъ примѣровъ можно было бы привести еще много; укажемъ на вступленіе къ „Рудину“, къ „Дворянскому гнѣзду“ и къ „Бригадиру“, на картину утра передъ дуэлью въ „Отцахъ и дѣтяхъ“, на описаніе сипягинскаго сада въ „Нови“, на обстановку, среди которой убиваетъ себя Неждановъ.

Съ большею еще силой дарованіе Тургенева выражается въ тѣхъ описаніяхъ, которыя мы соединяемъ подъ общимъ именемъ субъективныхъ. Неопредѣленное ожиданіе, первое предчувствіе первой любви, пробужденіе долго спавшаго сердца, стремленіе навстрѣчу жизни, успокоеніе тревожныхъ думъ, воспоминаніе о погибшемъ счастьѣ — всѣ чувства, дремлющія, торжествующія или замирающія, всѣ душевныя состоянія, начиная съ смутнаго волненія до страстнаго эффекта, находятъ отголосокъ въ природѣ, становятся, если можно такъ выразиться, между природой и человѣкомъ. Ни одна сторона этого взаимодействія не осталась тайной для Тургенева. Кто не помнитъ той сцены въ „Дневникѣ лишняго человѣка“, когда великолѣпный солнечный закатъ вызываетъ или довершаетъ переломъ въ сердцѣ Лизы, или той страницы въ „Перепискѣ“, когда Алексѣй Петровичъ вспоминаетъ о „безмолвныхъ вечернихъ прогулкахъ вчетверомъ, послѣ какого-нибудь долгаго, теплаго, живого разговора“? Кто не помнитъ Лемма, точно воскресающаго подъ дыханіемъ тихой, теплой ночи, или Николая Петровича („Отцы и дѣти“), погружаемаго лѣтнимъ вечеромъ въ „горестную и отрадную игру одинокихъ думъ“? Герой „Аси“ перефѣзжаетъ черезъ рѣку, весь охваченный новымъ, едва сознаваемымъ еще чувствомъ. „Я поднялъ глаза къ небу — но и въ небѣ не было покоя; испещренное звѣздами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился къ рѣкѣ... но и тамъ,

и, въ этой темной, холодной глубинѣ, тоже колыхались, дрожали звѣзды; тревожное оживленіе мнѣ чудилось повсюду, и тревога росла во мнѣ самомъ. Шопотъ вѣтра въ моихъ ушахъ, тихое журчанье воды за кормою меня раздражали, и свѣжее дыханіе волны не охлаждало меня... Слезы закапали у меня на глазахъ, но то не были слезы безпредметнаго восторга. Нѣтъ! во мнѣ зажглась жажда счастья“. Лаврецкій ѣдетъ домой, проводивъ посѣтившихъ его Марью Дмитріевну и Лизу. „Обаяніе лѣтней ночи охватило его; все вокругъ казалось такъ неожиданно-странно, и въ то же время такъ давно и такъ сладко знакомо; вблизи и вдали все покоилось; молодая, расцвѣтающая жизнь сказывалась въ самомъ этомъ покоѣ. Лошадь Лаврецкаго бодро шла, раскачиваясь направо и налево; было что-то таинственно-пріятное въ крикѣ перепеловъ. Звѣзды исчезали въ какомъ-то свѣтломъ дымѣ; неполный мѣсяцъ блестѣлъ твердымъ блескомъ: свѣтъ его разливался голубымъ потокомъ по небу и падалъ пятномъ дымчатаго золота на проходившія близко тонкія тучки; свѣжесть воздуха охватывала всѣ члены, лилась вольною струею въ грудь“. Ощущеніе тревоги, испытываемое героемъ „Аси“, зависитъ, очевидно, не отъ окружающей его природы, хотя и поддерживается, усиливается ею; то же самое слѣдуетъ сказать объ ощущеніи блаженнаго покоя, наполняющемъ душу Лаврецкаго. Перенесите героя „Аси“ въ русскую деревню, поставьте Лаврецкаго на берегъ Рейна — впечатлѣнія того и другого останутся почти безъ перемѣны, потому что не будетъ тронуть главный ихъ источникъ. Этотъ источникъ — приближеніе любви, чуть замѣтно вкрадывающейся въ сердце; но на человѣка, многое пережившаго и выстрадавшаго, оно дѣйствуетъ иначе, чѣмъ на юношу, любившаго до сихъ поръ только головою. Лаврецкому не нужно страсти, онъ былъ уже разъ обманутъ ею, да и въ Лизѣ нѣтъ ничего, чѣмъ вызывалось бы бурное, жгучее чувство; герой „Аси“, наоборотъ жаждетъ страсти, — страсти, которая таится, готовая вспыхнуть, во всемъ существѣ Аси. Каждому изъ нихъ природа даетъ именно то, чего онъ въ ней безсознательно ищетъ, что онъ въ нее невольно вноситъ.

Мы далеко не исчерпали всего разнообразія Тургеневскихъ описаній; мы могли бы указать, какъ они принимаютъ фантастическій оттѣнокъ (въ „Призракахъ“), какъ они обра-

щаются въ художественную монографію отдѣльнаго растенія (осина въ „Свиданіи“), какъ они служатъ иллюстраціей глубокой мысли („Довольно“), какъ они дышатъ наивностью или педантизмомъ, смотря по тому, въ чьи уста они вкладываются авторомъ (разсказчикъ въ „Собакахъ“, описывающій лунную ночь, Клюберъ — въ „Вешнихъ водахъ“, — снисходительно ободряющій или строго критикующій природу). Предметъ такъ привлекателенъ, что отъ него трудно оторваться — но мы боимся утомить читателей. *Арсеньевъ.*

Творчество Тургенева.

Художественное творчество, по своему внутреннему „механизму“ или характеру, можетъ быть двоякое: *объективное* и *субъективное*. *Объективнымъ* я называю такое творчество, которое преимущественно (въ своихъ лучшихъ созданіяхъ) направлено на воспроизведеніе типовъ, натуръ, характеровъ, умовъ и т. д., болѣе или менѣе чуждыхъ или даже противоположныхъ личности художника. Создавая такіе образы, художникъ отправляется *не отъ себя*. *Субъективнымъ* я называю такое творчество, которое преимущественно (въ своихъ лучшихъ созданіяхъ) направлено на воспроизведеніе типовъ, натуръ, характеровъ, умовъ и т. д., болѣе или менѣе близкихъ, родственныхъ или даже тождественныхъ личности самого художника. Создавая такіе образы, художникъ отправляется *отъ себя*. Геніальнымъ представителемъ такого *субъективного* творчества служить *Левъ Толстой*. Однимъ же изъ величайшихъ представителей творчества *объективного* является Тургеневъ.

Пользуясь біографическими данными, воспоминаніями лицъ, близко знавшихъ Тургенева, основываясь также на нѣкоторыхъ его произведеніяхъ, завѣдомо субъективнаго происхожденія, наконецъ, матеріаловъ, представляемыхъ его письмами, мы можемъ составить себѣ довольно вѣрное понятіе о натурѣ, характерѣ, складѣ ума покойнаго романиста. Это понятіе въ общихъ чертахъ сводится къ слѣдующему. Тургеневъ прежде всего былъ человѣкъ *необыкновеннаго ума* — очень широкаго и глубокаго, очень вдумчиваго и созерца-

и въ этой темной, холодной глубинѣ, тоже колыхались, дрожали звѣзды; тревожное оживленіе мнѣ чудилось повсюду, и тревога росла во мнѣ самомъ. Шопотъ вѣтра въ моихъ ушахъ, тихое журчанье воды за кормомъ меня раздражали, и свѣжее дыханіе волны не охлаждало меня... Слезы закапали у меня на глазахъ, но то не были слезы безпредметнаго восторга. Нѣтъ! во мнѣ зажглась жажда счастья“. Лаврецкій ѣдетъ домой, проводивъ посѣтившихъ его Марью Дмитріевну и Лизу. „Обаяніе лѣтней ночи охватило его; все вокругъ казалось такъ неожиданно-странно, и въ то же время такъ давно и такъ сладко знакомо; вблизи и вдали все покоилось; молодая, расцвѣтающая жизнь сказывалась въ самомъ этомъ покоѣ. Лошадь Лаврецкаго бодро шла, раскачиваясь направо и налево; было что-то таинственно-пріятное въ крикѣ перепеловъ. Звѣзды исчезали въ какомъ-то свѣтломъ дымѣ; неполный мѣсяцъ блестялъ твердымъ блескомъ: свѣтъ его разливался голубымъ потокомъ по небу и падалъ пятномъ дымчатаго золота на проходившія близко тонкія тучки; свѣжесть воздуха охватывала всѣ члены, лилась вольною струей въ грудь“. Ощущеніе тревоги, испытываемое героемъ „Аси“, зависитъ, очевидно, не отъ окружающей его природы, хотя и поддерживается, усиливается ею; то же самое слѣдуетъ сказать объ ощущеніи блаженнаго покоя, наполняющемъ душу Лаврецкаго. Перенесите героя „Аси“ въ русскую деревню, поставьте Лаврецкаго на берегъ Рейна — впечатлѣнія того и другого останутся почти безъ перемѣны, потому что не будетъ тронуть главный ихъ источникъ. Этотъ источникъ — приближеніе любви, чуть замѣтно вкрадывающейся въ сердце; но на человѣка, многое пережившаго и выстрадавшаго, оно дѣйствуетъ иначе, чѣмъ на юношу, любившаго до сихъ поръ только головою. Лаврецкому не нужно страсти, онъ былъ уже разъ обманутъ ею, да и въ Лизѣ нѣтъ ничего, чѣмъ вызывалось бы бурное, жгучее чувство; герой „Аси“, наоборотъ жаждетъ страсти, — страсти, которая таится, готовая вспыхнуть, во всемъ существѣ Аси. Каждому изъ нихъ природа даетъ именно то, чего онъ въ ней безсознательно ищетъ, что онъ въ нее невольно вноситъ.

Мы далеко не исчерпали всего разнообразія Тургеневскихъ описаній; мы могли бы указать, какъ они принимаютъ фантастическій оттѣнокъ (въ „Призракахъ“), какъ они обра-

щаются въ художественную монографію отдѣльнаго растенія (осина въ „Свиданіи“), какъ они служатъ иллюстраціей глубокой мысли („Довольно“), какъ они дышатъ наивностью или педантизмомъ, смотря по тому, въ чьи уста они вкладываются авторомъ (разсказчикъ въ „Собакахъ“, описывающій лунную ночь, Клюберъ — въ „Вешнихъ водахъ“, — снисходительно ободряющій или строго критикующій природу). Предметъ такъ привлекателенъ, что отъ него трудно оторваться — но мы боимся утомить читателей. *Арсеньевъ.*

Творчество Тургенева.

Художественное творчество, по своему внутреннему „механизму“ или характеру, можетъ быть двоякое: *объективное* и *субъективное*. *Объективнымъ* я называю такое творчество, которое преимущественно (въ своихъ лучшихъ созданіяхъ) направлено на воспроизведеніе типовъ, натуръ, характеровъ, умовъ и т. д., болѣе или менѣе чуждыхъ или даже противоположныхъ личности художника. Создавая такіе образы, художникъ отправляется *не отъ себя*. *Субъективнымъ* я называю такое творчество, которое преимущественно (въ своихъ лучшихъ созданіяхъ) направлено на воспроизведеніе типовъ, натуръ, характеровъ, умовъ и т. д., болѣе или менѣе близкихъ, родственныхъ или даже тождественныхъ личности самого художника. Создавая такіе образы, художникъ отправляется *отъ себя*. Геніальнымъ представителемъ такого *субъективнаго* творчества служить *Левъ Толстой*. Однимъ же изъ величайшихъ представителей творчества *объективнаго* является Тургеневъ.

Пользуясь біографическими данными, воспоминаніями лицъ, близко знавшихъ Тургенева, основываясь также на нѣкоторыхъ его произведеніяхъ, завѣдомо субъективнаго происхожденія, наконецъ, матеріаловъ, представляемыхъ его письмами, мы можемъ составить себѣ довольно вѣрное понятіе о натурѣ, характерѣ, складѣ ума покойнаго романиста. Это понятіе въ общихъ чертахъ сводится къ слѣдующему: Тургеневъ прежде всего былъ человекъ *необыкновенно* очень широкаго и глубокаго, очень вѣдущаго и тонкаго, очень

и, въ этой темной, холодной глубинѣ, тоже колыхались, дрожали звѣзды; тревожное оживленіе мнѣ чудилось повсюду, и тревога росла во мнѣ самомъ. Шопотъ вѣтра въ моихъ ушахъ, тихое журчанье воды за кормою меня раздражали, и свѣжее дыханіе волны не охлаждало меня... Слезы закапали у меня на глазахъ, но то не были слезы безпредметнаго восторга. Нѣтъ! во мнѣ зажглась жажда счастья“. Лаврецкій ѣдетъ домой, проводивъ посѣтившихъ его Марью Дмитріевну и Лизу. „Обаяніе лѣтней ночи охватило его; все вокругъ казалось такъ неожиданно-странно, и въ то же время такъ давно и такъ сладко знакомо; вблизи и вдали все покоилось; молодая, расцвѣтающая жизнь сказывалась въ самомъ этомъ покоѣ. Лошадь Лаврецкаго бодро шла, раскачиваясь направо и налево; было что-то таинственно-пріятное въ крикѣ перепеловъ. Звѣзды исчезали въ какомъ-то свѣтломъ дымѣ; неполный мѣсяцъ блестялъ твердымъ блескомъ: свѣтъ его разливался голубымъ потокомъ по небу и падалъ пятномъ дымчатаго золота на проходившія близко тонкія тучки; свѣжесть воздуха охватывала всѣ члены, лилась вольною струей въ грудь“. Ощущеніе тревоги, испытываемое героемъ „Аси“, зависитъ, очевидно, не отъ окружающей его природы, хотя и поддерживается, усиливается ею; то же самое слѣдуетъ сказать объ ощущеніи блаженнаго покоя, наполняющемъ душу Лаврецкаго. Перенесите героя „Аси“ въ русскую деревню, поставьте Лаврецкаго на берегъ Рейна — впечатлѣнія того и другого останутся почти безъ перемѣны, потому что не будетъ тронуть главный ихъ источникъ. Этотъ источникъ — приближеніе любви, чуть замѣтно вкрадывающейся въ сердце; но на человѣка, многое пережившаго и выстрадавшаго, оно дѣйствуетъ иначе, чѣмъ на юношу, любившаго до сихъ поръ только головою. Лаврецкому не нужно страсти, онъ былъ уже разъ обманутъ ею, да и въ Лизѣ нѣтъ ничего, чѣмъ вызывалось бы бурное, жгучее чувство; герой „Аси“, наоборотъ жаждетъ страсти, — страсти, которая таится, готовая вспыхнуть, во всемъ существѣ Аси. Каждому изъ нихъ природа даетъ именно то, чего онъ въ ней безсознательно ищетъ, что онъ въ нее невольно вноситъ.

Мы далеко не исчерпали всего разнообразія Тургеневскихъ описаній; мы могли бы указать, какъ они принимаютъ фантастическій оттѣнокъ (въ „Призракахъ“), какъ они обра-

щаются въ художественную монографію отдѣльнаго растенія (осина въ „Свиданіи“), какъ они служатъ иллюстраціей глубокой мысли („Довольно“), какъ они дышатъ наивностью или педантизмомъ, смотря по тому, въ чьи уста они вкладываются авторомъ (разсказчикъ въ „Собакахъ“, описывающій лунную ночь, Клюберъ — въ „Вешнихъ водахъ“, — снисходительно ободряющій или строго критикующій природу). Предметъ такъ привлекателенъ, что отъ него трудно оторваться — но мы боимся утомить читателей. *Арсеньевъ.*

Творчество Тургенева.

Художественное творчество, по своему внутреннему „механизму“ или характеру, можетъ быть двоякое: *объективное* и *субъективное*. *Объективнымъ* я называю такое творчество, которое преимущественно (въ своихъ лучшихъ созданіяхъ) направлено на воспроизведеніе типовъ, натуръ, характеровъ, умовъ и т. д., болѣе или менѣе чуждыхъ или даже противоположныхъ личности художника. Создавая такіе образы, художникъ отправляется *не отъ себя*. *Субъективнымъ* я называю такое творчество, которое преимущественно (въ своихъ лучшихъ созданіяхъ) направлено на воспроизведеніе типовъ, натуръ, характеровъ, умовъ и т. д., болѣе или менѣе близкихъ, родственныхъ или даже тождественныхъ личности самого художника. Создавая такіе образы, художникъ отправляется *отъ себя*. Геніальнымъ представителемъ такого *субъективного* творчества служить *Левъ Толстой*. Однимъ же изъ величайшихъ представителей творчества *объективного* является Тургеневъ.

Пользуясь біографическими данными, воспоминаніями лицъ, близко знавшихъ Тургенева, основываясь также на нѣкоторыхъ его произведеніяхъ, завѣдомо субъективнаго происхожденія, наконецъ, матеріаловъ, представляемыхъ его письмами, мы можемъ составить себѣ довольно вѣрное понятіе о натурѣ, характерѣ, складѣ ума покойнаго романиста. Это понятіе въ общихъ чертахъ сводится къ слѣдующему. Тургеневъ прежде всего былъ человѣкъ *необыкновеннаго ума* — очень широкаго и глубокаго, очень вдумчиваго и созерца-

тельного. По складу ума, по типу мышления, Тургеневъ принадлежалъ къ числу тѣхъ избранниковъ, которые съ серьезностью и глубиною, съ широтою умственного захвата соединяють необыкновенную тонкость, чуткость и изящество мысли. Это тотъ типъ умовъ, къ которому относятся, напр., Ренанъ, Тэнъ, Герценъ. Изучая такихъ писателей, мы сосредоточиваемъ свое заинтересованное вниманіе не столько на положительныхъ результатахъ ихъ мысли, сколько на самомъ ея процессѣ, дѣйствующемъ на насъ обаятельно. Мы можемъ не соглашаться съ ихъ выводами, не раздѣлять тѣхъ или другихъ идей, проводимыхъ ими, но мы невольно подчиняемся обаянію ихъ глубокаго анализа, ихъ тонкой критики, ихъ изящнаго синтеза. Конечно, умы человѣческіе, въ особенности большіе, крайне разнообразны и часто представляютъ самую причудливую смѣсь противоположныхъ качествъ, разнообразныхъ даровъ, сильныхъ и слабыхъ сторонъ, такъ что едва ли возможно довести ихъ подѣ опредѣленные, строго разграниченныя рубрики. Но все-таки мы, кажется, не ошибемся, если скажемъ, что умы, о которыхъ идетъ рѣчь, суть умы по преимуществу созерцательные, съ сильно выраженнымъ даромъ анализа, въ большей или меньшей мѣрѣ скептическіе, не безъ грустной ироніи и въ общемъ — уравновѣшенные, очень гармоническіе. Въ нихъ также нѣтъ или мало того, что можно назвать „дѣловымъ“ направленіемъ мысли. Не думаю, чтобы такой умъ былъ свойственъ, наприкладъ, изобрѣтателямъ; да и въ самой теоретической наукѣ рѣдко дѣятели этого типа совершаютъ крупныя и — если можно такъ выразиться — осязательныя открытія. Было бы крайне затруднительно отвѣтить категорически на въ упоръ поставленный вопросъ: что собственно *открылъ* Ренанъ или Тэнъ? Да и ставить его не слѣдуетъ. И вопросъ и вполнѣ категорическій отвѣтъ на него возможны по отношенію къ умамъ другого рода, для которыхъ не умѣю подобрать лучшаго термина, какъ „дѣловые“, съ большимъ или меньшимъ даромъ „геніальной отгадки“. Таковы, напр., Ньютонъ, Лейбницъ, Кантъ, Дарвинъ, Гельмгольцъ, Лобачевскій, Боппъ, Потебня и много другихъ, съ именами которыхъ связаны положительные открытія, формулировка новыхъ законовъ, установленіе новыхъ точекъ зрѣнія, созданіе новыхъ методовъ. Это умы — въ сферѣ научной или философской — прогрессивныя, завое-

вательные, революционные, смѣлые. Умы первого типа скорѣе консервативны (въ смыслѣ научномъ и философскомъ). Само собой разумѣется, дары тонкаго анализа, изящества мысли и т. д. могутъ быть не чужды и умамъ „дѣловымъ“ и прогрессивнымъ (въ большинствѣ случаевъ такъ и бываетъ), но не въ томъ пунктѣ сосредоточена ихъ главная сила.

Что Тургеневъ, какъ умъ, принадлежалъ къ первому — типу, съ этимъ, полагаю, согласится всякій, кто хорошо знакомъ съ его творчествомъ, кто доступенъ обаянію его гения. Ниже намъ придется не разъ останавливаться на тѣхъ мѣстахъ въ произведеніяхъ Тургенева, которыя характеризуютъ его умъ съ указанной стороны.

Какъ человѣкъ, Тургеневъ — это извѣстно — отличался большой добротой сердца, мягкостью души, доброжелательностью къ людямъ. Это былъ очень добрый, очень гуманный, хороший человѣкъ. Какъ характеръ, это былъ человѣкъ довольно слабый, съ малымъ развитіемъ дѣйствующей воли, лишенный всякихъ качествъ и стремленій авторитетности и инициативы, неспособный къ дѣятельности, напр., публициста, человека партіи, организатора. Это была натура пассивная, недѣятельная.

Отвѣтимъ еще одну очень важную для пониманія Тургенева и его творчества черту, къ которой намъ придется неоднократно возвращаться въ этихъ этюдахъ. Это именно стремление и что особенно важно, *способность къ внутренней свободѣ*. Въ чемъ она состоитъ, это не трудно уразумѣть изъ слѣдующаго. Въ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“ Тургеневъ, обращаясь къ молодымъ беллетристамъ, напоминаетъ нѣкъ извѣстные стихи Гёте:

Greift nur hinein in's volle Menschenleben!
Ein jeder lebt's - nicht vielen ist's bekannt,
Und wo ihr's packt - da ist's interessant!

И затѣмъ даетъ такіе совѣты и поясненія: „Слѣдъ этого *слабоумія*, этого *умаленія* жизни даетъ только талантъ, а талантъ даетъ себя являя; но я одного таланта недостаточно. Нужно постоянное общеніе съ средою которую берешься воспринимать; нужна правдивость, неумолимая въ отношеніи въ собственнымъ ощущеніямъ, *внутренняя свобода*, *полная свобода творчества и мыслей*, и, наконецъ, нужна

образовательность, нужно знаніе... *Ничто такъ не освобождаетъ человека, какъ знаніе, — и нигдѣ такъ свобода не нужна, какъ въ дѣлѣ художества, поэзіи...* Можетъ ли человѣкъ „схватывать“, „уловлять“ то, что его окружаетъ, если онъ связанъ внутри себя? Пушкинъ это глубоко чувствовалъ; не даромъ въ своемъ безсмертномъ сонетѣ онъ сказалъ:

. дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ...

Признаки такой внутренней свободы въ себѣ самомъ Тургеневъ отмѣчаетъ въ письмѣ Милютиной (1875 г.): „ скажу вкратцѣ, что я преимущественно реалистъ, и болѣе всего интересуюсь живою правдою людской фізіономіи; ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни въ какіе абсолюты и системы не вѣрю, люблю больше всего свободу и, сколько могутъ судить, — доступенъ поэзіи. Все человѣческое мнѣ дорого, славянофильство чуждо, такъ же какъ и всякая ортодоксія...“

Чтобы понять Тургенева, какъ поэта-художника, чтобы проникнуть въ психологію его творчества, необходимо постоянно имѣть въ виду только что указанное, основное свойство его натуры. Постараемся прежде всего показать, въ какихъ отношеніяхъ находится эта „внутренняя свобода“ къ преобладающему у Тургенева *объективному* направленію творчества. Сперва прочтемъ первыя строки изъ письма Тургенева къ г. Кингу (1876 г.): „... Если васъ изученіе человѣческой фізіономіи, чужой жизни, интересуетъ *больше*, чѣмъ изложеніе собственныхъ чувствъ и мыслей; если, напр., вамъ *пріятнее* вѣрно и точно передать наружный видъ не только человѣка, но простой вещи, чѣмъ красиво и горячо высказать то, что вы ощущаете при видѣ этой вещи или этого человѣка, значить вы объективный писатель, и можете взяться за повѣсть или романъ...“

Едва ли нужно доказывать, что можно писать превосходныя повѣсти и романы, и не будучи писателемъ въ строгомъ смыслѣ объективнымъ. Романъ можетъ быть продуктомъ творчества субъективнаго не меньше любого лирическаго стихотворенія, воспроизводящаго личныя чувства и мысли автора. За вычетомъ этого пункта, мы не находимъ препятствій принять опредѣленіе объективнаго творчества, данное Тур-

геновымъ въ приведенномъ отрывкѣ. Да, объективно то творчество, при которомъ писатель, насколько возможно, забываетъ себя и прежде всего обращаетъ взоры на вещи, лица, характеры не только посторонніе, внѣшніе, но, что еще важнѣе, въ большей или меньшей степени противорѣчащіе тому, что онъ находитъ въ самомъ себѣ. Объективенъ тотъ, кто способенъ заинтересоваться, понять, оцѣнить, полюбить натуру, совершенно противоположную себѣ самому. Въ этомъ *объективизмъ* я усматриваю дѣйствіе особаго психическаго *ритма*.

Присматриваясь къ проявленіямъ — весьма нерѣдкимъ — такой объективности въ самой жизни, въ отношеніяхъ между людьми, не трудно уловить въ нихъ дѣйствіе той душевной пружины, которую можно назвать стремленіемъ къ *ритму контрастовъ*. Усматривая въ другомъ извѣстныя черты, противоположныя своимъ, человѣкъ невольно тяготѣетъ къ этому другому, ища восполненія того, чего ему самому недостаетъ, но такого восполненія, которое въ результатъ давало бы гармоническое цѣлое. Оттуда нерѣдко, напр., тяготѣніе людей съ слабымъ характеромъ къ людямъ съ сильнымъ характеромъ и наоборотъ. Но, развивая эту мысль, слѣдуетъ быть осторожнымъ: тутъ легко дойти до абсурда и утверждать, напр., что дураки должны любить умныхъ, и умные тяготѣть къ дуракамъ. Вся суть дѣла сводится къ стремленію достигъ гармоніи, но, вѣдь, далеко не всѣ контрасты ритмуютъ между собою, и умъ не нуждается въ глупости для своего ритмическаго восполненія. Гармоническій эффектъ осуществляется въ процессѣ общенія умовъ различнаго типа, натуръ съ противоположными темпераментами, характеровъ съ различно выраженнымъ волевымъ началомъ.

Принимая съ этими оговорками теорію контрастовъ и сводя ее къ стремленію осуществить гармонію духа, я въ этомъ именно явленіи и ищу источника того, что выше я называлъ *объективизмомъ* въ отношеніяхъ между людьми. Стремясь дополнить себя, человѣкъ пріучается интересоваться другими, сперва тѣми, которые могутъ его дополнить, а потомъ и иными: онъ съ любопытствомъ всматривается въ чужія лица, и (говоря словами Тургенева) „изученіе человѣческой фізіономіи, чужой жизни“ привлекаетъ его въ большой степени, чѣмъ „изложеніе собственныхъ чувствъ и мыслей“.

Это человѣкъ *объективнаго* склада или направленія. Но есть люди иного рода, которые интересуются другими постольку, поскольку они могут изложить передъ послѣдними „свои собственные чувства и мысли“, т.-е. обнаружить *свое* душевное содержаніе, и вы, встрѣтя такого человѣка, сейчасъ же замѣчаете, что онъ не ищетъ „дополненія“ себѣ, и живъ собственнымъ своимъ путромъ. Это человѣкъ *субъективнаго* склада или направленія. Различны могутъ быть причины, обуславливающія такой субъективизмъ, но въ числѣ ихъ бросается въ глаза одна: это именно отсутствіе того, что Тургеневъ называетъ „внутреннею свободою“. Человѣкъ, находящійся подъ властью какой-нибудь *idée fixe*, фанатикъ, доктринеръ, сектантъ, утопистъ — всѣ они слишкомъ исключительно заняты своими мыслями, чувствами, стремленіями, слишкомъ переполнены собою, чтобы интересоваться „живою правдою человѣческой фізіономіи“, и общеніе съ людьми иныхъ мыслей, чувствъ, стремленій производитъ въ ихъ душѣ эффектъ не гармоніи, а диссонанса. Наоборотъ, люди внутренне свободные, не порабощенные излюбленной идеей или мечтой, ищутъ дополненія, рады встрѣтить контрасты, — ихъ душа открыта для объективнаго отношенія къ вещамъ и людямъ.

Таковъ именно и былъ Тургеневъ, какъ въ жизни, такъ и въ творествѣ. Художникъ (если онъ въ самомъ дѣлѣ художникъ, а не сочинитель) остается въ сферѣ творчества самимъ собою, творя, онъ продолжаетъ жить, вступаетъ въ такое же живое общеніе съ создаваемыми имъ образами, какое ему свойственно въ отношеніи къ живымъ людямъ. Онъ будетъ объективенъ или субъективенъ въ творествѣ, смотря по тому и въ той же мѣрѣ, какимъ онъ является въ своей личной жизни.

Овсянко-Куликовскій.

Истинность изображенія въ сочиненіяхъ Тургенева.

Необходимо понимать по-русски и глубоко посвятить себя въ исторію русскаго общества и литературы, чтобы вполне оцѣнить Тургенева. Но чтобы охватить его величину и преклониться предъ нею — этого недостаточно. Все, что образованные классы въ странахъ германскихъ и романскихъ знаютъ

въ наше время о внутренней жизни славянскаго племени, — всѣмъ этимъ они обязаны почти исключительно одному этому человѣку. Никто изъ прежнихъ русскихъ писателей не читался въ Европѣ, подобно ему; на него смотрѣли скорѣе какъ на международнаго, нежели русскаго писателя. Онъ открылъ намъ новый міръ образовъ, но онъ вовсе не нуждался въ этомъ побочномъ интересѣ для увеличенія достоинства своихъ произведеній, ибо Европа восхищалась въ немъ художникомъ, а не бытописателемъ.

Несмотря на то, что за предѣлами своего отечества онъ едва ли былъ читаемъ на его родномъ языкѣ, тѣмъ не менѣе прозорливая критика повсюду, даже въ странахъ, въ художественномъ отношеніи далеко ушедшихъ впередъ, поставила его въ одинъ рядъ съ лучшими своими писателями. Его читали въ переводахъ, которые, само собою разумѣется, затемняли и уменьшали силу впечатлѣнія, но совершенство оригинала такъ очевидно сказывалось въ болѣе или менѣе удачно переданныхъ образахъ, что по этому можно было видѣть, сколько потерялъ онъ въ отношеніи изящества и остроумія. Великіе поэты, обыкновенно, дѣйствуютъ глубже своимъ слогомъ, потому что посредствомъ его они лично идутъ навстрѣчу читателю. Тургеневъ въ этомъ отношеніи дѣйствовалъ такъ глубоко, какъ едва ли кто другой, хотя нерусскій читатель зналъ только болѣе бьющее въ глаза въ его слогѣ, едва понималъ, выражался ли онъ рѣзко, или изящно, едва угадывалъ свойственныя языку особенности его остроумія и также былъ далекъ отъ пониманія его намековъ, какъ и отъ возможности сравнивать его уподобленія и характеристики личностей и образа мыслей въ Россіи съ воспроизведенною дѣйствительностью. Тургеневъ побѣдилъ на художественномъ пути, хотя шаги его были скованы; онъ восторжествовалъ на великой аренѣ, хотя сражался притупленнымъ мечомъ.

Онъ населилъ для насъ великое восточное государство. Ему мы обязаны знаніемъ духовнаго склада и мужчинъ и женщинъ этой страны. Хотя онъ, лишь тридцати лѣтъ отъ роду, покинулъ Россію, чтобы никогда не возвращаться туда въ качествѣ постоянного гражданина своей родины, тѣмъ не менѣе онъ никогда не изображалъ никого другого, кромѣ людей этой страны, а нѣмцевъ и французовъ —

только какъ полуобрусѣвшихъ или въ соприкосновеніи съ русскими. Онъ хотѣлъ изображать только тѣ личности, съ свойствами которыхъ онъ былъ знакомъ съ юныхъ лѣтъ. Мы оставляемъ безъ вниманія мнѣніе извѣстныхъ кружковъ, которые, подъ вліяніемъ споровъ между славянофилами и сторонниками Европы, отрицали въ Тургеневѣ знаніе отчизны и считали его самого какимъ-то западникомъ. Будь онъ хотя немного менѣе космополитъ, едва ли произведенія обошли бы весь цивилизованный свѣтъ, какъ это случилось на самомъ дѣлѣ.

Онъ далъ намъ картины степи и лѣса, весны и осени, всѣхъ состояній и классовъ общества, всѣхъ степеней умственного развитія въ Россіи; онъ нарисовалъ ихъ всѣхъ, крѣпостного и княгиню, крестьянина, помѣщика и студента, молодыхъ дѣвушекъ, чистыхъ душою, надѣленныхъ самой нѣжной славянской прелестью, и холодныхъ, прекрасныхъ, эгоистическихъ кокетокъ, которыя въ Россіи, кажется, еще безразличнѣе въ ихъ безсердечіи, чѣмъ гдѣ-либо. Онъ далъ намъ богатую психологію цѣлой чѣловѣческой расы, правда, глубоко проникнутый чувствомъ, но никогда не омрачая душевной тревогой прозрачной ясности изображенія. Черезъ всѣ произведенія Тургенева несется широкая, захватывающая волна меланхоліи. Какъ бы правдивы и объективны ни были воспроизведенные имъ образы, и хотя онъ никогда не влагаетъ лиризма въ свои повѣсти и романы, тѣмъ не менѣе въ совокупности его произведенія оставляютъ лирическое впечатлѣніе: въ нихъ сказалось столько чувства, и это чувство — постоянная печаль, личная, необычайная печаль, безъ капли чувствительности. Тургеневъ никогда не отдается весь чувству, онъ обнаруживаетъ его постепенно, но ни одинъ изъ западно-европейскихъ рассказчиковъ не проникнуть въ такой степени печалью, какъ онъ. Великіе меланхолики латинской расы, какъ Леопарди и Флоберъ, отличаются рѣзкими, опредѣленными контурами своего стиля, нѣмецкая грусть ярко юмористична, или патетична, или сентиментальна. Меланхолія Тургенева — всецѣло меланхолія славянскаго племени съ его недугами и печалями; она происходитъ по прямой линіи отъ меланхоліи славянскихъ народныхъ пѣсенъ.

Точнѣе эту печаль можно опредѣлить, назвавъ ее печалью мыслителя. Тургеневъ глубоко заглянулъ въ сущность все-

ленной и понялъ, что всѣ идеалы человѣчества, — справедливость, разумъ, абсолютное благо, всеобщее счастье для природы безразличны и присущей ей божественной силой никогда не проявляются. Въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ произведеній, въ сборникѣ „Стихотвореній въ прозѣ“ онъ глубоко-проницательный мудрецъ, высказалъ свое credo въ формѣ видѣнія.

„Среди подземной храмины, глубоко задумавшись, сидитъ женщина въ волнистой одеждѣ зеленаго цвѣта.

„Я тотчасъ понялъ, что эта женщина — сама природа, и мгновеннымъ холодомъ внѣдрилъ въ мою душу благоговѣйный страхъ.

„Я приблизился къ сидящей женщинѣ и, отдавъ почтительный поклонъ: „О, наша общая мать!“ воскликнулъ я. — „О чемъ твоя дума? Не о будущихъ ли судьбахъ человѣчества размышляешь ты? Не о томъ ли, какъ ему дойти до возможнаго совершенства и счастья?“

„Женщина медленно обратила на меня свои темные, грозные глаза. Губы ея шевельнулись — и раздался зычный голосъ, подобный лязгу желѣза:

— „Я думаю о томъ, какъ бы придать большую силу мышцамъ ногъ блохи, чтобы ей удобнѣе было спастись отъ враговъ своихъ. Равновѣсіе паденія и отпора нарушено... Надо его возстановить.

— „Какъ? пролепеталъ я въ отвѣтъ. — Ты вотъ о чемъ думаешь! Но развѣ мы, люди, — не любимыя твои дѣти?

„Женщина чуть-чуть наморщила брови: — Всѣ твари — мои дѣти, — промолвила она. — Я одинаково о нихъ забочусь — и одинаково ихъ истребляю“.

Печаль Тургенева одновременно печаль патріота, пессимиста и друга человѣчества. Несмотря на весь свой кажущійся космополитизмъ, онъ былъ патріотъ, но патріотъ, скорбѣвшій о своей родинѣ и сомнѣвавшійся въ ней. На него многократно нападали за это и даже издѣвались надъ нимъ. Достоевскій въ своемъ романѣ „Бѣсы“ въ образѣ Кармазина пытался выставить его въ смѣшномъ видѣ.

Тургеневъ не раздѣлялъ преклоненія своихъ наивныхъ и малообразованныхъ соотечественниковъ передъ русскимъ народомъ, какъ таковымъ.

Молодымъ писателемъ онъ началъ съ того, что въ фор-

махъ, допускавшихся цензурою, выразилъ свое негодованіе противъ крѣпостничества. Цензура, по всей вѣроятности, имѣла благотѣльное вліяніе на его талантъ и силой необходимости развивала въ немъ важность, аристократизмъ и сдержанность. Если въ немъ и была когда-либо въ ранней молодости склонность къ непосредственному пафосу, къ декламации и рѣзкимъ эффектамъ — эта склонность ни въ какомъ случаѣ не могла быть въ немъ сильна: требованія цензуры убили бы ее. Чтобы возбудить состраданіе къ крѣпостнымъ, показать безправіе, среди котораго они проводили свою жизнь, и дать картину жестокости, даже помимо побоевъ и оковъ истязавшей ихъ до смерти, онъ разсказалъ отрывки изъ своего охотничьяго дневника, визиты къ помѣщикамъ или къ доктору и, между прочимъ, то здѣсь, то тамъ маленькую исторію, — исторію той мельничихи, которая, въ дѣвушкахъ, провинилась въ черной неблагодарности, пожелавъ выйти замужъ, несмотря на то, что ея барыня, ангельски добрая дама, не выносила замужней прислуги, и которая, за желаніе скрыть свои отношенія къ милому, была въ наказаніе выдана противъ воли за другого, послѣ того какъ ея Петрушка былъ сданъ въ солдаты; или исторію глухонѣмого, исполински сильнаго двороваго Герасима, возлюбленную котораго господа ради потѣхи выдала за какого-то пьяницу, того Герасима, который долженъ былъ утопить свою собаку, маленькую тощую собаченку Муму, свое единственное утѣшеніе и единственную подругу въ этомъ мірѣ, потому только, что Муму своимъ тавканьемъ беспокоила по временамъ барыню, когда та послѣ слишкомъ плотнаго ужина страдала безсонницей. Обѣ исторіи разсказаны безъ всякой задней мысли, безъ всякаго вывода. Скорбь, вызванная этою жестокостью, обнаруживается только въ видѣ ироніи, и эта иронія, въ свою очередь, исчезаетъ въ общемъ печальномъ колоритѣ.

Причина, дѣлающая основное настроеніе Тургенева столь сильнымъ и исключительнымъ, лежитъ, какъ было уже сказано, въ томъ, что онъ былъ одновременно и пессимистомъ и другомъ челоуѣчества, въ его любви къ людямъ, о которыхъ онъ такъ невысоко думалъ и которымъ такъ мало довѣрялъ.

Тургеневъ не только принадлежалъ къ дворянской семьѣ, но и къ знаменитому роду, который насчитываетъ въ своихъ рядахъ много заслуженныхъ и славныхъ мужей; и, какъ пи-

сатель, онъ обнаруживаетъ слѣды благороднаго происхожденія. Не то, чтобы онъ самъ, какъ лордъ Байронъ и князь Пожарскій, придавалъ своимъ сочиненіямъ этотъ оттѣнокъ, на подобіе внѣшняго отличія, напротивъ того въ его книгахъ не найдется ничего, что бы непосредственно напоминало о знатности автора, и тѣмъ не менѣе, читая его, чувствуешь, что ему отъ природы свойственно изящество и что онъ всегда вращался въ лучшемъ обществѣ. Онъ былъ свѣтскій человѣкъ, и въ его произведеніяхъ проглядываетъ то знаніе жизни свѣтскаго человѣка, котораго, обыкновенно, недостаетъ нѣмецкимъ поэтамъ. Но это знаніе не сдѣлало его, подобно нѣкоторымъ писателямъ Франціи, холоднымъ или циничнымъ. Хотя въ своихъ произведеніяхъ, онъ никогда не оскорбляетъ хорошаго тона, тѣмъ не менѣе его тонъ не свѣтскій тонъ. Самое презрѣніе его, вовсе не холодное презрѣніе. Въ его голосѣ всегда слышится душа.

Трудно ясно и опредѣленно сказать, что дѣлаетъ Тургеневъ художникомъ перваго ранга. Говоря кратко, это лежитъ въ *истинности* его изображенія. Но и это слово требуетъ не совсѣмъ краткаго поясненія.

Прежде всего ему въ высшей степени свойственна особенность истинныхъ поэтовъ воспроизводить людей, которые дѣйствительно живутъ. Жизнь его образовъ не только болѣе рельефно очерченная внѣшняя жизнь — они жизненны до кончиковъ пальцевъ — это въ то же время до такой степени внутренняя, изо дня въ день таинственно совершающаяся душевная жизнь, что мы можемъ вполне и всесторонне изучить ее. Но что дѣлаетъ его художественное превосходство столь осязательнымъ, такъ это ощущаемое читателемъ соотвѣтствіе отношенія самого поэта къ изображеннымъ имъ личностямъ или его приговора надъ рассказаннымъ съ впечатлѣніемъ, которое получается отъ того же самымъ читателемъ.

Дѣло въ томъ, что отношеніе поэта къ его собственнымъ образамъ таково, что оно тотчасъ же должно обнаружить его слабости, какъ человѣка или какъ художника. Поэтъ можетъ обладать многими рѣдкими дарованіями; но если онъ требуетъ отъ насъ удивленія предъ тѣмъ, что вовсе не заслуживаетъ удивленія, если онъ силится вызвать въ насъ сочувствіе къ какому-нибудь мужчинѣ, или состраданіе къ какой-нибудь

женщинѣ, или восторгъ предъ какимъ-нибудь дѣяніемъ, когда мы сами не чувствуемъ ничего подобнаго, въ такомъ случаѣ онъ самъ себя ослабляетъ и вредитъ себѣ. Если романистъ, за которымъ мы долго слѣдили, оказывается вдругъ менѣе критикомъ и болѣе чувствительнымъ, чѣмъ мы, тогда его произведеніе кажется намъ неудавшимся. Если онъ выводитъ личность неотразимо покоряющею сердца въ то время, какъ мы не находимъ ее обаятельной, или изображаетъ ее талантливой и остроумной, когда она не кажется намъ такою, или когда онъ заставляетъ ее совершать подвигъ болѣе смѣлый, чѣмъ мы можемъ ожидать отъ нея, или объясняетъ ея поступки великодушіемъ, котораго мы никогда не встрѣчали и въ которое не вѣримъ въ данномъ случаѣ; если онъ произвольно требуетъ отъ насъ незаслуженнаго почтенія, или возмущаетъ насъ холодною, или раздражаетъ моралью, — тогда, часто или по временамъ, у читателя возникаетъ мысль, что художнику измѣнило искусство; мы словно слышимъ тогда какой-то фальшивый звукъ, и, если даже впослѣдствіи онъ будетъ измѣненъ, въ насъ все-таки остается смутное воспоминаніе о чемъ-то непріятномъ. Кому изъ читателей Бальзака, Диккенса или Ауэрбаха — говоря только о великихъ покойникахъ — не знакомо это непріятное чувство? Когда Бальзакъ впадаетъ въ неуклюжій восторгъ, или Диккенсъ притворяется дѣтски трогательнымъ, или Ауэрбахъ наивнымъ, — эта дѣланность и фальшь возбуждаютъ въ читателѣ отталкивающее чувство. Никто никогда не встрѣчаетъ у Тургенева этихъ промаховъ художника.

Задачи, которыя онъ поставилъ себѣ, — самыя трудныя задачи. Онъ считаетъ постыднымъ для себя увлекать читателя романтическими характерами и необыкновенными приключеніями, и не менѣе того постыднымъ — прельщеніе чѣмъ-нибудь безнравственнымъ.

Рѣдко или никогда въ его повѣстяхъ или романахъ происходитъ что-нибудь необычайное — катастрофа, подобная разрушенію дома въ концѣ „Степного короля Лира“, представляетъ полное исключеніе, — и, хотя онъ не избѣгаетъ низкихъ и грязныхъ характеровъ и рассказываетъ романтическія происшествія, какихъ не могъ бы рассказать ни одинъ англійскій новеллистъ, онъ никогда не коснется при этомъ ничего непристойнаго, чѣмъ грѣшатъ художники, разъ на-

всегда отказавшіеся отъ всего условнаго. Какъ художникъ, онъ былъ рѣшительный, но стыдливый реалистъ.

Его главная задача, какъ писателя, — изображеніе убогихъ, слабыхъ, скитальцевъ, непостоянныхъ, лишнихъ и покинутыхъ. Онъ — поэтъ смирившихся въ своемъ несчастіи. Онъ рисовалъ внутреннюю, безмолвную жизнь несчастія.

Пусть прочтетъ кто-нибудь его краткія сцены или эскизы изъ русской жизни, на примѣръ „Переписку“. Здѣсь мы постепенно знакомимся съ молодой дѣвушкой, которая одинокая, непонятая и осмѣянная своею глупою средою, живетъ въ маленькой деревушкѣ, наканунѣ того, чтобы остаться старою дѣвой. Она уже примирилась съ этимъ. Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ ее покинулъ женихъ. Она ничего не требуетъ отъ жизни. У нея одно только желаніе, — желаніе покоя, и она на пути къ достиженію его. И вотъ вдругъ къ ней начинается писать одинъ изъ друзей дѣтства, можетъ-быть, изъ желанія подѣлиться мыслями, или отъ нечего дѣлать, можетъ-быть, вслѣдствіе одиночества, или изъ участія къ ней. Сначала она отвѣтила сдержанно. Получивъ новыя посланія, она уступаетъ его просьбамъ продолжать переписку. Онъ пишетъ. Теперь она отвѣчаетъ ему, не краткими, а длинными краснорѣчивыми письмами. Такимъ образомъ въ ея сердцѣ зарождается чувство дружбы, и немного спустя это чувство переходитъ въ чувство любви. Одно мгновеніе они любятъ оба. Онъ тоскуетъ по ней и мечтаетъ о ней. День его отъѣзда и пріѣзда къ ней уже назначенъ. И вдругъ переписка прекращается. Прельщенный какою-то танцовщицей и подъ вліяніемъ ея вульгарныхъ прелестей онъ забываетъ все, она же снова погружается въ свое ужасное одиночество, и на этотъ разъ еще глубже.

Или прочтемъ „Дневникъ лишняго человѣка“, самое заглавіе котораго говоритъ о его содержаніи. Смертельно больной, доживая послѣдніе дни, рассказываетъ рядъ самыхъ обыкновенныхъ приключеній, составляющихъ его жизнь, какъ лишняго человѣка. Разъ только онъ полюбилъ, и то только для того, чтобы испытать всѣ муки ревности и всякаго рода униженія, какъ существо, которое презирали. Елизавета любить не его, а блестящаго молодого петербургскаго князя, который проѣздомъ останавливается по сосѣдству съ нею. Онъ вызываетъ князя, пощаженъ имъ на дуэли, и ничего

отъ этого не выигрываетъ, кромѣ того, что его начинаютъ считать дурнымъ человѣкомъ, а его возлюбленная къ тому же и убійцею. Князь соблазнилъ и покинулъ Елизавету, а онъ, несмотря на это, снова предлагаетъ ей руку, но съ презрѣніемъ отвергается. Она отдаетъ свою руку другому, столь же благородному другу, опередившему его. Даже и въ этомъ случаѣ онъ является лишнимъ, пятымъ колесомъ въ телѣгѣ. И въ то же время можно прочесть между строками, сколько въ немъ сердечности, благородства и честности. Послѣднія страницы „Дневника“ содержатъ прощальные слова, съ которыми покинутый докторомъ больной расстаётся съ жизнью.

„Яковъ Пасынковъ“ — рассказъ въ такомъ же родѣ. Пасынковъ — типъ русскихъ людей, которыхъ Тургеневъ такъ любитъ изображать. Высокій, худощавый, плоскогрудый и даже нѣсколько красноносый, онъ не представителенъ наружностью, но его лобъ прекрасно очерченъ, голосъ нѣженъ и тихъ, и о немъ говорится такъ: „въ устахъ его слова: „добро“, „истина“, „жизнь“, „наука“, „любовь“, какъ бы восторженно они ни произносились, никогда не звучали ложнымъ звукомъ“. Въ его исторіи вдвойнѣ обнаруживается основная идея Тургенева. Онъ любитъ молодую дѣвушку, которая нисколько о немъ не думаетъ. Когда въ уединеніи, забытый всѣми, онъ умеръ въ какомъ-то захолустьи Сибири, на его груди нашли два сувенира о ней. Для того, чтобы она полюбила его, ему недоставало нѣкоторой доли порочности, немного болѣе самолюбія и легкомыслія. И между тѣмъ, въ то время какъ онъ изнывалъ въ этой безнадежной страсти, онъ и не подозрѣвалъ, что другая дѣвушка, некрасивая, нѣсколько неловкая — сестра первой — любила его такъ горячо, что никогда не измѣняла его памяти и ради него ни за кого не выходила замужъ.

Но изъ всѣхъ этихъ простыхъ и столь же законченныхъ монографій несчастія, самымъ выдающимся является, безъ сомнѣнія, позднѣйшій рассказъ „Живыя мощи“. Въ цѣломъ это почти одинъ монологъ, рассказанный автору молодою и нѣкогда прелестной, теперь же исхудавшей на подобіе скелета русской крестьянской дѣвушкой. Онъ находитъ ее лежащею на полу въ уединенномъ домикѣ. Такъ лежала она на спинѣ семь лѣтъ со времени своего рокового паденія. Ея

изсохшая голова была бронзоваго цвѣта, носъ заострился, какъ лезвее ножа, губы сморщились, и только зубы да бѣлки глазъ блестѣли; нѣсколько прядей жидкихъ свѣтло-желтыхъ волосъ ниспадали на лобъ. На одѣялѣ покоились ея руки: темные маленькіе пальцы медленно двигались туда и сюда. Когда-то она была самая сильная, веселая и красивая дѣвушка въ округѣ; постоянно смѣялась, пѣла и танцевала. Она рассказываетъ, какъ ей жилось послѣ паденія. Ее свело, она почернѣла, потеряла силы, не могла ни стоять ни ходить, потеряла охоту къ ѣдѣ и питью: напрасно прижигали ей спину раскаленнымъ желѣзомъ, напрасно сажали ее въ колотый ледъ. И обо всемъ этомъ она ведетъ рассказъ почти въ веселомъ тонѣ, не стараясь вызвать состраданія слушателя. Женихъ оставилъ ее и взялъ другую. Онъ, какъ говоритъ она, слава Богу, счастливъ въ своемъ супружествѣ. Его поступокъ съ нею она считаетъ совершенно естественнымъ и правильнымъ. Она благодарна всѣмъ, кто не оставляетъ ея, особенно одной маленькой дѣвчонкѣ, которая приноситъ ей цвѣты. Она не скучаетъ, не жалуется, — бываютъ гораздо болѣе несчастные — слѣпые, глухіе, она же прекрасно видитъ и слышитъ; слышитъ, какъ роется кротъ подъ землею, и чувствуетъ всякій запахъ, даже слабый запахъ гречихи, когда она зацвѣтетъ въ далекихъ поляхъ, даже запахъ липы, что цвѣтутъ тамъ, въ концѣ сада. Къ важнымъ событіямъ своей жизни она причисляетъ и то, когда курица, или воробей, или бабочка залетятъ къ ней черезъ окно или дверь. Съ большимъ удовольствіемъ вспоминаетъ она, какъ однажды забрался къ ней въ гости заяцъ. Лукерья вспоминаетъ Тургеневу и бывшее время, когда она пѣвала пѣсни. По временамъ она и теперь еще поетъ. Мысль, что это полуживое существо готовится запыть, возбуждаетъ въ немъ нѣчто въ родѣ ужаса. И вотъ, колеблясь, какъ тонкая струйка дыма, звенить ея маленькій, тонкій голосокъ, едва слышными, но чистыми и вѣрными звуками. Она рассказываетъ свои знаменательные сны, что снятся ей, когда среди страданій изрѣдка удается ей заснуть. Въ одномъ видитъ она Христа, будто Онъ идетъ къ ней навстрѣчу и протягиваетъ ей руку; въ другомъ снится ей, что какая-то женщина приближается къ ней — это ея смерть — и сожалѣетъ, что не можетъ еще взять ее съ собой. Когда Турге-

невъ удивился ея терпѣнію, она возражаетъ: Чему тутъ удивляться? Что особенно сдѣлала она? Нѣтъ, вотъ та дѣйствительница, что гдѣ-то въ далекой странѣ, прогнавъ за море враговъ мечомъ своимъ, сказала: „Теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое общаніе, чтобы мнѣ огненной смертью за свой народъ помереть“, вотъ она, дѣйствительно, совершила удивительный подвигъ. На прощанье Лукерья проситъ Тургенева замолвить его матери словечко за крестьянъ, — у нихъ такіе тяжелые оброки. Ей же самой ничего не надо, у ней нѣтъ никакихъ желаній. *Брандесъ.*

Правдивость, изящество содержанія и чувство мѣры въ изображеніи дѣйствительности — какъ отличительныя свойства таланта Тургенева.

Все, что Тургеневъ даетъ, не поддѣльно, — ни одной дѣланной черты, ни одного пустого или фальшиваго слова. Онъ никогда не вызываетъ призрачныхъ видѣній; все, что онъ думаетъ и чувствуетъ, является съ полной реальностью передъ его умственными очами, переживается имъ внутренно. Изъ этой правдивости истекаетъ сила его образовъ; въ тѣхъ даже случаяхъ, когда мы не знаемъ оригинала, мы чувствуемъ, что портретъ удаченъ. Онъ умѣетъ сдѣлать невѣроятное доступнымъ пониманію, касаясь той именно струны, которая находитъ отголосокъ и въ нашей душѣ.

Обыкновенно Тургенева причисляютъ къ реалистической школѣ, и одинъ изъ парижскихъ такъ называемыхъ реалистовъ посвятилъ ему томъ своихъ разсказовъ съ надписью: *salve, frater!* Тургеневъ, конечно, реалистъ въ томъ смыслѣ, что онъ не рубитъ съ плеча, но изображаетъ типы и картины на основаніи глубокаго изученія природы; у него наблюдательный, опытный глазъ, отъ котораго ничто не ускользаетъ; тамъ, гдѣ онъ пожелаетъ, онъ можетъ воспроизвести видѣнное съ виртуозностью, поражающей своимъ совершенствомъ. Но этого онъ не считаетъ задачей искусства: онъ, такъ сказать, не натираетъ своихъ красокъ передъ зрителемъ, не записываетъ подъ рядъ все, что видитъ или что можетъ увидѣть; онъ изображаетъ только то, что считаетъ

цѣлесообразнымъ для созданія гармоничной общей картины. Тургеневъ чуждается безобразнаго и старается его избѣгать; но гдѣ приходится изображать его, онъ поступаетъ съ необыкновенной осторожностью, онъ поклонникъ прекраснаго, даже тамъ, гдѣ рисуетъ безобразное.

Его искусство напоминаетъ живописца, а не ваятеля: его образы нельзя осязать, — ихъ надо видѣть, и видѣть именно въ томъ свѣтѣ, который онъ выбралъ. Иногда онъ повѣствуетъ отрывками, связь можно только угадывать: поэту важно общее, полное, идеальное впечатлѣніе. Ни одинъ романистъ не обладалъ еще такимъ вѣрнымъ чутьемъ относительно красокъ, ни одинъ не дѣйствовалъ такъ пріятно на всякій просвѣщенный глазъ; краски удивительно гармонируютъ у него между собою, при чемъ смягчается все грубое и рѣзкое.

Эта гармонія красокъ звучитъ словно мелодія: читая его романы, такъ и кажется, будто слышишь легкій аккомпанементъ пѣнія. Эта мелодія минорная, какъ вся почти русская музыка; она выражаетъ глубокую грусть, непонятную для насъ, какъ загадка, но тѣмъ не менѣе привлекательную.

Тургеневъ вовсе не эпическій поэтъ, въ строгомъ смыслѣ этого слова. Онъ не старается изобразить какое-нибудь событіе во всѣхъ подробностяхъ по законамъ эпической рутинѣ и непременно выяснитъ тѣ нравственные обстоятельства, которыя обуславливаютъ его. Въ руководящихъ мотивахъ его главнѣйшихъ характеровъ преобладаетъ извѣстное однообразіе: часто повторяется одинъ и тотъ же типичный мотивъ, хотя бы въ разныхъ, поражающихъ новизной варіаціяхъ.

Несравненный художникъ въ изображеніи мимолетныхъ движеній, Тургеневъ рѣдко дѣлалъ попытки прослѣдить какое-либо настроеніе въ продолжительное время, въ постепенномъ его развитіи. Онъ показываетъ страсти въ извѣстномъ отдаленіи и лишь отъ времени до времени открываетъ ихъ взору, и такъ, чтобы зелень передняго плана нѣсколько смягчала впечатлѣніе. Онъ почти никогда не пускается въ анализъ характеровъ: они проходятъ мимо насъ, какъ художественные образы.

Основное направленіе его таланта опредѣляется тѣмъ, что онъ въ началѣ выступилъ жанровымъ поэтомъ. Особенность жанроваго поэта заключается въ томъ, что ему и будничное

кажется поразительнымъ, новымъ и страннымъ, что онъ, самъ того не думая, останавливается на каждой сколько-нибудь оригинальной чертѣ, что все оставляетъ у него впечатлѣніе, и что по аналогіи съ подмѣченными чертами онъ быстро схватываетъ новыя. У Тургенева, какъ и у Диккенса, каждую выставленную фигуру мы мысленно видимъ передъ собой, слышимъ, какъ она говоритъ, чувствуемъ ея дыханіе; рѣчи и мысли автора невольно приспосаблиются къ духу изображаемыхъ, часто совершенно второстепенныхъ лицъ. Но у Тургенева то преимущество, что онъ обладаетъ чувствомъ мѣры. У Диккенса наблюденія скоро превращаются въ галлюцинаціи, которыми писатель играетъ и которыя играютъ писателемъ. Тургеневъ болѣе бережливъ на свои матеріальныя средства: онъ изображаетъ рѣшающій моментъ, въ которомъ личность проявляется такой, какою она есть въ дѣйствительности; на этотъ моментъ онъ наводитъ яркій лучъ свѣта, между тѣмъ какъ все остальное отодвигается въ тѣнь. Онъ не прибѣгаетъ къ микроскопу, глазъ его остается на надлежащемъ разстояніи; такимъ образомъ не нарушаются пропорціи. Его фигуры никогда не позируютъ. Когда въ его картинахъ группируются странные образы, комическіе или трогательные, и задаютъ загадку какъ читателю, такъ и самому автору, глазъ, которымъ смотреть на нихъ писатель, подходитъ къ нашей точкѣ зрѣнія: мы дышимъ той же атмосферой, въ его нравственныхъ взглядахъ ничто намъ не чуждо, и часто за странной внѣшностью (напоминаю о родителяхъ Базарова) мы открываемъ глубину чувства, которая намъ проникаетъ въ душу.

Тургеневъ всюду подмѣчалъ художественные образы; но самый богатый матеріалъ доставлялъ ему лѣсъ, который онъ, какъ страстный охотникъ, изучилъ во всѣхъ его типахъ. Тургеневъ не былъ пейзажистомъ по профессіи; во время своихъ путешествій, онъ много видѣлъ красотъ природы, но истинно чувствовалъ онъ только родную природу. Онъ рисуетъ намъ тишину дремучаго лѣса, необозримую степь, непроглядную метель; онъ не старается скрасить природу, но изображаетъ ее рѣзкими чертами. Онъ изучалъ ее не какъ праздный фланеръ, а какъ охотникъ. Каждый звукъ въ природѣ долженъ быть понятенъ охотнику; малѣйшее дрожаніе вѣтки, дуновеніе вѣтерка, каждая мимолетная тѣнь

можетъ выдать присутствіе добычи. Охотникъ долженъ привыкнуть къ напряженности всѣхъ чувствъ: онъ обязанъ одинаково внимательно слушать, видѣть, обонять. Голосъ каждой птицы знакомъ ему; онъ чувствуетъ къ каждой изъ нихъ искренній интересъ, что, однако, не мѣшаетъ ему убивать ихъ. Охотничьи картины Тургенева возбуждаютъ безусловное довѣріе; всѣ чувства его дѣйствуютъ одновременно, и изображаемый имъ ландшафтъ перестаетъ быть простой картиной: отъ него вѣетъ живой дѣйствительностью. А какъ чудно хороши бываютъ иногда эти мимолетныя свѣтотѣньныя воздушныя картины!

О веселомъ, шумномъ оживленіи, изображаемомъ Вальтеръ-Скоттомъ въ его картинахъ охоты, у Тургенева нѣтъ и рѣчи: русскій лѣсъ требуетъ иныхъ красокъ. Охотникъ наединѣ съ самимъ собой и природой, и въ этомъ уединеніи заключается своеобразная, чарующая прелесть. Все описано до того реально, что чувствуешь себя словно въ волшебномъ лѣсу.

Главное содержаніе романовъ и повѣстей Тургенева составляетъ любовь: я знаю немногихъ писателей, которые такъ нѣжно, и вмѣстѣ съ тѣмъ съ такой глубиной и силой, передавали движенія сердца. Если сущность любви одинакова повсюду, тѣмъ не менѣе русская любовь, въ томъ видѣ, какъ описалъ ее Тургеневъ, имѣетъ нѣчто своеобразное. Почти вездѣ у Тургенева въ любви инициатива принадлежитъ женщинѣ; ея воля сильнѣе, ея кровь горячѣе, ея чувства искреннѣе, преданнѣе, нежели у образованныхъ молодыхъ людей, у которыхъ врожденная рѣшительность ослабляется философскими размышленіями. Русская женщина всегда ищетъ героевъ; когда ея фантазія возбуждена любопытствомъ и показываетъ ей воображаемаго героя, она повелительно требуетъ подчиненія силѣ страсти. Сама она чувствуетъ себя готовой къ жертвѣ и требуетъ ея отъ другого; когда ея иллюзія насчетъ героя исчезаетъ, ей не остается ничего иного какъ быть героиней, страдать, дѣйствовать. Герои Тургенева, по своей мускульной слабости и покорности судьбѣ, отличаются нѣкоторымъ однообразіемъ; но зато какой писатель располагаетъ такимъ богатымъ сокровищемъ интересныхъ, обаятельныхъ женскихъ типовъ? Съ ними читателю такъ и хочется сблизиться, хотя и не слишкомъ: въ ихъ пылкой крови всегда таится расположеніе къ наси-

лію. Кто углубится хорошенько въ сочиненія Тургенева, тотъ при каждомъ серіозномъ политическомъ дѣлѣ непременно спроситъ: *où est la femme?*

Любовь — главная область Тургенева. На политическіе вопросы наталкивали его развѣ удручающія обстоятельства, грубо затрогивавшія его нѣжную душу. Но вѣрность, съ которой онъ изобразилъ эти столкновенія, обезпечила за нимъ и въ этомъ отношеніи положеніе исключительное въ Европѣ. Долго мы будемъ по его романамъ изучать русскую исторію. Поэтъ всегда лучше историка умѣетъ выяснитъ историческую жизнь чуждаго намъ народа, и, хотя мы сами этого не замѣчаемъ, наши историческія представленія образуются при помощи поэтическихъ произведеній. При этомъ трудно избѣгнуть ошибокъ и недоразумѣній. Даже, если писатель самымъ добросовѣстнымъ образомъ стремится къ истинѣ, все же онъ зависитъ отъ субъективности своихъ впечатлѣній. Онъ видитъ вещи такими, какими онѣ коснулись его внутренней жизни. Контролировать его въ этомъ очень не легко, въ особенности на далекомъ разстояніи.

Шмидтъ.

Простота фабулы, реальность изображенія и личный элементъ въ сочиненіяхъ Тургенева.

Тургеневъ не принадлежитъ ни къ какой школѣ; онъ слѣдуетъ своимъ собственнымъ вдохновеніямъ. Какъ всѣ лучшіе романисты, онъ изучаетъ человѣческое сердце, эту неисчерпаемую мину, хотя уже эксплуатируемую съ давняго времени. Наблюдатель тонкій, точный, иногда до мелочности, онъ пишетъ свои персонажи, какъ художникъ и поэтъ. Ихъ страсти и черты ихъ лица ему знакомы одинаково и близко. Онъ знаетъ ихъ привычки, ихъ жесты, онъ слушаетъ, какъ говорятъ они, и стенографируетъ ихъ бесѣду. Съ такимъ искусствомъ обдѣлываетъ онъ изъ всѣхъ эпизодовъ ансамбль физическій и моральный, что читатель видитъ портретъ вмѣсто фантастической картины. Благодаря своему умѣнью въ нѣкоторомъ родѣ сгущать свои наблюденія и придавать имъ точную форму, Тургеневъ шокируетъ насъ не болѣе, чѣмъ сама природа, представляя намъ какое-нибудь необычайное и аномальное явленіе. Это безпри-

страсти, эта любовь къ правдѣ, составляющая выдающуюся черту въ талантѣ Тургенева, не покидаютъ его никогда. Онъ изгоняетъ въ своихъ произведеніяхъ крупныя преступленія, и въ нихъ нельзя искать трагическихъ сценъ. Немного и крупныхъ событій въ его романахъ. Ничего нѣтъ проще ихъ фабулы, ничего, что не походило бы на обыденную жизнь, и это еще одно изъ слѣдствій его любви къ правдѣ. Иногда онъ слишкомъ вдается въ описанія, безъ сомнѣнія, весьма правдивыя, но ихъ можно бы сократить. Онъ любитъ и мастерски умѣетъ отмѣчать изящные оттѣнки, но въ этой части своей работы, достоинства и трудностей которой я не отрицаю, онъ рискуетъ иногда ослабить ею интересъ самаго дѣйствія. Тургеневъ, глубокій знатокъ человѣческаго сердца, обладаетъ талантомъ наблюденія и изображенія явленій и эффектовъ природы. Всегда точный и простой, онъ нерѣдко возвышается невольно до поэзіи, по живости своихъ впечатлѣній и мастерству, съ какимъ онъ рельефно отмѣняетъ характеристическія черты своихъ описаній. Его главные недостатки заключаются въ нѣкоторомъ замедленіи развитія интриги и въ изобиліи подробностей. Хотя никто не схватываетъ и не изображаетъ съ большой живостью уродливыхъ и смѣшныхъ стороны, пороки своей эпохи, нельзя, однако, сказать, что Тургеневъ писалъ сатиры. Онъ не ощущаетъ того злораднаго удовольствія, какое испытываютъ иные изъ критиковъ, встрѣчаясь со слабостями и плоскостями человѣческими. Не впадая въ банальную филантропію, онъ является безпристрастнымъ защитникомъ слабыхъ и обиженныхъ; онъ любитъ находить и какую-нибудь черту, которая ихъ возвышаетъ. Нерѣдко напоминаетъ онъ мнѣ Шекспира. Онъ питаетъ его любовь къ правдѣ; подобно англійскому поэту, онъ умѣетъ создавать образы изумительной реальности; но, несмотря на искусство, съ какимъ авторъ скрываетъ свою личность подъ персонажами своей изобрѣтательности, его характеръ все-таки можно отгадать, и въ этомъ, быть можетъ, заключается его не малое право на нашу симпатію.

Меримэ.

Воспитательное - значеніе сочиненій Тургенева.

Богато одаренный отъ природы И. С. Тургеневъ имѣлъ счастье получить превосходное образованіе, — то образованіе, которое не только надѣляетъ умъ свѣдѣніями, развиваетъ его силы, но которое пробуждаетъ въ душѣ и страстную любовь къ истинѣ, и жажду къ знанію и даетъ средства утолять ее. Европейскими языками И. С. владѣлъ въ совершенствѣ, и сокровища богатѣйшихъ европейскихъ литературъ были ему вполне доступны. Судьба благопріятствовала ему и съ другой стороны: онъ былъ богатъ; онъ не зналъ той тяжелой нужды, которая часто пригнетаетъ талантливыхъ людей, порою злобить ихъ, глушить ихъ дарованія; ему не приходилось трудиться ради заработка, — трудиться порывисто, неровно, торопясь и томясь сознаніемъ, что работа далеко ниже того, чѣмъ должна бы и могла бы быть. И время, когда Тургеневу пришлось вступить на литературное поприще, было въ высшей степени благопріятно для его таланта: только что не стало Пушкина, который поднялъ русскую поэзію и русскую рѣчь до небывалой еще художественной высоты; только что замолкъ Гоголь, глубоко копнувшій русскую жизнь, проливавшій надъ ней сквозь видимый міру смѣхъ невидимыя ему слезы; критическій анализъ чуткаго Бѣлинскаго еще указывалъ настоящіе пути начинающимъ писателямъ.

Словомъ, обстоятельства для развитія таланта Тургенева были очень благопріятны. Всѣ природные задатки, всѣ дарованія его могли развиться правильно, стройно, гармонично. Говорю это для того, чтобы объяснить, почему Тургеневъ болѣе, чѣмъ кто-либо изъ знаменитыхъ нашихъ писателей, способенъ былъ подарить русскую литературу цѣлымъ рядомъ высокохудожественныхъ, вполне обработанныхъ, прелестныхъ по формѣ и богатыхъ по содержанію произведеній.

Тургеневъ, подобно Пушкину, страстно любилъ жизнь, искалъ въ ней всего того, что даетъ силу душѣ, вливаетъ въ нее свѣтъ и радость. Онъ самъ хотѣлъ наслаждаться жизнью въ благородномъ смыслѣ этого слова, какъ можетъ наслаждаться ею высокоодаренный чуткій артистъ, хотѣлъ, такъ сказать, полной грудью вдыхать ароматъ жизни. *По-всюду онъ, изображая жизнь, ищетъ красоты, добра, истины,*

особенно любить останавливаться на свѣтлыхъ проявленіяхъ жизни. Всякія уродства, ложь, зло глубоко оскорбляютъ его. Они возбуждаютъ въ немъ не ѣдкую насмѣшку, не гнѣвъ сатирика, а глубокую грусть, отъ которой порою онъ словно ищетъ успокоенія въ картинахъ природы. Онъ по духу своему и чудному, прелестному языку прямой наслѣдникъ Пушкина въ нашей литературѣ, — не даромъ самъ онъ считалъ себя его ученикомъ.

И вотъ почти въ теченіе сорока лѣтъ изъ-подъ пера его выходило одно высокохудожественное произведеніе за другимъ, одно другого выше, одно другого краше; сорокъ лѣтъ чудная рѣчь его волновала русскія сердца, наполняя ихъ высокимъ наслажденіемъ, направляя ихъ къ добру...

Первыя произведенія, обратившія вниманіе и вызвавшія сильную симпатію къ Тургеневу, были его „Записки охотника“ — эти прелестные, простые, но высоко поэтические очерки, отъ которыхъ, кажется, такъ и вѣетъ и лѣсной свѣжей прохладой и запахомъ полей. Но отъ этихъ рассказовъ не разъ болѣзненно сожмется сердце при видѣ картинъ изъ жизни крѣпостныхъ крестьянъ. За „Записками охотника“ послѣдовалъ цѣлый рядъ романовъ и повѣстей, гдѣ Тургеневъ чутко прислушивается, какъ говорится, къ біенію общественнаго пульса, т.-е. ко всему тому, что волновало лучшихъ русскихъ людей; всѣ хорошія вѣянія онъ радостно привѣтствовалъ, глубоко скорбѣлъ при видѣ болѣзненныхъ явленій, тѣмъ и другимъ, благодаря таланту, давалъ определенный осязательный образъ, озарялъ ихъ яснымъ свѣтомъ, благодаря своему уму. „Рудинъ“, „Наканунъ“, „Дворянское гнѣздо“, „Отцы и дѣти“ — вотъ важнѣйшіе изъ этихъ романовъ, которые для будущаго историка послужатъ художественной лѣтописью, покажутъ, чѣмъ жило, чѣмъ волновалось русское общество 50-хъ и 60-хъ годовъ. У Тургенева до самаго послѣдняго времени, пока злой недугъ не приковалъ его къ постели, высокое поэтическое творчество было живымъ ключомъ. Еще въ прошломъ году*) появились его „Стихотворенія въ прозѣ“, — эти жемчужины, словно невзначай оброненныя изъ души поэта. Читая ихъ, не знаешь, чему больше удивляться — необычайной ли прелестной формѣ, или

*) Статья писана въ 1883 году.

глубинѣ мысли и чувствъ, выраженныхъ во многихъ изъ нихъ...

Безконечной вереницей проносятся предъ нами жизненные явленія. Масса впечатлѣній одно за другимъ ложится на наши души. Но много ли среди насъ такихъ людей, которые глубоко задумываются надъ ними, проникаютъ въ смыслъ ихъ? Только высокіе умы могутъ разобраться въ сумятицѣ жизненныхъ явленій, оцѣнить ихъ по достоинству. Только у высоко-одаренныхъ художественнымъ творчествомъ писателей туманные слѣды отъ мимолетныхъ впечатлѣній сгущаются въ опредѣленные, осязательные образы, воплощаются въ такія яркія формы, которыя доступны всякому сколько-нибудь разсуждающему человѣку. Жизнь, путающаяся въ безконечной массѣ мелкихъ повседневныхъ явленій, темна для насъ; но та же жизнь, прошедшая сквозь душу великаго художника писателя, очищенная отъ мелочныхъ подробностей, выраженная въ яркихъ, выпуклыхъ образахъ, становится ясна и понятна для всякаго сколько-нибудь мыслящаго человѣка. Вотъ почему такъ высоко и цѣнится крупный талантъ художника, этотъ въ полномъ смыслѣ слова даръ Божій, этотъ свѣточъ, освѣщающій жизненный путь для простыхъ смертныхъ. Рѣдкими, до крайности рѣдкими гостями на землѣ бываютъ великіе таланты, — вотъ почему такъ высоко и цѣнятъ ихъ, такъ чествуютъ, такъ гордятся ими... Огромное значеніе въ нашей жизни имѣетъ великій писатель, если онъ при громадномъ талантѣ обладаетъ просвѣщеннымъ умомъ, а также чистымъ и любящимъ сердцемъ, когда онъ своимъ вдохновеннымъ словомъ направляетъ умы и сердца людей къ добру и правдѣ. Такой писатель не даетъ обществу заснуть, погрязнуть въ мелочныхъ повседневныхъ заботахъ; онъ раскрываетъ предъ ними смыслъ современной жизни, указываетъ цѣли и идеалы. Словомъ, онъ становится для общества наставникомъ въ самомъ высокомъ и благородномъ значеніи этого слова. Такимъ великимъ наставникомъ былъ и Тургеневъ!

Надо ли подтвердить примѣромъ, — довольно развернуть любое изъ его лучшихъ произведеній. Обратимся къ болѣе извѣстнымъ разсказахъ изъ „Записокъ охотника“.

Всѣмъ извѣстенъ прелестный разсказъ „Бѣжинъ лугъ“. *Помните, какъ авторъ, заблудившись, случайно попалъ*

въ общество крестьянскихъ ребятишекъ, стерегшихъ ночью табунъ. Мальчики рассказываютъ о домовыхъ, лѣшихъ, русалкахъ... Что же во всемъ этомъ рассказѣ особеннаго? Сотни, тысячи людей слышали эти суевѣрные сказки: одни, болѣе разсудочные, называли ихъ пустымъ вздоромъ, другіе, болѣе чуткіе, находили въ нихъ поэзію — и только. Посмотрите же, что сдѣлалъ съ ними художникъ-поэтъ... Чудная, лѣтняя темная ночь. Подъ обаяніемъ непроглядной тьмы мальчуганы расположены къ страху, они и говорятъ о страшномъ, о тѣхъ невѣдомыхъ имъ силахъ природы, которыя народная фантазія облекла въ страшныя формы лѣшихъ, водяныхъ, русалокъ и пр. Сколько поэзіи въ этихъ рассказахъ, вложенныхъ въ уста дѣтей, которыя среди не проглядной тьмы жмутся къ костру!... Вотъ первая мысль, которая является при чтеніи этого рассказа. Но вотъ вы узнаете изъ рассказовъ мальчиковъ, что Гаврила-плотникъ постоянно невеселый ходитъ, потому что ему, когда онъ перекрестился при встрѣчѣ съ русалкой, она сказала: „Плачу я, убиваюсь оттого, что ты перекрестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней“. Узнаете объ Ульянѣ, которая исчахла вся, такъ что едва душа въ тѣлѣ держится, оттого, что ей почудилось, будто она самоѣ себя встрѣтила. Узнаете о Ѳеклистѣ, у которой водяной сына утопилъ, и она по временамъ останавливается на берегу и кличетъ своего сына: „Вернись, мой свѣтикъ! Охъ, вернись, соколикъ!“ Узнаете объ Акулинѣ, дурочкѣ, которая съ тѣхъ поръ рехнулась, какъ ей почудилось, что она побывала въ рукахъ водяного, и вотъ она, „покрытая лохмотьями, страшно худая, съ чернымъ, какъ уголь, лицомъ, помутившимся взоромъ и вѣчно оскаленными зубами, топчется по цѣлымъ часамъ на одномъ мѣстѣ“... Узнаете все это, и страшно вамъ станетъ, — страшно, конечно, не передъ лѣшими, водяными, русалками и прочими созданіями народныхъ суевѣрій и поэзіи, а страшно передъ тѣмъ, какъ дорого обходится народу эта поэзія суевѣрій. Вы пожалѣете этотъ народъ, у васъ невольно явится мысль о томъ, какъ важно, какъ необходимо позаботиться, чтобы просвѣтить его, разогнать эту страшную тьму, въ какой живетъ онъ, направить его поэтическія способности въ другую сторону, хотя бы на ту же природу. А сколько въ ней прелестей, сколько высочайшихъ

вдохновеній можетъ найти просвѣщенный поэтъ, не населяя ея русалками и лѣшими, — это показываетъ самъ Тургеневъ. Его „Записки охотника“ почти наполовину состоятъ изъ прелестныхъ описаній природы... Повторяю, тысячи людей сталкивались съ народными суевѣрїями; но только у великаго художника сложился чудный разсказъ, гдѣ они явились во всей своей страшной поэзіи, только онъ заставилъ насъ глубоко почувствовать и задуматься надъ ними и прїѣхать къ тому заключенію, какое я указалъ. Развѣ это не высокій, не плодотворный урокъ?

Вспомните другой разсказъ „Малиновая вода“. Припомните странное существо — Степушку, этого затеряннаго человѣчка; у него, что называется, ни кола ни двора, ни дѣла ни хлѣба. Прїютился гдѣ-то въ клѣти, за курятникомъ у садовника. Его привыкли видѣть, иногда даже давали ему пинька, но никто съ нимъ не разговаривалъ, и онъ самъ, кажется, отъ роду рта не разинулъ. И вотъ этотъ-то затерянный человѣчекъ тоже способенъ еще думать о другихъ, жалѣть ихъ... Онъ, видите ли, пожалѣлъ мужика Власа, который доведенъ до отчаянія непомѣрнымъ оброкомъ, наваленнымъ на него управляющимъ, — онъ, никогда рта не разинувшій, разинулъ его, чтобы подать совѣтъ: „Да ты бы... ты бы... того!“ заговорилъ внезапно Степушка, смѣшался и замолчалъ. Плохой, положимъ совѣтъ; но душа-то, видно, у этого загнаннаго, забитаго Степушки не застыла, — теплилась въ ней искра Божія, — любовь къ ближнему.

Припомните еще Сучка изъ разсказа „Льговъ“, этого „господскаго рыболова“ при болотцѣ, въ которомъ никакой рыбы нѣтъ, этого рыболова, который былъ то кучеромъ, то поваромъ, то актеромъ, то сапожникомъ, смотря по прихоти своихъ господъ. И вотъ эта игрушка барскаго каприза, переходившая изъ рукъ въ руки, говорить о своей судьбѣ: „А я, батюшка, не жалуясь!“ — Не жалуется онъ потому, что бываетъ и хуже.

Припомните еще Лукерью изъ разсказа „Живыя мощи“, эту дѣвушку, семь годовъ лежащую неподвижно, изсохшую, обратившуюся въ мумію, но полную высокаго религіознаго чувства.

И вотъ это существо, эти „живыя мощи“, какъ прозвали ее въ деревнѣ, на вопросъ барина: не нужно ли ей чего?

говорить: „Ничего мнѣ не нужно; всѣмъ довольна, слава Богу. Дай Богъ всѣмъ здоровья! А вотъ вамъ бы, баринъ, матушку вашу уговорить — крестьяне здѣшніе. бѣдные — хоть бы малость оброку съ нихъ она сбавила! Земли у нихъ недостаточно, угодій нѣтъ... Они бы за васъ Богу помолились... А мнѣ ничего не нужно, — всѣмъ довольна“.

Припомните все это, — и вы поймете, какіе великіе уроки всѣмъ читающимъ даетъ высокоталантливый писатель. Онъ заставляетъ глубоко заглянуть въ народную жизнь, онъ совершаетъ открытія, и какія открытія! Онъ въ этихъ затерянныхъ, забытыхъ существахъ, въ этихъ полуидіотахъ, которыхъ многіе умники изъ насъ, быть можетъ, едва ли удостоили бы снисходительнаго взгляда, открываетъ золотое сердце, исполненное такой любви, такого всепрощенія и всепримиренія, что невольно преклонишься, какъ предъ святыней, предъ этимъ сердцемъ... Не даромъ этимъ людямъ снятся чудные сны, — чудится, что Самъ Христосъ протягиваетъ имъ руки, что звонъ „сверху“ призываетъ ихъ. Вы помните, что Тургеневъ далеко не всегда указываетъ на хорошія стороны крестьянъ, указываетъ и дурныя, точно такъ же, какъ и помѣщики являются у него и дурные и хорошіе. Но когда вы внимательно прочтете большую часть „Записокъ охотника“, вы ясно почувствуете, какимъ зломъ было крѣпостное право. Оно было темнымъ фономъ картины, на которомъ только изрѣдка рисовались свѣтлые образы изъ крестьянской и помѣщичьей среды. Поэтъ правдиво воспроизводилъ дѣйствительность, она сама ясно въ его произведеніяхъ говорила противъ возмутительнаго рабства, говорила уму и сердцу cadaго человѣка, способнаго размышлять и чувствовать. Припомните, что „Записки охотника“ явились въ 1852 году, стало-быть, до освобожденія крестьянъ.

Ситовскій.

Тургеневъ, какъ художникъ-гражданинъ.

О Тургеневѣ часто говорятъ, что онъ прежде всего художникъ. Но художники, если они живые люди, неразрывно связанные съ родною землею, являются непременно и гражданами. Первый рядъ произведеній Тургенева, сразу обра-

тившихъ на себя общее вниманіе, едва-ли не останется навсегда и лучшимъ въ числѣ его произведеній. Таково, по крайней мѣрѣ, наше мнѣніе. „Записки Охотника“ — рядъ очерковъ въ высшей степени художественныхъ и въ самомъ чистомъ, самомъ святомъ смыслѣ слова, гражданственныхъ. И. С. Тургеневъ принадлежалъ къ тому славному *меньшинству* русскаго дворянства, которое никогда не могло помириться съ крѣпостнымъ правомъ. Это достославное меньшинство (очень немногочисленное) имѣло всегда своихъ представителей и въ нашей литературѣ. Ихъ громкій и честный голосъ раздавался еще въ XVIII столѣтіи. Тургеневъ, вслѣдъ за своими предшественниками, по справедливости можетъ быть названъ однимъ изъ глубоко убѣжденныхъ провозвѣстниковъ великой не только въ нашей, но и въ міровой исторіи, крестьянской реформы. Когда пришло извѣстіе о его смерти, на страницахъ „Русской Старины“ появилось его дотолѣ незнакомое обществу не художественное, а публицистическое произведеніе: записка, составленная въ 1858 г. въ Римѣ, послѣ неоднократныхъ бесѣдъ о крестьянскомъ вопросѣ съ кн. В. А. Черкасскимъ, В. П. Боткинымъ и другими соотечественниками.

Не впадая во вредную идеализацію, Иванъ Сергѣевичъ прямо признаетъ здѣсь, что великое дѣло освобожденія крестьянъ будетъ принято съ сочувствіемъ лишь меньшинствомъ дворянства; большинство же будетъ противъ освобожденія: „одно лишь привычное нежеланіе смотрѣть правдѣ въ глаза, говоритъ онъ, можетъ сомнѣваться въ истинѣ этого сопротивленія“. Причину его авторъ видитъ въ низкомъ уровнѣ дворянства. „Малая образованность нашего дворянскаго сословія, говоритъ онъ, будетъ едва-ли не главнымъ препятствіемъ къ приведенію въ исполненіе предполагаемыхъ мѣръ“. Это заявленіе заслуживаетъ особеннаго вниманія, какъ заявленіе дѣйствительно просвѣщеннаго дворянина о своемъ классѣ. А намъ такъ громко и усиленно твердятъ о великихъ заслугахъ въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ дворянскаго класса, какъ самаго образованнаго и передового, тогда какъ народу такъ бы и не дожидаться свободы, если бы верховная воля Государя Александра Николаевича не согласилась съ *меньшинствомъ*.

При всемъ своемъ гражданскомъ духѣ, „Записка“ Турге-

нева стоитъ ниже „Записокъ Охотника“. Въ своемъ публицистическомъ произведеніи Тургеневъ сводитъ все къ изданію журнала, гдѣ бы можно было безпрепятственно печатать заявленія и мнѣнія по крестьянскому вопросу. „Правительство, говоритъ авторъ, не рѣшаетъ этого вопроса указомъ или манифестомъ: оно обращается къ самой землѣ, къ русскому дворянству“. Здѣсь не совсѣмъ вѣрная тавтологія: земля и дворянство — не одно и то же. Тургеневъ видимо былъ тутъ озабоченъ именно дворянствомъ. Оно, по его справедливымъ словамъ, „не подготовлено, недоброжелательно, предубѣждено, запугано; оно понесетъ свои предубѣжденія, свой страхъ въ самые комитеты; оно воспользуется всѣми средствами, которыя найдетъ подъ рукою, для того, чтобы затруднить и замедлить дѣло. А между тѣмъ, *не разоренія же дворянства ищетъ правительство, не зла оно ему желаетъ*; напротивъ, — оно желаетъ предотвратить возможность будущихъ бѣдствій, упрочить, увѣковѣчить его благосостояніе; въ то же время правительство чувствуетъ государственную необходимость, неотлагаемость начатой реформы, слѣдовательно — въ упорствѣ дворянъ есть или недоразумѣніе или незнаніе, непониманіе своего собственного положенія. Для устраненія этого недоразумѣнія, для того, чтобы показать дворянамъ, что правительство не рановременно подняло вопросъ объ освобожденіи крестьянъ, существуетъ только одинъ способъ — гласность“.

Такимъ образомъ, предполагаемый журналъ долженъ былъ имѣть цѣлью растолкованіе дворянамъ цѣлесообразности и своевременности предстоящей реформы. Но авторъ забывалъ, что дѣло, вѣдь, не въ одномъ дворянствѣ, что не мѣшало бы обратиться къ землѣ, къ міру — народу. Впрочемъ, Тургеневъ раздѣлялъ здѣсь прадѣдовскую ошибку: со временъ Посошкова не вспоминали у насъ о томъ, что Богъ не обидѣлъ разсудкомъ и простого мужика, что онъ лучше всѣхъ знаетъ свои нужды, а тутъ дѣло именно въ *его* нуждахъ. Но недостатки публицистическаго произведенія съ избыткомъ восполнены въ томъ рядѣ художественныхъ очерковъ, который называется „Записками Охотника“. Здѣсь мы становимся лицомъ къ лицу съ самимъ народомъ. Передъ нами проходитъ цѣлый рядъ типовъ, выхваченныхъ изъ крестьянской жизни. Тургеневъ является здѣсь безошаднымъ прокуро-

ромъ крѣпостного права, вдохновеннымъ адвокатомъ народныхъ нуждъ и — не скажу панегиристомъ, это было бы невѣрно, — а смѣлымъ провозвѣстникомъ народныхъ доблестей. Въ этомъ его незабвенная гражданская заслуга! Онъ представилъ намъ въ лицѣ нашихъ крестьянъ *людей* въ истинномъ смыслѣ слова. Въ каждомъ выведенномъ имъ типѣ — живая человѣческая душа, сознающая, чувствующая, мыслящая. Грязь, накопившаяся на народномъ тѣлѣ отъ крѣпостного права, не скрыта, а выставлена на показъ, но при этомъ такъ и сквозитъ неизглаженная красота народной души! Конечно, Тургеневъ имѣлъ тутъ предшественника въ своемъ учителѣ — Пушкинѣ, но въ этомъ онъ опередилъ учителя.

Между тѣмъ, нѣкоторые поклонники Тургенева, ставшіе съ извѣстныхъ поръ и поклонниками Пушкина, слишкомъ часто еще готовы видѣть въ народѣ то, что называютъ „святою скотиной“. Они забываютъ, что совсѣмъ не такъ отнесся къ народу Тургеневъ въ „Запискахъ Охотника“. Трудно было пожелать лучшей защитительной рѣчи въ лицахъ. Здѣсь ни къ чему нельзя было придратъся. Нельзя было попрекнуть автора въ дѣланности, предвзятости, какъ когда-то упрекали Радищева. Дворяне въ рассказахъ являли изъ себя вовсе не изверговъ или злодѣевъ; Тургеневъ и не думалъ нагромождать только „ужасы“ крѣпостной поры, — онъ выставилъ ея ординарную, заурядную сторону, но читателю тѣмъ болѣе лишь приходится удивляться, какъ при *такой заурядности* уцѣлѣла въ народѣ душа, и невольно возникаетъ вопросъ, до какого высокаго подъема она могла-бы достигнуть при иныхъ условіяхъ?

Къ цѣлой серіи рассказовъ изъ крестьянской жизни прибавилось въ послѣдствіи еще нѣсколько; одинъ изъ нихъ, — едва ли не самый чудный изъ всѣхъ, способный уже самъ по себѣ обезсмертить имя Тургенева, если бы онъ даже ничего больше на написалъ. Я разумѣю „Живыя мощи“.

Дѣло, какъ извѣстно, тутъ въ томъ, что молодая крестьянка вдругъ слегла и уже всю жизнь не могла подняться съ одра болѣзни. Была она дѣвушкой красивой, веселой, первой затѣйницей на все село, а теперь лежитъ себѣ „живыми мощами“. „Привыкла, говоритъ она, обтерпѣлась — ничего; инымъ еще хуже бываетъ“... Въ своей простотѣ

она, конечно, не может сама объяснить, *почему* ей лучше. Казалось бы, какъ бѣденъ долженъ быть внутренній міръ этой крестьянки, которая хотя и училась когда-то грамотѣ, но теперь и книгъ-то почти не имѣетъ (развѣ иногда дастъ священникъ). Но оказывается, что ея внутренній міръ широко и глубоко развивался помимо книгъ. Даже то, что вынесено ею изъ молитвъ, крайне скудно. „Да и на что я стану Господу Богу наскучать?“ говоритъ она. Послалъ Онъ мнѣ крестъ, — значитъ меня Онъ любитъ“. Это смиреніе, это умаленіе себя доведено до того, что, когда передъ смертью ей въ воображеніи чудится звонъ колоколовъ, отъ далекой церкви, она говоритъ, что звонъ идетъ не отъ церкви, а сверху“. „Вѣроятно, она не посмѣла сказать — съ неба“ — замѣчаетъ Тургеневъ. Она ставитъ себя почти ни во что среди этого безпредѣльнаго міра, который чутко сознаетъ вокругъ себя, сознаетъ въ безчисленномъ множествѣ жизней, ее окружающихъ.

Иногда ее навѣщаютъ: то дѣвушка изъ деревни забѣжитъ провѣдать, что творится у нихъ, то странница забредетъ, расскажетъ про Кіевъ, про Іерусалимъ, про то, что терпятъ христіане на востокѣ, про безчисленныя человѣческія бѣды, разсыянные по матери сырой землѣ. Когда охотникъ удивлялся ея терпѣнію, она отвѣчала: „Вотъ Симеона Столпника терпѣніе было точно великое: 30 лѣтъ на столбу простоялъ!... А вотъ еще мнѣ сказывалъ одинъ начетникъ: была нѣкая страна, и ту страну агаряне завоевали... и что ни дѣлалъ жители, освободить себя никакъ не могли. И проявилась тутъ между тѣми жителями святая дѣвственница; взяла она мечъ великій, латы на себя возложила двухпудовыя, пошла на агарянъ и всѣхъ ихъ прогнала за море. И агаряне взяли ее и сожгли, а народъ съ той поры навсегда освободился. Вотъ это подвигъ, — а я что?“ Дивится охотникъ, какъ запала въ эту глушь чужеземная повѣсть, но еще дивнѣе, конечно, какъ воспринята она и пересоздана этимъ живымъ мертвецомъ, въ устахъ котораго самая смерть Орлеанской дѣвы обратилась въ излюбленный ею и вѣнчающій ея дѣло подвигъ. Она окончательно умалетъ себя передъ этой невѣдомой ей по имени дѣвой и такъ, сказать, окончательно заражается отъ нея жаждою подвига.

Но если народъ такъ хорошъ, то отчего бы не жить

съ нимъ вѣчно, не любоваться всю жизнь его душевной красотой? Отвѣтъ, конечно, возможный, что народъ-то *вездѣ* хорошъ въ своихъ основныхъ чертахъ, хотя и много на немъ внѣшней грязи, и хорошъ именно потому, что остался чуждъ *привилегии*, которой глубокой развращающій отпечатокъ не сглаживается никакою цивилизаціею. Говорятъ, что Жоржъ Зандъ восхищалась „Живыми мощами“. Тургеневъ могъ точно также, конечно, восхищаться ея народными типами, могъ и въ натурѣ восхищаться народомъ во Франціи. Но къ чему же было уходить къ народу за море, если онъ такъ хорошъ и у себя дома? Да вѣдь Тургеневъ ушелъ за море не къ народу, а къ интеллигенціи, т.-е. къ тому, что именно и отравлено привилегіею, но зато обладаетъ такою богатой культурой. Мы вовсе не собираемся свести все сказанное на попрекъ покойному. Намъ, напротивъ, припоминаются слова Пушкина о другомъ совершенно лицѣ:

Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ урокомъ
Его... тоскующую тѣнь!

Мы позволили себѣ замѣнить словомъ „тоскующая“ слово „развѣнчанная“. Тѣнь Тургенева *никогда не будетъ развѣнчана*, но я думаю, что она не можетъ не *тосковать*. Не будемъ тенденціозно истолковывать то, что онъ въ 1852 году за статью о Гоголѣ посидѣлъ подъ арестомъ и былъ высланъ въ деревню. Это, конечно, не имѣло вліянія на его удаленіе изъ Россіи. При Государѣ-освободителѣ онъ смѣло могъ жить на родинѣ и писать безпрепятственно. Чисто частныя, сердечныя отношенія, своего рода узелъ такихъ отношеній, распутать который бываетъ иногда не по силамъ и людямъ съ могучей волей, вотъ что увлекало нашего поэта на чужбину. Входить въ объясненія этихъ обстоятельствъ мы пока не имѣемъ права. Конечно, тутъ помогло и отвлеченное тяготѣніе къ „странѣ святыхъ чудесъ“ (какъ величается западъ у самаго Хомякова). Но какъ бы то ни было, а сдается, что это внесло разладъ въ душу Тургенева, что съ тѣхъ поръ зазвучала трагическая нота въ его жизни. Это видно даже изъ тѣхъ, такъ сказать, извинительныхъ объясненій, которыми приводилъ онъ по поводу „Записокъ Охотника“ (такъ

посмотрѣлъ на положеніе Тургенева и иностранецъ — Юліанъ Шмидтъ). „Я не думаю, — говорилъ Тургеневъ, — чтобы мое западничество лишило меня всякаго сочувствія къ русской жизни, всякаго пониманія ея особенностей и нуждъ. „Записки Охотника“ были написаны мною за границей; нѣкоторыя изъ нихъ въ тяжелыя минуты раздумья о томъ, вернуться ли мнѣ на родину, или нѣтъ? Мнѣ могутъ возразить, что та частичка русскаго духа, которая въ нихъ замѣчается, уцѣлѣла не по милости моихъ западныхъ убѣжденій, но несмотря на эти убѣжденія и помимо моей воли. Трудно спорить о подобномъ предметѣ; знаю только, что я, конечно, не написалъ бы „Записокъ Охотника“, если бы остался въ Россіи“. Авторъ воспоминаній о Тургеневѣ въ „Daily News“ увѣряетъ, будто Тургеневъ ему говорилъ: „вѣроятно, что если бы М. Эджворсъ не написала о бѣдныхъ Ирландцахъ, то я бы не нашелъ образчика литературной формы для своихъ впечатлѣній, вынесенныхъ мною изъ наблюденія аналогическаго быта въ Россіи“. Но вѣдь тотъ же Тургеневъ въ тѣхъ же своихъ воспоминаніяхъ говоритъ: „Все къ лучшему! Пребываніе подъ арестомъ, а потомъ въ деревнѣ, принесло мнѣ несомнѣнную пользу: оно сблизило меня съ такими сторонами русскаго быта, которыя при обыкновенномъ ходѣ вещей, вѣроятно, ускользнули бы отъ моего вниманія“.

И всѣ его послѣдующія произведенія могли явиться только вслѣдствіе непосредственнаго соприкосновенія съ родной землей, которую онъ все-таки же посѣщалъ, за которою внимательно слѣдилъ издали. Чутье художника-гражданина нерѣдко заставляло его воспроизводить то, что въ силу своихъ отвлеченныхъ убѣжденій, онъ долженъ бы былъ отрицать. Возьмемъ ли Рудина, — развѣ это не обличеніе въ лицахъ нашего безпочвеннаго, не органически развившагося образованія? Возьмемъ ли „Дворянское гнѣздо“, — тутъ въ первыхъ главахъ цѣлая исторія нашего *просвѣтительнаго* вѣка, исторія, какой до сихъ поръ не даютъ намъ историки. Тутъ весь, какъ на ладони, нашъ XVIII вѣкъ, со всею его мишурою, со всею его бесплодностью для народнаго блага. Но тутъ же, въ лицѣ Лизы, этой недаромъ, конечно, прославленной Лизы, Тургеневъ указалъ на тлетворность болѣе старой прививки изчужа къ нашей исторической жизни. Лиза —

это едва распутившаяся роза, благоуханіе которой пропадает для Божьяго міра, потому что на нее вдругъ пахнуло „мертвымъ духомъ“ съ византійскаго кладбища.

Въ „Наканунѣ“, опять-таки помимо своихъ собственныхъ взглядовъ, Тургеневъ какъ бы заранѣе угадалъ — предсказалъ то стремленіе на помощь — къ совѣмъ его не занимавшему славянскому міру, которое создало у насъ потомъ на самомъ дѣлѣ цѣлое множество *Еленъ*, ушедшихъ къ Болгарамъ уже безъ Инсаровыхъ. А „Отцы и Дѣти“! По поводу этого романа Тургеневъ намъ пояснялъ: „Я бралъ морскія ванны въ Вентнорѣ (на о. Уайтѣ) — дѣло было въ августѣ 1860 г., когда мнѣ пришла въ голову первая мысль „Отцовъ и Дѣтей“. Въ основаніе главной фигуры Базарова легла одна поразившая меня личность молодого провинціального врача; онъ умеръ не задолго до 1860 г. Въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ воплотилось — на мои глаза — то, едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе нигилизма... Ни въ одномъ произведеніи нашей литературы я даже намека не встрѣчалъ на то, что мнѣ чудилось повсюду“. Дѣло въ томъ, что и на англійскомъ островѣ онъ жилъ душою въ Россіи — чуткимъ окомъ художника-гражданина слѣдилъ за нею. И сколько бы озлобленные нападки на Базарова ни вызвали у него потомъ пояснительныхъ извиненій на этотъ типъ, онъ несокрушимо изваявъ художникомъ, какъ новый видъ того же, противнаго Базарову *рудинства* — какъ новый видъ той же *безпочвенности*, при которой мужикъ нашъ остается для Базарова „таинственнымъ незнакомцемъ“, а самъ Базаровъ остается для народа „чѣмъ то въ родѣ шута гороховаго“.

Въ „Дымѣ“, слѣдующемъ крупномъ произведеніи Тургенева, выставлена другая сторона „нигилизма“. Эту повѣсть онъ могъ, конечно, написать и не заглядывая въ Россію, а наблюдая въ Баденъ-Баденѣ за тѣми болѣе или менѣе крупными особами, которыя тогда фрондировали изъ-за отчужденности крѣпостного права и которыхъ Ю. О. Самаринъ считалъ представителями „генеральскаго нигилизма“. Наконецъ, въ послѣднемъ художественно-гражданскомъ произведеніи Тургенева — въ „Нови“ — ему пришлось имѣть дѣло съ переходнымъ типомъ, типомъ, явившимся на смѣну Базарову въ видѣ своеобразно возродившагося романтизма съ его са-

моотверженными, но безплодными порывами. Вѣрно подмѣтилъ Тургеневъ появленіе этого типа, уже не высокоумно холоднаго въ мужику, какъ базаровщина, а страстно порывающагося на грудь къ этому самому мужику, съ своей стороны остающемуся недовѣрчивымъ и отталкивающимъ. Но Тургеневъ не выяснилъ дѣла окончательно, не проникъ въ самую *душу* этого, опять народившагося, молодого поколѣнія. А заключается причина въ томъ, что авторъ былъ уже слишкомъ далекъ отъ родной почвы. „Одного таланта недостаточно. Нужно постоянное общеніе съ средой, которую берешься воспроизводить“, — заявилъ самъ Тургеневъ. И онъ же сказалъ: „Литературные ветераны, подобно военнымъ, почти всегда инвалиды, и благо тѣмъ, которые во время умѣютъ сами подать въ отставку“. Какъ грустны эти слова, сказанныя, конечно, *про себя!* А вѣдь тамъ, на Западѣ, люди не считаютъ себя ветеранами, не подаютъ въ отставку, когда имъ перевалить за шестьдесятъ! Они сильны тѣмъ, что постоянно набираются новыхъ силъ отъ родной своей почвы. Если же посмотрѣть въ самомъ дѣлѣ на произведенія, писанныя послѣ „Нови“, то невольно увидишь тутъ же перо ветерана. Можетъ быть, это обычное свойство моей природы, что я не могу понять и оцѣнить такіа отвлеченно-художественныя вещи, какъ „Пѣснь торжествующей любви“, какъ „Клара Миличъ“. Но всякій, я думаю, согласится, что эти произведенія — все же не то, что прежнія.

Блестящій періодъ заканчивается если еще не „Дымомъ“, то „Новью“, а тамъ... тамъ слышится утомленіе — слѣдствіе той давящей тоски, которой Тургеневъ не могъ не носить въ себѣ, все болѣе и болѣе удаляясь отъ пониманія своей родины. „Странное дѣло! — говоритъ онъ: — Бѣлинскій изнывалъ за границей отъ скуки, его такъ и тянуло назадъ въ Россію. Ужъ очень онъ былъ русскій человѣкъ, и внѣ Россіи зампралъ какъ рыба на воздухѣ!“.

И такая участь, я думаю, выпадаетъ на долю многихъ, хотя бы они и не рѣшались громко говорить съ Некрасовымъ:

Какъ ни тепло чужое море,
Какъ ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!

Всѣ наши дѣятели за предѣлами родной земли, одни явно, сознательно, другіе затаенно отъ другихъ и даже отъ самихъ себя, тосковали. Далеко не счастлива, думается, была также и жизнь въ „прекрасномъ далекѣ“ Ивана Сергѣевича Тургенева. Послѣднее время онъ часто помышлялъ о Россіи, рвался на родину.

„Если бы невозможное совершилось, и я бы выздоровѣлъ, то, конечно, я бы ни одной минуты лишней здѣсь не остался“ писалъ онъ д-ру Бертенсону. — „Меня не только *тянетъ*, меня *рветъ* въ Россію, — да ты все-таки сиди“ — вырвалось у него въ другомъ письмѣ къ тому же лицу. Чувствуя близкую кончину, онъ пожелалъ хотя мертвымъ возвратиться къ намъ. И родная земля его приняла съ любовью.

Миллеръ.

Тургеневъ, какъ писатель и человѣкъ.

Тургеневъ былъ любимцемъ публики въ продолженіе двадцати-пяти лѣтъ. Двадцать-пять лѣтъ онъ считался первымъ русскимъ писателемъ, прямымъ и достойнымъ преемникомъ Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Никто изъ его современниковъ не имѣлъ такой свѣтлой, общественной и широкой славы. Чѣмъ же объясняется это первенство, это долгое и живое обаяніе?

Художественнымъ мастерствомъ, отвѣчаютъ тѣ цѣнители, которыхъ можно назвать въ одно время и хвалителями и хулителями Тургенева. Но это вполнѣ невѣрно. По художественности, то-есть по жизненности, яркости и глубинѣ образовъ, Тургеневъ уступить не только Л. Н. Толстому, не только Гончарову или Островскому, но и Достоевскому и Писемскому. Настоящаго художества, то-есть творчества въ полномъ смыслѣ этого слова, мало у Тургенева. Его фигуры, обыкновенно, представляютъ довольно блѣдныя очерки; черты ихъ вѣрны, проведены осторожно, изящно; композиція проста и опрятна; но выпуклости, плоти, душевной глубины нѣтъ въ этихъ *аквареляхъ*, какъ остроумно назвалъ кто-то писанія Тургенева. Во множествѣ случаевъ, даже просто намѣчено нѣсколько отдѣльныхъ штриховъ, и *нѣтъ* полного рисунка, тогда какъ у настоящаго творческаго

писателя фигура всегда является разомъ во всей полнотѣ жизни, и съ десяти строкъ читатель чувствуетъ, съ какимъ существомъ онъ встрѣтился. Было бы очень жаль, если бы пониманіе художества у насъ стояло такъ низко, что мы Тургенева признавали бы за великаго художника и серьезно сравнивали бы его произведенія съ Пушкинымъ или Гоголемъ. Но, несмотря на то, сочиненія Тургенева въ продолженіе двадцати-пяти лѣтъ представляли для публики такую занимательность, такую прелесть, что онъ бралъ верхъ надъ самыми даровитыми изъ своихъ совмѣстниковъ по литературѣ. Часто указываютъ на то, что онъ всегда держался современныхъ вопросовъ, выводилъ героевъ дня. Но кто же не пытался дѣлать то же самое? Сколько было усилій схватить самую современную современность! Давно уже художество заражено тою идеею, которою теперь все заражено, — идеею политическою; давно уже вѣра въ прогрессъ, въ развитіе, почти вытѣснила вѣру въ вѣчныя истины и замѣнила собою самое исканіе этихъ истинъ. Тургеневъ вовсе не составляетъ исключенія въ этой общей погони за современностью, въ стремленіи отзываться на вопросы минуты. Его отличительная черта состоитъ не въ выборѣ предметовъ, а въ томъ, *какъ* онъ относится къ предметамъ. Это отношеніе было полное *подчиненіе*, — подчиненіе искреннее, естественное, вытекающее не изъ расчета или увлеченія, а прямо изъ мягкой натуры писателя. Тургеневъ шелъ постоянно рядомъ и вмѣстѣ съ самою большою толпою публики, съ главною массою нашихъ образованныхъ людей. Онъ не хотѣлъ отдѣляться отъ этой массы (то-есть и не могъ отдѣляться), онъ ни въ чемъ не расходился съ ея вкусами и мыслями, и потому никогда не противорѣчилъ этимъ вкусамъ и мыслямъ. Такого отношенія не выдерживалъ и не могъ выдерживать никто изъ другихъ писателей. Всякій изъ нихъ, въ томъ или другомъ пунктѣ, становился въ сторонѣ отъ толпы, бралъ себѣ другія точки зрѣнія, подымался на высоты, съ которыхъ объективнѣе и крупнѣе являлась картина. Одинъ Тургеневъ не дѣлалъ ничего подобнаго.

Возьмемъ дѣло съ внѣшней стороны, самой ясной. Возьмемъ языкъ. Сверстники Тургенева, нимало не задумываясь, писали такимъ языкомъ, какимъ каждому вздумается. Оригинальность языка считалась достоинствомъ, заслугою. Одинъ

Тургеневъ писалъ общелитературнымъ языкомъ, избѣгая всякой шероховатости и особенности. Онъ писалъ языкомъ образованнаго русскаго общества и, естественно, былъ за то милъ этому обществу. Точно такъ — одинъ Тургеневъ соблюдалъ то изящество, ту граціозность, къ которой стремится нашъ образованный классъ. Вы не найдете у него грубыхъ образовъ, дикихъ нравовъ, рѣзкихъ выраженій. Все опрятно и умѣренно; скорѣе встрѣтится жеманство, чѣмъ отступленіе отъ приличія. Но и это лишь внѣшность. По внутреннему содержанію своихъ произведеній Тургеневъ долженъ былъ имѣть главную и несравненную привлекательность для нашихъ образованныхъ людей. Кого онъ выводилъ на сцену? Онъ изображалъ представителей нашей образованности, „современныхъ героев“, и онъ одинъ умѣлъ это дѣлать, потому что стоялъ наравнѣ съ этими героями, нимало не думалъ отъ нихъ отдѣляться. Ни у какого другого писателя русскій образованный человѣкъ не встрѣчалъ себя самого, или людей, стоящихъ съ нимъ на одной доскѣ, ягодъ съ того же поля. И *лишніе люди*, и Рудины, и Базаровы, Литвиновы и т. д., все это — люди, представляющіе нашу образованность. Если иные изъ нихъ недовольно типичны, то зато весь кругъ ихъ понятій, нравовъ и интересовъ былъ именно кругъ передового слоя, та самая атмосфера, въ которой вращались наши образованные люди.

Подумайте, какъ это должно было привлекать и занимать! Послѣ великаго переворота, произведеннаго Гоголемъ, наша литература потеряла вѣру въ *прекраснаго человѣка*; она оторвалась отъ общества и смотрѣла на все съ идеальной высоты, съ которой реальныя явленія или обнаруживаютъ свое безобразіе, или составляютъ типы живые и крѣпкіе, но объективируемые художествомъ холодно и, такъ сказать, высокоумѣрно. Въ одномъ Тургеневѣ не было этого высокоумѣрія. Онъ одинъ продолжалъ старыя преданія. Какъ Пушкинъ писалъ Онѣгина, Лермонтовъ Печорина, такъ и Тургеневъ писалъ своихъ героевъ, то-есть почти переносясь въ нихъ душою, не пытаясь даже выходить въ другія сферы мысли, въ которыя подъ конецъ подымались его предшественники.

Рисую задачи и стремленія нашего образованнаго класса, *возводя въ перлъ созданія его радости и горести*, Тургеневъ

никогда не впадалъ въ противорѣчіе съ духомъ того общественнаго слоя, которому служилъ. Если бы онъ увлекся религіозностью или патріотизмомъ, или славянствомъ, или задался бы чисто нравственными стремленіями, то онъ сталъ бы въ разрѣзъ съ общепринятыми понятіями, съ ходячими вкусами. Русскій образованный слой, заимствуя свое просвѣщеніе отъ Европы, естественно расположенъ не придавать вѣса различію народности, расположенъ къ общимъ мѣстамъ, къ неопредѣленности или, если позволительно такъ выразиться, ко *всеядности* мнѣній и вкусовъ, и всегда инстинктивно уклоняется отъ строгой и рѣшительной постановки вопросовъ ¹⁾. Вотъ гдѣ источникъ и того единственнаго случая, когда Тургеневъ попалъ въ разладъ съ западной литературой. Нигилисты, въ жару своей проповѣди и первыхъ успѣховъ, вознегодовали на него, вѣрно понявъ, что онъ отъ нихъ отдѣлился. Эта единственная неудача на литературномъ поприщѣ больно поразила Тургенева. Но грубая и фанатическая односторонность была рѣшительно противна всѣмъ его умственнымъ и эстетическимъ привычкамъ; хотя онъ готовъ былъ въ этомъ случаѣ даже насиловать себя, онъ не успѣлъ найти твердой почвы для примиренія, и остался неопредѣленнымъ, общимъ западникомъ. Неудачная „Новь“ представляетъ лишь отвлеченное и холодное преклоненіе передъ нигилизмомъ.

Таковъ былъ Тургеневъ. Съ удивительною мягкостью, съ женственной отзывчивостью онъ подчинился всѣмъ лучшимъ стремленіямъ, господствовавшимъ въ нашемъ просвѣщеніи. Поэтому онъ былъ самымъ чистымъ, полнымъ и искреннимъ представителемъ этого просвѣщенія. Въ немъ не было ничего оригинальнаго, никакой упорной послѣдовательности, никакой глубокой задачи; но при этомъ было

¹⁾ Неопредѣленность мнѣній Тургенева видна всего болѣе изъ той важности, которую онъ придавалъ своему протесту противъ крѣпостного права. Роль такого протеста сыграли, какъ извѣстно, „Записки охотника“, — не станемъ разбирать, основательно или ошибочно, намѣренно или случайно имъ досталась эта роль. Интересно то, что Тургеневъ очень крѣпко держался за такую свою услугу прогрессу; между тѣмъ, противъ крѣпостного права стояли лучшие люди всякаго рода мнѣній, никакъ не одни западники. Явный знакъ скудности катихизиса людей, мечтающихъ, что они черпаютъ изъ самой сокровищницы просвѣщенія.

столько ума, образованности, вкуса и художественного таланта, сколько может совмѣститься съ настроеніемъ и умственной жизнью нашихъ просвѣщенныхъ людей. Какъ же было имъ не любить его? Какъ не любить писателя, до такой степени имъ сочувственного и однороднаго? Поэтому понятно, что никакой другой писатель не могъ имѣть столько поклонниковъ; поэтому странно было бы винить все это множество въ какомъ-нибудь преувеличеніи, въ какихъ-нибудь заднихъ мысляхъ. Развѣ они не идутъ по главному руслу нашего просвѣщенія, нашего умственного движенія? Развѣ до сихъ поръ не съ Запада почерпается нами образование? Большинство у насъ слѣдуетъ вкусу, образу мыслей и примѣру образованныхъ странъ, и потому Тургеневъ, какъ самый европейскій изъ русскихъ писателей, долженъ пользоваться наибольшими симпатіями этого большинства. Развѣ есть другое такое же широкое русло? Развѣ можно указать другое направленіе, столь же распространенное, столь же правильно вытекающее изъ положенія вещей, столь же неизбежно увлекательное?

Нельзя упрекать людей за то, что они не обладаютъ самостоятельностью въ мысляхъ и твердостью въ чувствахъ. По существу дѣла, людямъ всегда нуженъ авторитетъ, нужна опора и руководство. Если нѣтъ вполне достойной того опоры, они хватаются за менѣе достойную, лишь бы она была близка и ясна. Нужно имѣть снисхожденіе къ жаждущимъ авторитета, а плакать развѣ о томъ, что мы не успѣли до сихъ поръ создать для нихъ авторитетъ болѣе высокій и твердый, чѣмъ тотъ, за который они хватаются.

Очень поразительно и характерно для Тургенева, что онъ до конца такъ и не вернулся духовно къ своей родинѣ. Онъ очевидно искалъ, но такъ и не нашелъ пути къ этому возвращенію. Внутреннія силы, которыми живетъ Россія, оставались ему чуждыми, и онъ съ какимъ-то отчаяніемъ хватался за одно лишь понятное ему проявленіе народной души — за нашъ языкъ. Восхищеніе отъ русскаго языка не могло мѣшать никакому западничеству, и Тургеневъ настойчиво предавался этому восхищенію, считая, конечно, и себя самого большимъ мастеромъ языка. Но намъ кажется, есть ~~иные~~ болѣе значительныя черты, въ которыхъ сказывалась въ Тургеневѣ родственная любовь къ духовной жизни Россіи.

Его симпатіи въ отношеніи къ людямъ были чисто русскія. Простота, хрустальная ясность души, золотое сердце — вотъ что добрый и мягкій Тургеневъ ставитъ, очевидно, выше всякихъ другихъ достоинствъ, на чемъ любовно останавливается, какіе бы высокоумные герои не играли главную роль въ разсказѣ. Иностранцы всегда изображаются если не съ враждебностью, то съ тѣмъ отчужденіемъ, которое такъ трудно побѣдимо въ русскомъ человѣкѣ, которое очень часто составляетъ нашъ недостатокъ, но которое въ чистой формѣ есть черта самаго тонкаго патріотизма. Религіозная жизнь, такъ глубоко проникающая духъ нашего народа, отразилась у Тургенева въ нѣсколькихъ разсказахъ, имѣющихъ и типичность и прелесть, хотя отношеніе автора къ предмету иногда переходитъ въ простое изумленіе.

Вообще, Тургеневъ до конца любовно обращался къ русской природѣ, къ русскому быту, къ тѣмъ преданіямъ, случаямъ, нравамъ, которыми окружена была его юность. Позволю себѣ сослаться на нѣчто личное: въ разсказахъ Тургенева, особенно въ небольшихъ, безпритязательныхъ, меня часто поражали мелкія частности, живо напоминавшія что-то давно знакомое, слышанное или видѣнное въ дѣтствѣ. Мнѣ трудно было бы точно и прямо указать эти черты, но онѣ вдругъ переносили меня въ среднюю полосу Россіи, въ атмосферу такихъ привычекъ, такого склада жизни, который свойственъ только этой мѣстности. Еще сильнѣе дѣйствовали на меня въ этомъ отношеніи разсказы г-жи Кохановской. Это сохраненіе въ душѣ мѣстной умственной и бытовой, пожалуй, исторической атмосферы возможно только у писателей, обладающихъ живою *памятью сердца*, неизмѣнно любящихъ то, что ихъ нѣкогда окружало, чѣмъ питалась ихъ душа.

При всемъ этомъ, Тургенева нельзя назвать писателемъ, выражающимъ духъ своего народа или нѣкоторыя стороны этого духа. Тургеневъ есть пѣвецъ только нашего культурнаго слоя, только послѣднихъ формацій этого слоя. Если бы въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ не было неподобнаго образа Татьяны, не было той черты смиренія, скорби и чистоты, которая составляетъ смыслъ этой поэмы, то приключенія самого Онѣгина едва ли бы имѣли для насъ особенно высокій интересъ. Тургеневъ повторилъ, отчасти, этотъ мотивъ въ своей

Лизѣ, въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, — повторилъ слабѣе и лишь въ очеркѣ; но „Дворянское гнѣздо“ именно поэтому, по общей широтѣ точки зрѣнія, и остается лучшимъ его произведеніемъ. Но въ другихъ разсказахъ, несмотря на то, что и въ нихъ фигуры дѣвушекъ изображены съ тонкимъ пониманіемъ (эти фигуры нужно признать, вѣроятно, лучшею стороною его писаній), интересъ движущихъ мотивовъ, источникъ коллизій и контрастовъ, вообще говоря, не имѣетъ большой глубины и серіозности или, по крайней мѣрѣ, не захватывается авторомъ во всей глубинѣ. Вѣчные разсказы о томъ, какъ молодой человѣкъ хотѣлъ жениться и почему-то оплошалъ, былъ отвергнутъ или же самъ измѣнилъ невѣстѣ, — эти разсказы не возведены на ту высоту, которой можно желать отъ поэтического озаренія жизни. Самое лучшее въ нихъ, конечно, — встрѣчающееся иногда яркое изображеніе слѣпой страсти, покоряющей героевъ противъ ихъ воли. Другія пружины состоятъ въ мелкихъ чувствахъ самолюбія, тщеславія, упадка духа, въ слабыхъ зачаткахъ любви и вражды, но не въ развитыхъ до конца чувствахъ. Тургеневъ знаменитъ своими изображеніями *слабыхъ* людей, но едва ли гдѣ достигаетъ вполне яркаго ихъ освѣщенія. Можетъ быть, лучшее въ этомъ отношеніи представляютъ тѣ жалобные стоны, которые онъ влагаетъ инымъ изъ этихъ героевъ, вообще та струна меланхоліи, которая звучитъ у него довольно часто и не даромъ замѣчена иностранцами. Этотъ полубольной, жидкій и шаткій міръ, эти дѣтища и герои нашего культурнаго слоя невольно сами обличаютъ свою несостоятельность. Они не стоятъ на твердой землѣ, они рѣютъ по воздуху, они похожи на *дымъ*, какъ выразился одинъ изъ нихъ въ минуту тоски. Брандесъ очень хорошо понялъ этотъ смыслъ Тургеневскихъ писаній и излагаетъ его такъ: „Тургеневъ глубоко убѣжденъ, что въ Россіи все какъ-то идетъ вкривь и вкосъ; никакая любовная исторія не кажется ему чисто русской, если она не имѣетъ несчастнаго исхода, благодаря непостоянству мужчины или безсердечности женщины; никакое стремленіе не кажется ему чисто русскимъ, если оно не превышаетъ силъ людей или не погибаетъ, встрѣтивъ равнодушіе. Въ его глазахъ современная Россія — эта страна, гдѣ все не удается, страна *всеобщихъ* крушеній“.

„Онъ былъ патріотъ, грустящій о своемъ отечествѣ и сомнѣвающійся въ его судьбахъ. Онъ не раздѣлялъ энтузіазма своихъ болѣе наивныхъ и менѣе знающихъ соотечественниковъ къ русскому народу. Онъ находилъ, что у него (т.-е. у этого народа) нѣтъ великаго прошлаго. Когда авторъ этихъ строкъ стоялъ однажды на римскомъ форумѣ, ему пришла въ голову мысль, что тамъ у каждаго фута земли есть болѣе богатая исторія, чѣмъ у всей русской имперіи. Хотя и русскій человѣкъ, Тургеневъ думалъ почти такъ же. Онъ описываетъ гдѣ-то печаль, охватившую его на всемірной выставкѣ, при видѣ ничтожности вклада Россіи въ общую сумму промышленныхъ изобрѣтеній человѣчества“.

Такіе взгляды и мнѣнія, конечно, очень по душѣ иностранцамъ, и дѣлаютъ изъ Тургенева одного изъ самыхъ ясныхъ представителей западничества. Ослѣпленіе почти невѣроятное, но оно существовало и существуетъ, къ нашему стыду и поученію. Онъ не вѣрилъ во внутреннюю силу Россіи и думалъ, что это страшно-громадное тѣло выросло безъ души, не развивалось, а какъ-то случайно скопилось. Это море народа, этотъ океанъ людей, глубоко и спокойно растущій, будто бы не имѣетъ исторіи, будто бы еще не живетъ могущественною нравственною жизнью, а только еще ищетъ себѣ души, есть только безформенная стихія, которую долженъ со временемъ оживить духъ, откуда-то имѣющій явиться. Есть, однако, иностранцы, которые понимаютъ насъ болѣе правильно; такъ Юліанъ Шмидтъ, какъ нѣмецъ, которому вполне привычны философскіе приемы, дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія. Указавъ сперва на ужасы нигилизма, онъ затѣмъ обобщаетъ свои разсужденія и, съ тою проницательностью, въ которой, можетъ-быть, участвуетъ страхъ и ненависть, пишетъ: „Русскій народъ, какъ это теперь доказано, способенъ отдаться великой страсти. Если эта страсть возвысится на степень культа, — чего-то въ родѣ религіознаго иступленія, — то она можетъ сдѣлаться опасною для Европы. Здѣсь, по-моему, Тургеневу, какъ и прочимъ европейски-образованнымъ русскимъ, недостаетъ надлежащаго общенія съ душою народа. Въ народѣ словно дремлютъ силы, совершенно чуждыя европейской цивилизаціи и непонятныя ей. Тургеневъ въ своихъ разсказахъ неоднократно описываетъ странные феномены русской религіи: какъ молодая

нѣжная барышня скитається по деревнямъ, прислуживая кородивому; какъ сынъ попа, человѣкъ неглупый и способный, страдаетъ отъ дьявольскаго навожденія... Писатель повѣствуетъ все это съ чарующимъ реализмомъ, но замѣтно, что ему самому становится страшно“.

Затѣмъ Ю. Шмидтъ старается показать, почему европейцы, будто бы, ближе стоятъ къ религіи и лучше могутъ ее понимать, чѣмъ образованные русскіе. Причина состоитъ въ самомъ ходѣ нѣмецкой образованности, въ Лейбницѣ, Лессингѣ, Кантѣ Гердерѣ и т. д., которые не давали произойти полному раздвоенію въ духовной жизни Германіи. У русскихъ не то. „Русскій идеалистъ“, говоритъ критикъ, „ничего не знаетъ о религіи народа, потому что она никогда не преподавалась ему въ просвѣщенной формѣ; идеализмъ, заимствованный имъ изъ-за границы, не вполне усваивается имъ, не растворяется въ его крови, ибо онъ не самъ выработалъ его. Поэтому, образованный русскій, почерпавшій свои идеалы изъ чужбины, находится въ извѣстной изолированности. Быть можетъ, это смѣлое мнѣніе, но я нахожу связь между этой полной отчужденностью отъ всякихъ религіозныхъ преданій и безнадежной меланхоліей, которая проявляется у нашего поэта внезапно тамъ, гдѣ ее менѣе всего ожидаешь; она придаетъ его картинамъ своеобразную прелесть, но она поражаетъ насъ: какъ могъ такъ чувствовать писатель, обладавшій такимъ свободнымъ, такимъ богатымъ, такимъ любовнымъ пониманіемъ всего прекраснаго?“

Для Ю. Шмидта, какъ для протестанта и питомца высокой нѣмецкой культуры, очевидно, наша религія и душа нашего народа суть нѣчто хотя и могущественное, но дикое и темное; тѣмъ не менѣе, главные черты Тургеневскаго настроенія замѣчены имъ вѣрно и поставлены правильно. Нельзя не чувствовать себя потеряннымъ, оторвавшись отъ родной почвы и не найдя для себя другой твердой опоры. И таковъ былъ Тургеневъ, слишкомъ слабый для того, чтобы выйти изъ того неправильнаго положенія, въ которое ставитъ насъ наше отношеніе къ Европѣ.

Западники должны вполне гордиться Тургеневымъ и съ великимъ почетомъ вписать его имя въ исторію нашей литературы. Изъ всѣхъ значительныхъ писателей онъ одинъ остался почти вовсе чуждъ того, что въ нашемъ обществѣ

принято называть элементами „славянофильства“. Онъ первый не подходитъ подъ общій законъ, по которому наши писатели сперва подчиняются вліянію Запада, но, по мѣрѣ созрѣванія своихъ силъ, начинаютъ обнаруживать стремленія, вытекающія изъ самобытнаго духовнаго строя ихъ родины. Причины такого исключенія довольно ясны. Во-первыхъ, Тургеневъ *сознательно* держался своихъ мыслей. Въ его время различіе и противоположеніе западничества и славянофильства вполне опредѣлилось и высказалось. Каждый писатель, если имѣлъ желаніе и силу быть послѣдовательнымъ, былъ *обязанъ* стать на ту или на другую сторону, не могъ уйти отъ этой дилеммы. И Тургеневъ даже хвалился тѣмъ, что „не измѣнилъ убѣжденіямъ своей молодости“, т.-е. западничеству 40-хъ годовъ. Во-вторыхъ, Тургеневъ и вообще не имѣлъ столько силы и оригинальности, чтобы быть самостоятельнымъ. Аполлонъ Григорьевъ любилъ говорить, что Тургеневъ есть *повтореніе Пушкина*, разумѣется не полное, а отчасти. И въ самомъ дѣлѣ, и языкъ и всѣ художественные приемы Тургенева — Пушкинскіе. Эта прелестная форма, отличающаяся простотою и ясностью, трезвостью реализма и одушевленіемъ творчества, эта форма, приводившая въ такое восхищеніе иностранцевъ, которые сами всегда чересчуръ плодовиты и рѣдко не злоупотребляютъ художествомъ, — она завѣщана намъ Пушкинымъ, она составляетъ привычный и неизмѣнный образецъ для нашихъ художниковъ слова.

Затѣмъ, ни яркаго своеобразія языка и быта, какъ напримѣръ у Островскаго, ни постоянно господствующей мысли, какъ, положимъ, у Достоевскаго, — нельзя найти у Тургенева. Можетъ-быть, высшее мѣрило жизни для его дѣйствующихъ лицъ есть мечта о какомъ-то счастьи, обыкновенно съ любимымъ существомъ, — счастья иногда, какъ будто, близко стоящемъ передъ глазами, но, большею частью, только мелькающемъ издали, вѣчно манящемъ и вѣчно исчезающемъ, такъ что подъ конецъ у нихъ остается лишь тоска ненаполненной или разбитой жизни и страхъ смерти. Да и этотъ мотивъ, сказывающійся довольно часто, не выступаетъ съ полной силой, не воплощенъ съ художественною яркостью, а звучитъ какъ-то робко и жалобно.

Тургеневъ до конца дней не обладалъ никакимъ автори-

тетомъ. Его очень любили и жадно читали; всякая мысль, всякое чувство, которое онъ вздумалъ бы вложить въ свое созданіе, были бы приняты публикою съ отверстыми душами. Но ему нечего было сказать; не было въ немъ струны, которая, издавая господствующій звукъ, вносила бы ясность и гармонію во всѣ его звуки. Понятно, что Западъ, передъ которымъ онъ такъ преклонялся, не могъ дать ему какого-нибудь руководящаго начала; Западъ внушилъ ему только вѣру въ прогрессъ, заставлявшую вѣчно оглядываться на другихъ и ждать чего-то впереди, но для насъ всего при- скорбнѣе должно быть то, что такой добросовѣстный, талантливый и мягкій душою человѣкъ равно не нашелъ себѣ твердыхъ опоръ и среди того хаоса, въ которомъ ему явился нашъ русскій нравственный міръ. Мудрено винить такихъ людей, какъ Тургеневъ; они дѣти своего времени, но, очевидно, изъ тѣхъ дѣтей, которыя способны были бы примкнуть къ самымъ высокимъ стремленіямъ времени. *Страховъ.*

Сила и искренность чувства, жажда дѣятельнаго добра, нѣжная и беззавѣтная любовь къ идеалу человѣческой личности — характерныя черты Елены.

Этотъ художественный образъ привлекаетъ насъ къ себѣ тѣмъ болѣе потому, что въ немъ мы чувствуемъ воплощен- нымъ то, чего, недоставало Лизѣ.

Представьте себѣ дѣвушку, которой недавно минуло двадцать лѣтъ. Высокаго роста, съ блѣдно-смуглымъ лицомъ, большими сѣрыми глазами, которые обрамляются пушистыми бровями. На высокій прямой лобъ спускаются прядями темнорусые волосы: тонкая шея низко прикрывается сзади роскошной косой. Чистыя, строгія, прямыя линіи лица гар- монируютъ съ острымъ подбородкомъ. Во всемъ ея существѣ, въ выраженіи лица, внимательномъ и немного пугливомъ, въ ясномъ, но измѣнчивомъ взорѣ, въ улыбкѣ, какъ будто напряженной въ голосѣ тихомъ и неровномъ — было что-то нервическое, что-то порывистое и торопливое. Когда она слушала, то ни одна черта не тронется, — только выраженіе

взгляда безпрестанно мѣняется, а отъ него мѣняется и вся фигура.

— „Удивительное существо!“ — говоритъ про нее Шубинъ. — „Да, она удивительная дѣвушка“, — подтверждаетъ Берсеневъ. И оба они правы: Елена, дѣйствительно, удивительная дѣвушка. Если бы мы хотѣли въ нѣсколькихъ словахъ указать наиболѣе выдающіяся свойства ея души, то для этого мы могли бы воспользоваться слѣдующими словами ея дневника: „Быть доброю, — этого мало; дѣлать добро... да, это главное въ жизни“.

— „Елена съ дѣтства жаждала дѣятельности, дѣятельнаго добра“, — говоритъ авторъ. Мы же прибавимъ отъ себя, что она жаждала дѣятельнаго добра не эгоистическаго, не для собственной, личной пользы, не для самой себя или для своихъ близкихъ, — какъ то мы только-что видѣли въ Лизѣ, — а добра альтруистическаго, т.-е. ради другого человѣка. Нашъ авторъ подтверждаетъ это, говоря, что „нищіе, голодные, больные ее не только занимали, но даже тревожили, мучили; она видѣла ихъ во снѣ, спрашивала о нихъ всѣхъ своихъ знакомыхъ. Мало этого, — всѣ притѣсненные животныя, худыя дворовыя собаки, осужденныя на смерть котята, выпавшіе изъ гнѣзда воробьи, даже насѣкомыя и гады находили въ Еленѣ защиту и покровительство“.

Елена всѣмъ своимъ существомъ стремилась къ дѣятельному альтруистическому добру, а между тѣмъ ее окружала обыкновенная, эгоистическая среда, конечно, почти всѣмъ не волновалась судьбою не только „обреченныхъ на смерть котятъ“, но и обреченныхъ на голодъ, холодъ, безысходное убожество и темноту хотя бы тѣхъ же крѣпостныхъ, простыхъ русскихъ людей. И Елена одинока въ этой средѣ. — „Я одна, все одна, со всѣмъ моимъ добромъ, со всѣмъ моимъ зломъ“. Ея душа разгоралась и погасала одиноко. Она билась, какъ птица въ клѣткѣ, а клѣтки собственно не было: никто не стѣснялъ ее, никто не удерживалъ, а она рвалась и томилась, — конечно, потому, что непосредственно окружающая ее жизнь не давала ей возможности удовлетворить пожирающую ее жажду дѣятельнаго добра, широкой альтруистической, на пользу ближняго дѣятельности. Все, что ее окружало, казалось ей не то бессмысленнымъ, не то непонятнымъ. — „Какъ жить безъ любви? а любить некого“, —

думала она; т.-е. какой же смысл имѣть такая жизнь, когда приходится жить больше чѣмъ на половину только въ себя и для себя, — когда не къ чему привязаться дѣйственной любовью, когда не кого полюбить за его дѣйственную любовь къ людямъ. Временемъ ей становилось, просто, страшно отъ своихъ думъ и ощущеній. — „Отчего у меня такъ тяжело на сердцѣ, отчего такъ темно? Отчего я съ завистью гляжу на пролетающихъ птицъ? Кажется, полетѣла бы съ ними, полетѣла, — куда не знаю, только далеко отсюда“. Конечно, Елена полетѣла бы туда, гдѣ она могла бы вполнѣ отдаться настоящей дѣйственной альтруистической любви, настоящему, высокому дѣлу, просвѣтленному настоящей, дѣйственной любовью къ людямъ. — „И не грѣшно-ли это желаніе улетѣть отсюда?“ — продолжала размышлять Елена: „у меня здѣсь мать, отецъ, семья. Развѣ я не люблю ихъ?.. Нѣтъ, я не люблю ихъ такъ, какъ бы хотѣлось любить. Мнѣ страшно вымолвить это, но это правда“. Припомнимъ въ особенности отца Елены, — и мы поймемъ ее, что она не могла его любить, какъ человѣка, въ томъ высокомъ смыслѣ, какъ она понимала это слово. И Елена не въ силахъ притворяться: и въ другихъ людяхъ ложь она не прощала во вѣки вѣковъ, а тѣмъ болѣе она сама не могла лгать. — „Не знаю, кто и какъ, но меня какъ будто убиваютъ, и внутренно я кричу и возмущаюсь; я плачу и не могу молчать“, — говоритъ Елена. — „Боже мой! Боже мой! укроти во мнѣ эти порывы!“ — восклицаетъ она. И Творецъ какъ бы внималъ ея мольбамъ: гроза проходила; опускались усталыя, невзлетѣвшія крылья, — и Елена еще болѣе чувствовала себя какъ бы въ тюрьмѣ, нетерпѣливо ожидая, что кто-нибудь ее освободить. — „Кого-то она ждетъ“, — говоритъ Шубинъ Берсеневу: „понимаешь-ли ты силу этихъ словъ: она ждетъ“. И Елена, дѣйствительно, ждала. Она ждала человѣка, который бы своимъ собственнымъ примѣромъ показалъ, къ чему ей дана молодость, къ чему она живетъ, зачѣмъ у нея душа, — который ей сказалъ бы: „Вотъ что ты должна дѣлать, вотъ чему и какъ ты можешь отдаться всей душой“; она ждала человѣка, для котораго также, какъ и для нея, жить — значитъ: дѣлать добро, — въ самомъ широкомъ и высокомъ смыслѣ этого слова, — и отдаваться этому добру всѣмъ своимъ существомъ, такъ, чтобы человѣкъ могъ про себя ска-

затѣ: „Не я хочу, — то хочеть“, — и это „то“ есть то самое доброе дѣло, которому онъ посвящаетъ всѣ свои силы, всю свою жизнь. Вотъ какого человѣка ждала Елена, — и она дождалась. Этимъ человѣкомъ былъ Инсаровъ.

Почему? Чтѣ Елена нашла въ Инсаровѣ? чтѣ полюбила? Первое, что поразило Елену въ Инсаровѣ, когда она еще его не видала, а только слушала разсказъ о немъ Берсенева, это — цѣль, къ которой онъ стремится. — „У него одна мысль“, — говорить про него Берсеньевъ: „свобожденіе его родины“. И это именно поразило Елену: и слушая, и спрашивая Берсенева, она все думала только объ этомъ: „Освободить свою родину!“ — промолвила она въ концѣ разговора, задумавшись: „эти слова даже выговорить страшно; такъ они велики“... По однимъ этимъ „страшнымъ, великимъ словамъ“ она почувствовала въ Инсаровѣ настоящаго человѣка, который ей-то на многое можетъ отвѣтить изъ того, что ее волнуетъ. Тѣмъ съ большимъ, конечно, любопытствомъ Елена всматривалась въ Инсара, когда онъ въ первый разъ пришелъ къ нимъ. Авторъ говорить намъ, что ей при этомъ понравилась его прямота и честное выраженіе глазъ. Она, пораженная высокою, даже, — по ея выраженію, — страшною цѣлью его жизни, съ перваго шага какъ бы старается убѣдиться въ томъ, что онъ не можетъ лгать, т.-е. не можетъ играть такими „страшными, великими словами“, — и съ первой же минуты она все болѣе и болѣе въ этомъ убѣждается. Елена говорить Инсарову по поводу его неожиданнаго исчезновенія со своими земляками: „Я подумала, что вы всегда знаете, что дѣлаете, и что вы ничего дурного не въ состояніи сдѣлать“. Въ своемъ дневникѣ она замѣчаетъ: „Насколько Инсаровъ лучше меня! у него есть дорога, есть — цѣль... У него оттого такъ ясно на душѣ, что онъ весь отдался своему дѣлу.“ Эта ясность и опредѣленность жизненной цѣли, это знаніе того, куда и зачѣмъ нужно итти, и вмѣстѣ съ тѣмъ эта способность искренно, беззавѣтно отдаться своей жизненной цѣли не менѣе привлекаетъ Елену въ Инсаровѣ, нежели и то, что онъ не лжетъ, что онъ не только говорить, но онъ дѣлалъ и дѣлать будетъ. Если мы прибавимъ ко всему этому, что Инсаровъ по своей внѣшности далеко не принадлежалъ къ „героямъ романа“, то мы поймемъ, что Елена полюбила въ своемъ Дмитріи именно человѣка, — и не по

какимъ-нибудь общимъ, приписаннымъ ею самою достоинствамъ, а потому, что она своими собственными наблюденіями убѣдилась, на самыхъ поступкахъ Инсарова видѣла, что въ немъ дѣйствительно воплощается наиболѣе высокое, съ ея точки зрѣнія, наиболѣе идеальное и при томъ наиболѣе родственное тому, что наполняетъ какъ бы особеннымъ огнемъ ея собственную душу, заставляетъ почувствовать позади себя крылья и страстное стремленіе подняться надъ всѣми обыденными желаніями и стремленіями окружающихъ ее людей. Въ Инсаровѣ Елена полюбила ту же искреннюю, глубокую жажду дѣятельнаго добра, которою она сама такъ-же искренно, такъ же глубоко была переполнена.

А вотъ какъ Елена любить. — „Такъ ты пойдешь за мною всюду?“ — говорилъ ей Инсаровъ, когда они, послѣ тяжелой внутренней борьбы, сказали, наконецъ, другъ другу роковое слово. — „Всюду, на край земли. Гдѣ ты будешь, тамъ я буду.“ — „Ты знаешь, что я бѣденъ, почти нищій?“ — „Знаю.“ — „Ты знаешь также, что я посвятилъ себя дѣлу трудному, неблагодарному, что мнѣ... что намъ придется подвергаться не однѣмъ опасностямъ, но и лишеніямъ, униженію, быть можетъ?“ — „Знаю, все знаю... Я тебя люблю.“ — „Что ты должна будешь отстать отъ всѣхъ твоихъ привычекъ, что ты, можетъ быть принуждена будешь работать?...“ Она положила ему руку на губы: „Я люблю тебя, мой милый...“ А вотъ какова Елена, еще невѣста, во время болѣзни любимаго человѣка. Инсаровъ въ страшномъ жару и бреду лежитъ въ постели. Около него Берсенева. Вдругъ дверь тихо скрипнула, и осторожно вдвинулась въ комнату голова хозяйской дочери: „Здѣсь“, — заговорила она вполголоса, — „та барышня...“ Черезъ мгновеніе на порогѣ появилась Елена. Берсенева вскочилъ, какъ ужаленный; но Елена не шевельнулась, не вскрикнула... казалось, она все поняла въ одно мгновеніе. Страшная блѣдность покрыла ея лицо. Она подошла къ ширмамъ, заглянула за нихъ, всплеснула руками и окаменѣла. Еще мгновеніе, и она бы бросилась къ Инсарову, но Берсенева остановилъ ее: „Что вы дѣлаете?“ — проговорилъ онъ трепещущимъ шепотомъ: „вы его погубить можете.“ Она зашаталась. Берсенева подвелъ ее къ диванчику и посадилъ. — „Онъ умираетъ? онъ безъ памяти?“ — спрашивала она съ такимъ холоднымъ спокой-

ствиѣмъ, что Берсенева даже испугался за нее. Онъ отвѣчалъ ей, но она не слышала его отвѣтовъ и только проговорила: „Если онъ умретъ — и я умру.“ Инсаровъ въ это мгновеніе простоналъ слегка. Она затрепетала, схватила себя за голову, потомъ стала развязывать ленты шляпы. — „Что вы дѣлаете?“ повторилъ онъ. — „Я остаюсь здѣсь.“ — „Какъ... надолго?“ — „Не знаю... можетъ быть, на весь день, на ночь, навсегда... не знаю.“ — „Ради Бога, Елена Николаевна, придите въ себя... Вы видите... онъ васъ теперь защитить не можетъ“. Она опустила голову, словно задумалась, поднесла платокъ къ губамъ, и судорожныя рыданія съ потрясающей силой внезапно исторглись изъ ея груди... Она вся затрепетала, какъ только-что пойманная птичка. — „Клянитесь мнѣ, что вы тотчасъ же пошлете за мною, когда бы то ни было, днемъ, ночью... слышите-ли вы? общаетесь-ли вы это сдѣлать?“ — говорила черезъ нѣсколько времени Елена, уступая уговорамъ Берсенева. — „Объщаюсь, передъ Богомъ,“ — отвѣчалъ онъ: „клянусь вамъ!“ Елена вдругъ схватила его за руку и, прежде чѣмъ онъ успѣлъ ее отдернуть, припала къ ней губами. — „Елена Николаевна!... что вы это?“ — только могъ пролепетать Берсенева... Восемь дней продолжалась пытка для Елены. Съ виду она казалась покойной, но ничего не могла ѣсть, не спала по ночамъ. Тупая боль стояла во всѣхъ ея членахъ; какой-то сухой, горячій дымъ, казалось, наполнялъ ея голову. — „Наша барышня, какъ свѣчка, таетъ,“ — говорила о ней ея горничная. Но вотъ является Берсенева, и радостная вѣсть: „Онъ спасенъ... онъ черезъ недѣлю будетъ здоровъ...“ — разливаетъ алую краску на ея поблѣднѣвшемъ и похудѣвшемъ за эти ужасные девять дней лицѣ. Услышавъ эти слова, Елена протянула руки, какъ будто отклоняя ударъ, и ничего не сказала, только губы ея задрожали... Она ушла къ себѣ, упала на колѣни и стала молиться. Инсаровъ поправился... Елена была счастлива, — „не дни,“ — какъ она говорить, — „не недѣли, а цѣлые мѣсяцы,“ — счастлива такъ, что ей стало страшно своего счастья... но „Онъ, создавшій эту ночь, это небо“, рѣшилъ, — по ея мнѣнію, — наказать ее за то, что она такъ была счастлива, за то, что на нѣкоторыя минуты отдавалась не людямъ, не дѣятельному добру, а самой себѣ, своему чувству, — и Инсарова не стало... — „Я найду себѣ мѣсто: только возьмите

насъ, возьмите женья,“ — уговаривала она капитана корабля черезъ часъ послѣ кончины Дмитрія. Капитанъ не былъ въ состояніи ей отказать. Елена перешла въ сосѣднюю комнату, прислонилась къ стѣнѣ и долго стояла, какъ окаменѣлая. Потомъ она опустилась на колѣни, но молиться не могла. На другой день Елена писала матери: „Я навсегда прощаюсь съ вами... Я не знаю, что со мною будетъ, но я и послѣ смерти Дмитрія останусь вѣрна его памяти, дѣлу всей его жизни...“

Въ этомъ же письмѣ Елены къ роднымъ мы находимъ тотъ главный, — можно сказать, единственный упрекъ, который обыкновенно дѣлается ей. Она пишетъ матери: „Мнѣ нѣтъ другой родины, кромѣ родины Дмитрія. Тамъ готовится возстаніе, собираются на войну; я пойду въ сестры милосердія; буду ходить за больными, ранеными... А вернуться въ Россію — зачѣмъ? Что дѣлать въ Россіи?“ „Какъ?!“ — восклицаютъ критики: „незачѣмъ возвращаться въ Россію? въ Россіи нечего дѣлать? — и это говорится въ то время, когда Россіи-то и нужны люди, когда „на каждой отдѣльной личности лежитъ долгъ, святая обязанность передъ Богомъ, передъ родиной, передъ самимъ собой?! И послѣ всего этого Елену возводятъ чуть не въ идеаль?!“ — Мы и сами, конечно, не забыли тѣхъ словъ Михалевича изъ „Дворянскаго гнѣва“, которыя только-что привели отъ лица порицателей Елены, и мы не можемъ не согласиться съ критиками, что ставить Еленѣ въ достоинство ея рѣшеніе не возвращаться на родину, конечно, нельзя. Но, вѣдь, дѣло въ томъ, что, во-первыхъ, слова Михалевича, — строго говоря, — не могутъ быть отнесены къ Еленѣ, а во-вторыхъ, несомнѣнная идеальность личности Елены зиждется совсѣмъ на другомъ. Мы прекрасно помнимъ, что Михалевичь разразился горячимъ упрекомъ противъ „байбачества“ въ Лаврецкомъ, — противъ того, что онъ въ то время, когда въ Россіи такъ много непочатаго дѣла, когда она такъ нуждается въ болѣе или менѣе образованныхъ людяхъ, не стыдится отдаваться своимъ личнымъ, эгоистическимъ интересамъ, наполнять свою жизнь единственными заботами о личномъ счастьѣ. Было бы, конечно, по меньшей мѣрѣ несправедливо дѣлать подобный упрекъ Еленѣ: мы знаемъ, что она полюбила въ Инсаровѣ, какъ горячо она откликала на задачи его жизни, чему,

наконецъ, она рѣшилась посвятить себя на родинѣ любимого человѣка послѣ его смерти. — „Все это такъ“, — скажутъ намъ: „но развѣ у себя-то, на родинѣ, для Елены не было дѣла? развѣ въ той же самой Москвѣ или даже на дачѣ въ Кунцевѣ не было, можетъ быть, сотенъ своихъ больныхъ, своихъ темныхъ, нуждающихся въ свѣтѣ людей? Вѣдь, Елена не только видѣла ихъ, но, — по увѣренію автора, — даже и помогала имъ. Къ чему же бѣжать на чужой пожаръ, когда свой некому тушить?“ — Да, это все вѣрно; но вотъ что тотъ же самый авторъ говоритъ про Елену: „Иногда ей приходило въ голову, что она желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслить въ цѣлой Россіи... Потомъ она утихала, даже смѣялась надъ собой, безопасно проводила день за днемъ, но внезапно что-то сильное безыменное, съ чѣмъ она совладѣть не умѣла, такъ и закипало въ ней, такъ и просилось вырваться наружу“. Было бы несправедливо утверждать, что Елена проводила время въ однѣхъ бесплодныхъ фантазіяхъ: мы знаемъ, какое дѣятельное участіе принимала она во всѣхъ несчастныхъ: „нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видѣла ихъ во снѣ, разспрашивала объ нихъ всѣхъ своихъ знакомыхъ“. Стало быть, не праздныя, несбыточные фантазіи сказывались въ этихъ глубокихъ душевныхъ волненіяхъ Елены, а неудержимая жажда болѣе широкой, болѣе важной по своему значенію сферы дѣятельнаго добра, не жели та, которая была доступна ей въ родной семьѣ. Семейные и общественные предразсудки, несомнѣнно, становились на пути высокихъ душевныхъ стремленій Елены, и они-то именно составляли собою ту клѣтку, изъ которой она такъ рвалась на свободу. Инсаровъ освободилъ ее изъ этой клѣтки; въ томъ дѣлѣ, которому онъ съ такой любовью, усердіемъ и самоотверженіемъ служилъ, она нашла осуществленіе своихъ идеальныхъ порывовъ: „Освободить свою родину! Эти слова даже выговорить страшно: такъ они велики!“ — говорила она о жизненной цѣли Инсарова; на его родинѣ, продолжая служить его дѣйствительно великому дѣлу, она, конечно, могла надѣяться быть окруженной людьми, которые поймутъ, оцѣнятъ ее самоотверженіе и съ своей стороны еще поддержать ее; наконецъ, не нужно забывать, что Елена серьезно, глубоко любила Дмитрія, и для нея дѣйствительно было

вопросомъ жизни остаться вѣрной его памяти, дѣлу всей его жизни..." Нѣтъ, мы не въ состояніи упрекать Елену въ томъ, что она не вернулась въ Россію: мы сейчасъ видимъ, какъ многое говоритъ въ пользу ея рѣшенія остаться на родинѣ любимаго человѣка.

Но не въ этомъ, конечно, рѣшеніи мы видимъ идеальность самой личности Елены. Она для насъ безспорно идеальна по той жадѣ дѣятельнаго добра, которой переполнено ея сердце, — по глубинѣ, силѣ и искренности того чувства, съ которымъ она стремится къ этому добру и отдается ему; самая любовь ея зиждется опять-таки на этомъ стремленіи къ дѣятельному добру: вѣдь, въ любимомъ человѣкѣ она нашла воплощеніе этого высокаго стремленія, и потому именно она такъ самоотверженно рѣшилась соединить съ нимъ свою судьбу: ея любовь къ Дмитрію возвышалась и озарялась высокимъ радостнымъ сознаніемъ, что рука-объ-руку съ нимъ она будетъ служить великому дѣлу, вложить въ это дѣло всѣ свои горячія стремленія, которыя, какъ мы знаемъ, такъ неудержимо вырывались изъ ея души... Елена не уступаетъ Лизѣ въ цѣльности своего нравственнаго облика, въ высотѣ и твердости своихъ взглядовъ и убѣжденій; но, вмѣстѣ съ этимъ, она несомнѣнно возвышается надъ Лизой страстной жадой дѣятельнаго добра на пользу ближняго, тѣмъ самоотверженнымъ альтруизмомъ, который мы считаемъ однимъ изъ главнѣйшихъ достоинствъ настоящей человѣческой личности...

Чернышевъ.

Стремленіе къ идеалу и воплощеніе его въ совместной жизни и дѣятельности съ любимымъ человѣкомъ, какъ носителемъ возвышенныхъ идей—составляютъ единственный источникъ счастливой и разумной жизни Елены.

Г. Тургеневъ принадлежитъ къ небольшому числу тѣхъ избранныхъ, чуткихъ натуръ, въ которыхъ находятъ себѣ живой отголосокъ всѣ лучшія стремленія развивающагося русскаго общества и въ которыхъ эти стремленія, даже едва замѣтно пробивающіяся въ дѣйствительности, отражаются болѣе полными, болѣе яркими и послѣдовательными образами. Я не знаю, сдѣлаетъ ли хоть одна изъ нашихъ дѣвицъ *именно то*, что дѣлаетъ Елена въ романѣ Тургенева, побѣ-

жить ли въ чужую сторону за какимъ-нибудь студентомъ освобождать Болгарію; но мысль, что назначеніе женской любви заключается въ томъ, чтобъ сочувствовать идеямъ любимаго человѣка и служить ему утѣшительной опорой на пути, ведущемъ къ избранной имъ цѣли, эта мысль уже не исключительная фантазія немногихъ горячихъ головъ, но почти общее убѣжденіе всего молодого поколѣнія нашихъ женщинъ. По крайней мѣрѣ, серіозныя женщины не понимаютъ уже любви безъ раздѣленія принциповъ и убѣжденій того, кого любишь. Та ступень общественнаго развитія, на которой для женщины въ будущемъ ея мужъ стояла на первомъ планѣ наружность, мундиръ, чинъ, богатство — уже пережита нами, и теперь осталась достояніемъ однихъ неразвитыхъ женщинъ; да и тѣ уже совѣстятся признаться явно, что онѣ идутъ замужъ за мундиръ, за деньги и т. п. Для того, чтобъ стать подругой человѣка на всю жизнь, сдѣлалось необходимо нравственное побужденіе, душевное сочувствіе тому, что этотъ человѣкъ дѣлаетъ, для чего онъ живетъ. Но какъ скоро женщина пришла къ тому серіозному взгляду на замужество, она непремѣнно придетъ и къ слѣдующему болѣе общему и еще болѣе серіозному вопросу: *чему же сочувствовать? для чего жить?* Отвѣтъ на этотъ вопросъ заключается для женщины въ личности того человѣка, котораго она, наконецъ, полюбитъ...

Въ Еленѣ Николаевнѣ Стаховой представляетъ намъ Тургеневъ именно такую дѣвушку; которой нравственныя требованія уже не удовлетворяются тѣмъ, что даетъ русское общество въ его современномъ состояніи... Наука, искусство, жизнь по Гегелю — подвергаютъ себя поочередно къ стопамъ Елены; всѣ несутъ ей дань обожанія въ лицѣ, можно сказать, благороднѣйшихъ своихъ представителей: молодой художникъ Шубинъ, молодой ученый Берсенева, практикъ и юристъ Курнатовскій — одинъ за другимъ влюбляются въ Елену, и каждый изъ нихъ счелъ бы счастливымъ, если бы она согласилась быть его спутницей въ жизни. Но ей не нравится ни художникъ Шубинъ, ни ученый Берсенева, ни дѣлецъ Курнатовскій; она понимаетъ и цѣнитъ ихъ достоинства; Шубина и Берсенева даже любитъ, какъ братьевъ, но ни за одного изъ нихъ не пойдетъ: она чувствуетъ, что все это — не то, а между тѣмъ всѣ они изъ лучшихъ изъ передовыхъ людей нашего образованнаго общества. Шубинъ —

скульпторъ, съ положительнымъ талантомъ, будущая извѣстность; Берсенева — скромный прилежный молодой человѣкъ, будущій профессоръ исторіи; наконецъ, Курнатовскій — дѣльный секретарь въ сенатѣ, усердный, честный чиновникъ. Спрашивается: что же нужно Еленѣ, если ее не удовлетворяютъ ни наше искусство, ни наша наука, ни наша жизнь гражданская, являющіяся передъ ней — замѣтите — въ лучшихъ своихъ представителяхъ или, по крайней мѣрѣ, въ такихъ, которыхъ, авторъ желалъ, чтобъ мы считали лучшими представителями современнаго общества? и почему все это ее не удовлетворяетъ?

Сначала Елена сама не могла понять, отчего это происходитъ. „Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленнымъ, не то непонятнымъ“, говорить за нее авторъ: „какъ жить безъ любви? а любить некого! думала она. Иногда ей приходило въ голову, что она желаетъ чего-то, чего никто не мыслить въ цѣлой Россіи“. Но это смутное желаніе не складывалось въ опредѣленную мысль; ея мысли были ей самой неясны. Нужно, чтобъ явился человѣкъ, который бы удостоился ея сочувствія: тогда само собою сдѣлалось бы яснымъ, почему она не могла сочувствовать всему тому, что не онъ.

Въ Россіи такого человѣка не оказалось. Только иностранецъ могъ показать Еленѣ, каковы должны быть настоящіе люди. Къ счастью, такой иностранецъ нашелся. Все то, что инстинктивно и смутно до сихъ поръ только снилось Еленѣ, предстало передъ ней въ лицѣ Инсарова вылитымъ въ положительный образъ, и этотъ образъ приковалъ ее къ себѣ на вѣки. Что жъ такое *нашла* Елена особеннаго въ Инсаровѣ—такого, о чемъ никто не мыслить въ цѣлой Россіи?

Ей понравилась *его прямота и непринужденность*; ей понравилась *твердость его воли и упорное преслѣдованіе своей цѣли*; понравилась *самая цѣль—освобожденіе своей угнетенной родины, цѣль* простая, ясная; понравилось и то, что это была цѣль, поставленная не личнымъ капризомъ фантазіи, а общая Инсарову съ послѣднимъ мужикомъ, съ послѣднимъ нищимъ въ Болгаріи. Дѣятельность съ такой прекрасной цѣлью и должна была понравиться Еленѣ, потому что въ ней она увидѣла простое исполненіе той мечты, *которая постоянно не давала ей покоя*. „Съ дѣтскихъ

лѣтъ (говорить Тургеневъ) она жаждала дѣятельности, дѣятельности добра“. Она воспитывала заброшенныхъ собакъ и кошекъ, подавала щедро милостыню, но все это казалось ей ничтожнымъ. Въ дневникѣ своемъ она писала: „О, еслибъ мнѣ кто-нибудь сказалъ: вотъ что ты должна дѣлать. Быть доброю, этого мало; дѣлать добро... да; это главное въ жизни. Но какъ дѣлать добро?“ Въ Инсаровѣ Елена увидѣла, что надобно дѣлать и какъ. Инсаровъ отнялъ ее у Шубина, у Берсенева, у Курнатовскаго, у всей Россіи, и увлекъ ее за собой въ Болгарію... Она—центръ, около котораго вертятся всѣ пружины романа. На нее положилъ авторъ всего болѣе труда; ея личность постарался онъ отдѣлать съ наибольшей отчетливостью. Вездѣ она на первомъ планѣ. Мы знаемъ ея жизнь почти съ колыбели; мы видимъ, что было вложено въ нее натурой, что развилось первыми впечатлѣніями ея дѣтства, чему помогло развиться отсутствіе воспитательной ферылы. Любовь къ правдѣ, общая всѣмъ дѣтямъ и заглушаемая только въ послѣдствіи всякими неправдами, сросшимися съ нашей перепорченной жизнью, растетъ въ Еленѣ передъ нашими глазами; тѣсно съ нею связанное отвращеніе ко всякой лжи, не стѣсняемое никакими одуряющими наставленіями; жизнь наединѣ съ собой, и вмѣстѣ съ нею вырабатывающійся серіозный взглядъ на жизнь; жажда жизни со смысломъ и инстинктивное угадыванье этого смысла—сначала только отрицательное, а потомъ, съ появленіемъ Инсарова, положительное, и, наконецъ, радостное успокоеніе въ любви къ человѣку, поставившему себѣ задачей жизни простое, но великое, народное дѣло, къ человѣку, связанному съ своей землей и живущему только ея счастьемъ—вотъ въ короткихъ словахъ рамка той занимательной исторіи, которая составляетъ содержаніе романа.

Въ какомъ отношеніи Елена Стахова находится къ нашей русской дѣятельности? Возможны-ли въ ней теперь такія женщины? Иные говорятъ, что возможность созданія Елены въ поэзіи доказываетъ возможность такихъ женщинъ и въ дѣйствительной жизни. Это что-то хитро. Развѣ мы не видали въ нашей литературѣ идеаловъ, вычитанныхъ въ чужихъ литературахъ или выдуманныхъ разстроеннымъ воображеніемъ? Развѣ Улинька Гоголя мыслима въ дѣйствительности, а, вѣдь, создалась же она у него какъ-то въ фантазіи. Впрочемъ, для Елены Тургенева не нужно прибѣгать ни къ игръ

словъ ни къ натяжкамъ. Что идеаль нашего поколѣнія — гражданинъ своей земли, это было высказано не разъ и прежде Тургенева, а такъ какъ среди всякаго поколѣнія мужчинъ непременно есть женщины, настолько развитыя, чтобъ сочувствовать его идеалу, то возможность становится понятна сама собою.

Несомнѣнно то, что такая женщина, какъ Елена, въ первый разъ является въ нашей литературѣ. Любовь Елены — это самое чистое, самое благородное проявленіе чувства любви, какое только мы можемъ себѣ представить. Это — полная, глубокая преданность любимому человѣку, полное раздѣленіе его надеждъ и стремленій, это бракъ въ истинномъ смыслѣ слова...

Проникнутыя сознательнымъ уваженіемъ къ идеѣ, потомъ полюбить эту идею сердцемъ, встрѣтивъ ея олицетвореніе въ живомъ человѣкѣ, и, соединивъ свою судьбу съ судьбой этого человѣка, идти во слѣдъ за нимъ, куда поведетъ его эта идея, раздѣляя съ нимъ всѣ бури и невзгоды — да это такъ возвышенно, такъ нравственно, что могло быть поставлено за образецъ и основаніе всякому браку.

Къ сожалѣнію, проявленіе этой высокой любви такъ же мало развито на дѣлѣ, какъ проявленіе патріотическихъ плановъ самого Инсарова. Тургеневъ, какъ будто нарочно избѣгаетъ той минуты, когда его героямъ настаетъ пора дѣйствовать и приводить въ исполненіе то, о чемъ они такъ прекрасно говорятъ. Конечно, Елена дѣлаетъ рѣшительный шагъ, когда высказываетъ готовность бѣжать съ Инсаровымъ, и — если бы она это сдѣлала — мы, можетъ быть, имѣли бы случай посмотреть, какъ бы она „тамъ между чужими, стала отставать отъ своихъ привычекъ, работать“ и такъ далѣе. Но авторъ улаживаетъ все это проще: родители Елены узнаютъ, что она тайно обвинчалась съ Инсаровымъ и, послѣ обычныхъ упрековъ, дѣло оканчивается благополучно. Мать снабжаетъ Елену деньгами, и Инсаровы путешествуютъ въ довольствѣ и спокойствіи, катаются въ гондолѣ, ѣздятъ въ театрѣ и т. п. Труды, лишенія, борьба — все это осталось на словахъ.

Жизнь — дѣло грубое, а талантъ Тургенева въ высшей степени деликатенъ, и притомъ онъ, по преимуществу, лирическій. Его дѣло — внутренній міръ души, тонкій анализъ чувствованій, красоты природы. И Тургеневъ знаетъ, въ чемъ

его сила. Уклоненіе отъ всякихъ сценъ, гдѣ должна выйти на арену борьба живыхъ силъ, это намѣренное уклоненіе, замѣчаемое не въ одномъ „Наканунѣ“, но и во всѣхъ другихъ его произведеніяхъ, есть не ошибка съ его стороны, а признакъ глубокаго художественнаго такта.

Басистовъ.

Поэтическій образъ Елены, выросшей среди несвойственной обстановки и разцвѣтшей подъ вліяніемъ любви.

Удивительная, славная дѣвушка эта Елена, выросшая, подобно героинѣ „Дворянскаго Гнѣзда“, Богъ знаетъ на какой почвѣ, въ какомъ семействѣ, уродившаяся ни въ мать ни въ отца. Подобныя явленія только на Руси бываютъ, и мы не знаемъ, какъ объяснить ихъ. Отецъ, — пустѣйшій и вздорный болтунъ, забывающій жену для вдовы нѣмецкаго происхожденія, домъ — для клуба. Мать, всегда склонная къ волненію и грусти, всегда больная и капризная, съ пансіонскими мечтами на старости лѣтъ (Шубинъ называетъ ее курицей), еще меньше отца могла имѣть вліяніе на развитіе дочери. Оставленная на свободѣ, она развернулась роскошнымъ поэтическимъ цвѣткомъ, созданіемъ вольнымъ и полнымъ, и не ея вина, если она охладѣла и къ отцу и къ матери. Впечатлѣнія ложились глубоко къ ней въ душу. „Слабость возмущала ее, глупость сердца, ложь она не прощала, требованія ея ни передъ чѣмъ не отступали, самыя молитвы не разъ мѣшались съ укоромъ. Стоило человѣку потерять ея уваженіе, — а судъ произносила она скоро, — и ужъ онъ переставалъ существовать для нея“. Безъ подругъ и безъ этой пошлой обстановки, которая дѣлаетъ русскую дѣвушку „барышней“, нарядной куклой, а жизнь ея мелкою и ничтожною, она жаждала не нарядовъ и праздниковъ, какъ всѣ, а дѣятельнаго добра; нищія, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили. Всѣ притѣсненные животныя находили въ ней покровительство и защиту. На десятомъ году она познакомилась съ нищей дѣвочкой Катей и прислушивалась къ ея рассказамъ, и потомъ хотѣлось ей надѣть сумку, убѣжать съ Катей и скитаться по дорогамъ. Безъ внѣшняго шума безъ внѣшнихъ волненій, жизнь ея перегорала во внутренней тревогѣ,

одинокую, никому не слышную борьбою. „Ея душа и разгоралась и погасала одиноко, она билась, какъ птица въ клѣткѣ, а клѣтки не было; никто не стѣснялъ ее, никто не удерживалъ, а она рвалась и томила... Все, что окружало ее, казалось ей не то безсмысленнымъ, не то непонятнымъ. Какъ жить безъ любви? а любить некого! думала она, и страшно становилось ей отъ этихъ думъ, отъ этихъ ощущеній“...

Елена стоитъ уже ступеню выше Лизаветы Михайловны въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“; она не нашла себѣ выхода въ томъ квіетизмѣ, въ томъ византійскомъ міросозерцаніи, которымъ удовлетворялась героиня „Дворянскаго Гнѣзда“; она ждала чего-то, жаждала, мучилась и страдала, плакала недоумѣвающими, но жгучими слезами. Такою является она передъ нами, когда встрѣча съ Инсаровымъ, на дачѣ въ Кунцевѣ, рѣшаетъ ея участь и опредѣляетъ окончательноея жизнь.

Отрывки изъ дневника Елены указываютъ намъ то состояніе души, когда она познакомилась съ Инсаровымъ. Состояніе это — дѣвушки, развитой духовно, которой только любовь даетъ послѣднее опредѣленіе. Все окружающее ее такъ пошло и ничтожно; привязаться ей не къ кому. Оттого у ней нѣтъ покоя, оттого ей грустно и томно, такъ что она завидуетъ пролетающимъ птицамъ. Ей некому протянуть руки; она спрашиваетъ себя, зачѣмъ у ней эта молодость, эта душа, зачѣмъ живетъ она. „Пошла бы куда-нибудь въ служанки, право: мнѣ было бы легче“, пишетъ она. Какъ могла бы она полюбить, какимъ бы могучимъ счастьемъ окружила она человѣка, избраннаго душой ея. Она никогда не мыслила, не чувствовала въ половину. И вотъ наступаетъ для нея этотъ періодъ блаженства, эта долгожданная, долго призываемая любовь, и русская литература обогатилась нѣсколькими страницами такого блестящаго описанія страсти, страницами полными роскоши молодого и свѣжаго чувства, полными волшебнаго обаянія любви, какія рѣдко случалось перечитывать намъ доселѣ. Весеннимъ благоуханіемъ вѣетъ со страницъ этихъ, и счастливо общество, въ которомъ посреди нестройныхъ звуковъ и формъ неуяснившейся, полу-дикой дѣйствительности раздаются подобные гармоническіе звуки, возникаютъ такіе ясные, роскошные образы.

К-ій.

инв. № 893 .

• 1.2.1.1 1.2.1.1

of 3.50
228911

Stanford University Libraries

3 6105 124 438 065



PG
343
P6

**Stanford University Libraries
Stanford, California**

Return this book on or before date due.

FEB - 6 1967

FEB 20

MAY 28 1970

6718 100

of 3.50
2023/11

Stanford University Libraries

3 6105 124 438 065



PG
3435
P6

**Stanford University Libraries
Stanford, California**

Return this book on or before date due.

FEB - 6 1967

For 20

MAR 28 1970

MT 18 80

